

НОВЫЙ Журнал

202

THE NEW
REVIEW

1996



THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашов

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Г. Андреев, Л. Ржевский

1978-1981 редактор Роман Гуль

1981-1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Е. Магеровский

1984-1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкаров, Е. Магеровский

1986-1990 Редакционная коллегия

1990-1994 редактор Юрий Кашкаров

(пятьдесят пятый год издания)

(Март 1996)

Редактор Вадим Крейд

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах

Марина Ледковская

Марк Раев

Всеволод Сечкарев

Зоя Юрьева

Секретарь редакции

Екатерина А. Брейтбарт

Обложка художника Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW

MARCH 1996

© 1996 by THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются

Просим издательства, редакции газет и журналов СНГ всякий раз ставить нас в известность о намерении перепечатать произведения, когда-либо помещенные на страницах "Нового Журнала"

Редакционная коллегия

THE NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly by The New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York, N. Y. 10012. Second Class postage paid at New York, N. Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send address changes to The New Review, 611 Broadway, #842, New York, N. Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Любовь Зиновьева</i> — Первая любовь	5
<i>Николай Шатров</i> — Стихи	16
<i>Георгий Демидов</i> — Оборванный дуэт	21
<i>Александр Петров-Пасмур</i> — Стихи (вступ. слово <i>Я. Пробиштейна</i>)	55
<i>Ромэн Яров</i> — Капитан Марвел	62
<i>Иван Акимов, Олег Ильинский</i> — Стихи	76
<i>Василий Яновский</i> — Ересь нашего времени (окончание).....	79
<i>Ирина Грэм</i> — Омут	121
<i>Надежда Мальцева, Илья Лапиров, Марина Кравцова</i> — Стихи	147

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>Августа Даманская</i> — На экране моей памяти (Публикация <i>О. Демидовой</i>)	152
Из бумаг <i>В. Г. Чертова</i> (Публикация <i>А. Д. Романенко</i>)	189

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>Генрих Иоффе</i> — Русская революция на страницах "Нового Журнала"	230
<i>Зоя Юрьева</i> — Космизм города	264
<i>Игорь Ефимов</i> — Зошенко и Клио	275

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

<i>Виктор Леонидов</i> — Библиотека Русского Зарубежья на Собачьей Площадке	293
<i>Ольга Кузнецова</i> — Прощаясь с Игорем Чинновым	303

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>Э. Штейн</i> — Виктория Янковская	312
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

М. Вахтель — Новое о Вячеславе Иванове; *Д. Бобышев* — Поэт на этюдах; *В. Казак* — Вернуться в Россию стихами... Двести поэтов эмиграции; *С. Голлербах* — В. В. Вейдле. Умирание искусства 315

Любовь Зиновьева

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

"Привет из... Любаша, здравствуй!

В первых строках своего письма спешу сообщить, письмо твое получила, на которое спешу дать ответ. Я очень рада за твои успехи в редакции, но ты что-то совсем молчишь о своей работе. Ну, немного о себе. Дела у меня совсем хреновые. В первых работы очень много, а ребятишек совсем не с кем оставить. Свикровь совсем отказалась с ней сидеть в няньках, а Петька пьет без божно, ему некогда просыпаться — каждый день запоями. А если б посмотрела что он дома чудит. Вот я надумала разводится с ним. Один раз нажрался до такой кондиции с ружьем за мной бегал, ну конечно и руки приложил ко мне. Голова две недели болела. Приехала я из больницы (я как раз перед его побоищем должна была схать на аборт — который сделала) и с ним неделю не разговаривала. А потом начинаю говорить о его нашествиях дома — он одно твердит, я ничего не помню, клянется больше не пить, дней несколько не попьет, а потом опять месяцами взапус, а свикровь его выгораживает. Говорит мне, а ты молчи пусть пьет, да еще и меня облает и на ребят срывает — такая баба поганая я ее органически не перевариваю. А если что ей надо — как лиса подкрадется — вот дура, бегу и делаю ей — все-таки она инвалид, да и совестно. Да мне здесь просто некому с ребятишками идти от своего пьяницы. Деньги стал утаивать, а после пропьет, халтурит если и получит деньги он их не отдаст, а опять пропивает. Я если свои премии получаю я их трачу на еду, ребятишек надо одевать, самим одеваться. А у него еще привычка как пьяный рвет на себе одежду, а потом вновь все ему покупаем, а сама хожу во всем стареньком. Да мне уже все

надоело, попрекает своей квартирой, что с детьми живу в его квартире (а квартира действительно совхозная ему дадена). Хотя бы где-нибудь мне там поближе от себя уголок подыскала — не обязательно в Московской области. Я бы хоть уехала от сюда — мы бы друг друга не видели и все бы забылось со временем. Да ведь дети все видят. Наденька еще глупая, а Любушка та все понимает. Я вот сижу плачу, а она подсядет ко мне и тоже начинает плакать и уговаривать меня. Вышла на работу с 1 апреля 1988 г., так свикровь согласилась поначалу с Наденькой сидеть, а теперь ни в какую — отказалась, теперь буду досиживать дикретный отпуск. В общем я буду думать как мне с этих краев смыться, может в другой совхоз или колхоз уеду. Но больше я не могу так. Вот такие у меня не хорошие дела в семье. Детишек я и одна выращу, но успокойствие. Ты мне хоть пиши — все душу отогрешь — хоть у тебя все наладилось, но вообще я сделала вывод не счастливые мы детдомовские.

На этом буду закругляться.

До свидание

Целуем тебя крепко

Мои девочки и я

07. 06. 88 г."

* * *

Приехав во Ржев в четвертом часу утра, сразу же становлюсь в очередь на "селижаровский" автобус, единственный во весь день. А в половине шестого угрюмая женщина-кассир за дощатой броней кассы, злобно ударив меня взглядом, отрубает:

— Билетов нет.

Таксисты и частники удовлетворенно смотрят на жалкую растерянность транспортной жертвы.

— Это сорок километров?

— Да, — пытаюсь выдержать чувство пассажирского достоинства, — и дорога новая...

— Какое там "новая", — хмурится таксист, — двадцать старой.

— Не двадцать, а два.

— Ну десять-пятнадцать... не меньше.

— Нет. Я знаю.

— А я, что же — не знаю? Десять километров старой дороги.

— Не десять, а пять. Это от поворота на Селижарово.

— Двадцать пять рублей.

— Много...

Таксист закуривает и молчит.

— Двадцать пять, — сочувственно кивает стоящий рядом частник. — Ищите попутчиков.

В зале ожидания до рези в глазах пахнет дустом. Вот уже семь лет приезжаю сюда — ядовитый дух прежний, лишь у буфета его густо подкрашивает запах общественного туалета с его настоящими в хлорке окурками и неисправной канализацией.

Зал с ленивым любопытством рассматривает меня.

Попутчики находятся сами.

* * *

Яркое бирюзовое утро. Настя слушает мой треп и улыбается. В жгуче черных глазах ее сдержанно блестят вчерашние, позавчерашние, позадавние (позадавленные) слезы. Я очень стараюсь, ерничаю и мне легко видеть радость ее лица, слышать смех. Но слезы ее письма все еще ползут по моим щекам, под кожей, и застревают горячим комом в сузившемся от боли горле.

— Тебе надо книги читать. Уж куда я, прочная двоечница была, и то грамотнее пишу. Ты же в "хорошистках" ходила!

— Не до книг. Сама знаешь — работа, дети, хозяйство... Сплю-то по три часа в сутки. Если б этот... еще не пил!

И снова наш разговор сползает к первопричине этой неурочной встречи.

— И как напьется, так давай озорничать. Он, знаешь, отключается. Совсем разум теряет. Может, горячка это? Ну совсем не человек в таком состоянии. Не человек! А кулаки у него ты сама видела. Он же в кузне работал...

Ком в горле ширится и жжет. Я прикуриваю от прыгающей спички.

— Не бросаешь все, — кивает Настя на дым.

— С вами тут бросишь...

— Расстроила я тебя своими разговорами! Ты не переживай, Люб, вот знаешь, стыдно... Стыдно! Все смотрят, как он за мной с ружьем бежит... Ружье-то я выхватила, так он с кулаками. Это я тебе многого не пишу, чтоб не расстраивать. А сколько всего было! Ты и сама не раз видела... И при тебе-то он еще шелковый. Уважает... Вот в этот раз не выдержала — написала, позвала. Ты уж прости меня. А что поделаешь? Свекрухе-то наплевать. Еенный сын, вот и заступает. Ее саму муж, пока жив был, забил до инвалидности. А что я одна...

Бросаю сигарету в печь, беру другую.

— Да подожди ты! Что так часто куришь? Вон, вся зеленая и тошная!

— Ты бы, Насть, ко мне переехала, что ли, а?

— Ну-у... стеснять тебя в твоей клетушке!

— Конечно, удобств нет. Не пропишут... Зато все тебе спокойнее.

— Дык, садик нужен меньшей, а старшей через два года в школу — не пустят без прописки. И в голову не бери!

— Придумаем что-нибудь. Ты же хотела! Не ждать же, пока он тебя забьет! Может, что и найдем, а, Насть?

Нигде нас не ждут, Настенька, — хочется мне сказать ей, — никто нам жилье не готовил. Везде одна беда — жить нигде. Люди травят друг друга за лишний квадратный метр жизни. А ты умеешь травить? Вот и я не умею. Может быть, где-то и есть такое место, где можно твою семью поселить, только ни ты, ни я не знаем такого места.

И все, что я предлагаю Насте, глупо, но я не знаю, как нам быть с нашей бедой.

Просыпается меньшая и кричит. Только сегодня у нее спала температура. Настя кормит ее и переодевает в сухие ползунки. У Надюши настины ямочки на щеках и темные вьющиеся волосики. Когда мать склоняется над нею, девочка сует ей в рот пухлые пальчики и, ухватив за губу, тянет к себе.

Настя смеется. От ее невысокой полной фигуры веет мягким покоем, чем-то далеким и теплым. Мне снова хочется стать прежней школьницей, и чтобы она, как в прошлом, слянявя рукав школьного платья и неловко вывернув локоть, больно стирала рыжее пятно крови с моей располосованной в драке щеки. И стояла бы я так и терпела терку шерстяного рукава, затаив дыхание.

* * *

— А помнишь... — завожу я. И наши привычные разговоры, взятые из воспоминаний, в паузах между фразами, в прорезях между словами, не гасят нашей тревоги, не снимают напряжения. Но Настя начинает смеяться, ее всегда нетрудно было рассмешить. А я говорю без конца, боясь затяжных пауз, боясь вообще остановиться. И смех мой наэлектризован, сух и неестествен, как будто это не я смеюсь, а кто-то посторонний. Я трушу, я всячески избегаю "главного" разговора, потому что я бессильна помочь. Не те времена, не те драки. Да и чем помочь, что предложить, что сделать, если ты ничего не можешь исправить?

— Я теперь чаще буду приезжать, — сообщаю я.

— Конечно, — спохватывается Настя. — приезжай. А то сама знаешь, как одной... А мы все-таки свои...

Пришла с улицы Люба. Люба — серьезный человек. Она позволяет себе обнять меня, замирает щекой к щеке и шепчет:

— Я тебя очень ждала. Очень! — и уходит смотреть подарки.

— Я завтра уже назад... в Москву поеду.

Настино лицо встревоженно замирает.

— Вот! Не надо было мне писать! Потретила тебя, волнуется она и низко опускает голову. Я не вижу ее лица, но знаю его в эту минуту...

— Осенью обязательно буду, как всегда, — торопливо поправляюсь я, — через три месяца. И вообще, Насть, я думаю, как бы так сделать, чтобы рядом жить. Может, я дом куплю, а? Недорогой. Деньги вот скоплю.

— И верно, — подхватывает она бледную идею, — в де-

ревне подыщем! Ты подумай об этом. У нас дома продают, найдем.

У меня нет денег даже на гнилой сарай и не будет, но я уже знаю, я уверена в том, что — да, я куплю дом в деревне, здесь.

— Помогать буду весь отпуск, — удерживаю я шаткую мечту, — у нас отпуск длинный. Или вообще все к черту брошу и буду писать романы в своем доме, рядом с тобой. В лесничестве подработаю.

— Хозяйство заведешь. Я тебе помогу. Главное — рядом будем! Откормишься!

Мы уже не можем остановиться и вздохнув пьем пустую надежду соседства.

— Нет, — протестую я, — только не надо "хозяйства". Дай Бог себя прокормить, а свиньи и куры — уволь! Огород пожалуйста! Мне немного надо — остальное все тебе!

— Яблони посадим, сливы! — перебивает Настя.

Мы смеемся, кричим и, не слушая друг друга, торопимся высказать хозяйственные соображения. Выясняется столько преимуществ у "своего" дома в деревне перед барачной комнатой в столичном городе, что я теряюсь и настораживаюсь: почему я все еще в городе, когда мое место здесь, в деревне!

Мы даже не заметили, как пришел Петр. Мы так оживлены и шумны, что вскоре к нам присоединяется Люба, весело загукала Надюша и забасил Петр, давно уже склоняющийся меня на жительство "с Волгой".

* * *

Здесь необычайно красиво. Трава сильна и напориста. Все заняло, затянуло незапыленной зеленью, и эта зелень везде. Она плещется у домов сиренью и яблонями, ровным потоком течет по огородам, вспенивается над дорогой и дальше высокими волнами пересекает луг, спускается в поле, преодолевает его и уже вздымается тугими валами леса, над которым угрожающе низко повисло огромное вечерне-оранжевое солнце. И я не могу оторвать от него взгляда, потому что знаю — вот сейчас, обмакнув в сочную вершину леса свой побег-

ровевший край, солнце потихоньку начнет вдавливаясь в него, и плотная масса зелени не выдержит давления, брызнет темным густым соком мясистой листвы. А солнце, истекая тем соком, будет тяжело погружаться в лес, пока не утонет на дне его, захлебнувшись горькой мякотью продавленной им зелени.

Комарье жжет нестерпимо. Петр не чувствует маленьких злых укусов, только большими серыми глазами смотрит куда-то повсрх крепких деревенских крыш. Мы не вспоминаем нашего короткого дневного разговора. Впрочем, говорила больше я, он "участвовал" в нем с покорностью большого добродушного человека. Да и говорить, кажется, уже не о чем, все сказано. Мы молчим и курим.

— Тоска-а-а! — тягуче произносит Петр. — Тос-ска-а!

И потом говорит быстро, торопливо, не подыскивая слова. Говорит так, словно кривые гвозди вбивает в узловатые доски.

— Не могу я... здесь! Работасшь, как скотина, потеешь... Мечтал сопляком о чем-то, работать хотел и еще что-то другое. Отдохнуть бы от этой гнуснятины, сходить куда-то, отвлечься... Вот, знаешь, внутри отдохнуть, сердцем! Разве не заслужил?! Крутишься: работа — хозяйство — работа. Клуб развалился, кино не привозят. Да хоть паршивенький какой фильм, чтобы час не помнить, где ты и кто ты. Да не хочу я так! Посмотришь после коровника в телевизор — там люди живут. Живу-у-ут... Насте, вон, хоть вск одним навозом дыши, только рада будет. Понимаешь, кроме сытого брюха что-то еще надо! Дерьмо да грязь, да поди и другие совхозы не лучше нашего. Да? Вот-вот, не одни мы такие дураки. Еще и газета по мозгам долбанула...

— ?

— Ага! И, знаешь, как-то по-сволочному. Подло. Словом, в местном брехунке объявление дали, мол, рабочие моей специальности в Москву требуются. Прописка, общежитие, семейным квартиры почти сразу же.

— Постой. Лимит же!

— Не знаю... Мы так обрадовались, не представляешь! Засуетились. Ну, думал, все, человеком заживу, без этих поездок к вам в Москву за колбасой, за одеждой. И выходные все твои, не как у нас. Хочешь, в кино иди или там в театр, а хочешь, в

гости к тебе вот. При галстукe и нормальный. Врачи, опять же, хорошие, а то вон девка из простуд не вылазит. Вот дурак — раскатал губу. Поехал во Ржев по указанному адресу. Там мне и говорят, мол, ошибка вышла, не было таких распоряжений. Короче, пошутил чудака какой-то, посмеялся надо мной. Козел. И не только надо мной. Там сказали, что несколько сот человек со всего района понаприехало... и уехало по своим деревням. Вот так!

Петр еще долго ворчит, приговаривает: "Как возвращаться не хотелось! На чемоданах сидели уже. Как возвращаться!? Все собрали... А она все туда же: давай корову купим!"

Настя об этом событии и не упомянула, позже лишь огрызнулась: — Да! Пусти козла в огород! В городе он всякое хозяйство забудет! — Да много ли в Москве хозяйства? — удивилась я. — И хорошо, что ничего не вышло. Пусть дома сидит, — отрезала она.

Мне грустно за них и за себя, и вообще за многое, чему не ишу названия, да и есть ли оно?

Утром Настя провожает меня. Точнее — Настя бежит, а я хромаю вслед за нею длинными ревматическими шагами. Она мелко семенит, катится, и трудно успеть за нею, но бежать не могу.

Автобус, единственный во весь день, и нам далеко до него. Он покорно ждет нас на своей очередной остановке. Наверное, нас видят. Мы шумно кряхтим. Настя торопит: "Скорее, скорее..." Скорее у меня не получается. Она уже у автобуса, а мне еще далеко до них и мне неловко, что меня одну ждут, срывают время прибытия и отбытия, и от этого я еще сильнее хромаю, задыхаюсь и спешу.

* * *

Как-то сразу Настя осталась позади, на дороге, за смердящим и пыльным автобусом, за нашей встречей и разговорами, словно я и не приезжала к ней, и непонятно, зачем еду сейчас среди незнакомых и ненужных мне людей. Я одна и пуста. Потом поезд — долгий и тряский. Тихо, без мысли и

чувства провожаю взглядом выстреливающие из-за спины и ползущие по грязному окну вагона телеграфные столбы.

* * *

Осенью к Насте я не смогла поехать, а через год получила из деревни телеграмму: "Приезжай срочно!" Три дня я безуспешно пыталась дозвониться до лесничества, в котором Настя работала. Не терпелось успокоить себя, узнать все самое страшное скорее и здесь. Послушное воображение рисовало безобразные картины, и я не могла заснуть.

"Да оставь ты телефон! Сама езжай, все и узнаешь..." — напомнила мне подруга, и я, все бросив, поехала в деревню.

Десять часов дороги превратились в кошмарные видения опухшей от побоев Насти, скромный могильный холмик, фанерный клин со старой, еще техникумовской, фотографией в простенькой рамочке под стеклом, зарезанные дети...

Снова была неистребимая вокзальная вонь и не было билетов на автобус. Снова были нагловатые таксисты. Город ни в чем не изменил себе, город продолжал жить, а Насти не было.

Я глотала в машине валидол, не в силах уже ни думать, ни понимать. Почему-то застряла на версии, что телеграмму послала настина свекровь как человек более крепкий нервами, чем Петр. Бессонные ночи истомили меня, но спать не хотелось. Что бы ни случилось в деревне, казалось мне, какая бы трагедия ни произошла, неизбежно, рано или поздно, все должно было плохо кончиться. Петр пил много, но если бы не злой нрав Насти, этот добродушный силач никогда бы и пальцем ее не тронул. "Оставь его в покое, не оскорбляй, не унижай! Проспится, сам виноватиться будет!" — упрашивала я Настю, когда хмельного и веселого Петра она доводила криком до бешенства и потом неделями не только не разговаривала с ним, но и близко к себе не подпускала. Несколько дней он заискивал, а потом пил без просыпу.

Еще в детдоме меня поражала неспособность Насти прощать ни малейшего проступка, ни случайной ошибки. Не прощала и не забывала и десятилетия спустя вспоминала

мелкую обиду с таким жаром, с такой досадой, как будто эта обида только что нанесена. У нее никогда не было друзей, с детства.

Однажды Петр повесился в нужнике. Она вовремя прибежала и подхватила его за ноги в тот момент, когда проводочная петля захлестнула шею Петра, не успев перерезать горло.

Что их держало вместе? Наверное, любовь, у обоих она была первой. Однако, о сексуальных отношениях супругов у Насти было четко выработанное мнение: никому эта гадость не нужна, это только чтобы дети были...

Дети есть. Двое. А ее нет. И снова я вижу перед собой ее изуродованное побоями лицо, уже чужое, и всматриваюсь в него с ужасом, пытаюсь увидеть в нем знакомые черты злой черноглазой девочки, за которую в детстве я, пожалуй, единственная, заступалась и часто расплачивалась за это разбитым лицом. А она жестким рукавом платья стирала со щек моих кровь. Носовых платков нам не выдавали.

Это не было дружбой в известном смысле и не могло быть: у каждой был свой внутренний мир, своя жизнь, свой характер и общий дом горького детства. А что теперь? Да то же самое!

Таксист тронул меня за плечо.

— Приехали.

Раннее утро. Пахнет навозом и близкой рекой. Заплетающимися ногами бреду по деревне, высматривая крышу наситинного дома. Крыша на месте. Слава Богу, не сгорели. Значит что-то другое. Но что?!

Дверь открывает Настя. Живая.

— Что случилось? Что за телеграмма? Все живы?

— Все живы, — смеется Настя и сразу же переходит на беззвучный плач. — Люб, поговори ты с этим дураком, он тебя послушает! Сил моих больше нет... А она-то, сука, на кого позарилась? Семью разбивает... Позор-то какой! Позор! Что он в ней нашел! Городская, из дачников, тощая, как ты... Ведьма!

— Да что случилось-то, говори толком!

— Петр загулял. На развод решил подавать, с этой вертихвосткой сошелся. Скоро к еенным родителям едут.

И вдруг переходит на истошный крик:

— Не дам я развода! Ишь, чего захотел! Не дам!!! Не от-пушу. Не от-пу-шу!..

Мне смертельно хочется спать, пол уплывает у меня из-под ног. Бессильной рукой пытаюсь защититься от оглушительного крика и, собравшись с последними силами, перебиваю Настю:

— Я завтра уже назад... в Москву поеду.

08. 88 — 11. 95 г.

РОМАН ГУЛЬ
"РОССИЯ ВО ФРАНЦИИ",
"РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

(\$15.00 и \$18.50 плюс пересылка).

Заказы посылатъ в редакцию
 "Нового Журнала".

Николай Шатров
(1929-1977)

ТОСКА ДЕМОНА

Ни эти губы, что устали
Лгать, клясться. ни глаза мои
Тускнеющие, цвета стали
Не выдержат твоей любви.

Когда-то, крылья расправляя,
Я обнимал весь шар земной...
О, что, ответь мне, умоляю,
О что ты сделала со мной?!

Я подарил тебе свободу,
А сам в железной клетке жил...
Все эти дни, все эти годы
Я красоте твоей служил

И слышал гневный голос Солнца:
"Прощенья нет тебе вовек.
Ты продал душу за червонцы,
Ты стал совсем как человек".

Орлы кричали мне: "Владыка!
Позволь нам разломать тюрьму!"
А я молчал... молчал... так дико
Послушен взгляду твоему.

Они, чтоб взять меня из плена
О прутья бились вихрем тел,

Но отступили постепенно,
И я остался, где хотел.

За подвиг муки добровольной
Уж больше я не заплачу.
Я был рабом. Теперь — довольно:
Я умираю, как хочу.

1954

* * *

Я положил себе за правило:
Не вмешиваться ни во что!
Хотя б всю землю окровавило,
Лишь полы подколю пальто.

Земля... Приветствую конец ее,
Чуть шляпу приподняв на миг,
Моя любовница — Венеция!
Бог к Адриатике приник.

Любыми прохожу каналами,
Дробящими кристалл звезды.
За всеми флагами линиялыми
Цветут подводные сады.

Где музыка (не ваша грузная)
Хрустальной люстрой звенит,
А люстры светятся медузами,
Всплывая во дворцах в зенит.

Я встречу, наконец, не с жалкими
Рабынями ночных минут,
Холоднокровными русалками,
Что так позорно к людям льнут.

Но переполненный терпением,
Не зная в вечности преград,
Усну, завороченный пением
Душ, ввергнутых страстями в Ад.

1975

* * *

Ты, Родина — есть предрассудок!
Кто мог такое произнести?..
Реальны: сердце, мозг, желудок.
Пустое: совесть, стыд и честь.

О, знайте: люди, — что деревья!
Я здесь расту, иной вдали...
И каждый в почве, как во чреве
Своей лишь матери — земли.

Корней не видно. Даже больно
Не сразу станет, если нас
Вдруг пересадят своевольно
Когда-нибудь, в недобрый час.

Ужаснее бывает... Сами
Нахально ищем свой предел
И под чужими небесами
Все остаемся не у дел.

Один цветет в оранжерее,
Другая в климате другом,
На вид, как будто бы живее,
Да только спуталась с "врагом".

Нет, не хочу ничьей тенью
Быть заграждаем, даже миг!
Душа — бессмертное растение!
Я не исчезну, где возник!

Язык с природой неразлучен,
Пусть сверхнационален дух,

По-русски ангела обучим,
Чтоб с нами помолился вслух!

Дай, Боже, света благодати,
Моих незримых книг листе,
Корням воды живой и, кстати,
Да упокой меня в Москве.

1975

* * *

Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума...

А. Пушкин

Не понимаю, нет, не понимаю!
И никогда на свете не приму
Расхожую заезженность трамвая,
В котором на работу, как в тюрьму!

Уж лучше жить пороги обивая,
Взяв пресловутый посох и суму...
Уж лучше жить...

А почему не хуже?!

Да! Крикни вслух: "Я хуже жить хочу!"

Пусть корка хлеба на обед и ужин,
Зато не хлопать сволочь по плечу,
Но знать одно: я снова Богу нужен!
И вот — расправил крылья и... лечу.

1974

* * *

Только с джазом рифмуется лето,
Только с жаром трубы — сон травы.

И скажу я тебе по секрету,
Все слова перед Богом правы!

Мир еще не готов, недокончен...
В красоте окружающей нас
Не поэтому ль взгляд твой уклончив,
Что восторг ожидания погас.

Я ишу не слова, а обеты,
Как предлог... Как залог бытия.
И душа моя плотью одета
И от духа ей нету житья.

1975

Георгий Демидов

ОБОРВАННЫЙ ДУЭТ

Пересыльная тюрьма, одна из самых старых на сибирском каторжном тракте, верой и правдой служила Российскому отечеству вот уже около двух веков. Но теперь этот старинный, выбеленный известкой "замок", с его круглыми, угловатыми башенками и прочими романтическими излишествами и отдаленно не соответствовал возросшим потребностям новой эпохи. Сохраняя прежние масштабы, он не мог бы вместить и десятой части многотысячных этапов, непрерывно следовавших дальше на восток. И это при самом прогрессивном, отнюдь не "предельщическом" взгляде тюремного начальства на допустимую плотность населения пересылки и условия содержания в ней этапников.

Поэтому она срочно расширялась за счет строительства новых корпусов. В их архитектуре ветхозаветной тюремной романтики не было и в помине. Образуя целые улицы, четырехэтажные кирпичные коробки стояли в ряд среди грязи и неубранного строительного мусора. Навешенные на окна железные "ежовские намордники" делали и без того унылые фасады тюремных зданий похожими на лица слепцов в темных, квадратных очках.

В большой камере третьего этажа одного из таких корпусов было тесно и шумно. В нее, как и во все другие камеры этого корпуса, заталкивали новых "постояльцев". Но и для старых места на сплошных, трехярусных нарах тут давно не хватало. Люди лежали не только на полу под нарами, но и в проходе между нарами и стеной. В последние недели формирования этапов для дальнейшего следования почему-то задер-

живалось, хотя, набитые арестантами эшелоны из центральных районов Союза прибывали сюда каждый день. Политическое руководство страны во главе с гениальным Сталиным полагало, что уничтожение на корню потенциальной "пятой колонны" куда важнее для дела обороны, чем сохранение опытных кадров и укрепление границ.

Шла обычная толкотня, ссоры и даже драки из-за места. Но только на полу и двух нижних ярусах нар. На третьем ярусе, хотя здесь было еще довольно просторно, ни шума, ни свалки не было, так как никто из новоприбывших никаких претензий на этот ярус не предъявлял. У всех уже хватало тюремного и этапного опыта, чтобы с первого взгляда распознать, что на верхних нарах тут, как и всюду в пересыльных тюрьмах, безраздельно господствует блатная хевра. А это означало, что доступ на привилегированный "бельэтаж" всяким "штымпам" и "фрайерам" закрыт. Во всяком случае без позволения хозяев яруса, получить которое удастся только немногим и в крайне редких случаях. А так как очередное пополнение камеры состояло почти сплошь из одних только "фрайеров-контриков", то никто из них не сделал даже попытки занять место на "аристократическом этаже". Такая попытка могла бы стоить зубов, выбитых ударом каблука.

Тюремные шайки уголовников, являвшиеся как бы низовыми ячейками всеобщей воровской корпорации, возникали почти мгновенно как только блатных набиралась хотя бы десятая, а то и двадцатая часть населения камеры, этапного вагона или пароходного трюма. Их сила заключалась в спайке, организованности и солидарности. Полнейшая разобщенность и трусливое благоразумие фраеров, привитое добропорядочным принципом невмешательства в чужие дела, делала их совершенно безоружными перед воровскими объединениями. Поэтому если и случалось иногда, что какой-нибудь одиночка из неворовской части заключенных восставал против засилья уголовников, то он, обычно, оставался безо всякой поддержки. Два-три бандита на глазах у полусотни отводящих глаза фрайеров, избивали и дочиста обирали строптивного, чтобы затем, уже без намека на сопротивление, обирать остальных. И всех их "загонять под нары" и в переносном, и в

самом прямом смыслах. Принцип, тысячами проверенный в масштабе целых народов и государств.

Для незнакомого с нравами и обстановкой тюрьмы могло бы показаться, что население верхних нар относится с полным равнодушием как к происходящему внизу, так и к самим новоприбывшим. Большинство блатных с безразличным видом продолжали лежать на своих местах. Несколько человек, сомкнувшись в тесный кружок в дальнем углу полатей, "чесали бороду королю", т. е. резались в самодельные карты. Однако, опытный глаз сразу приметил бы двух человек, сидящих на самом краю верхних нар и цепкими, воровскими взглядами скользящих по каждому из новоприбывших. Это был дозор, выставленный камерной хеврой для определения возможностей поживы за счет новых сокамерников. Сейчас было самое удобное время заприметить у вислоухих фрайеров их "заначки", у кого они есть, и содержимое их сидеров.

Впечатление у дозорных от большинства этапников складывалось пока неважное. Почти все они принадлежали к разряду "рогатиков", уже успевших побывать в лагерях и одетых в драные бушлаты и арестантские шапки-"ежовки". Лишь у немногих из таких в руках были грязные узелки с остатками недоеденной этапной пайки. Остальные съедали хлеб, выданный на два-три дня, почти сразу. Не очень отличались от них и штымпы, едущие прямо из тюрем. Обычно они до нитки и давно уже были ободраны камерными и этапными грабителями.

Исключение составлял только один, умудрившийся, по-видимому, просидеть до этапа в тюремной камере и ехать в вагоне, в котором не было организованной воровской фракции. В измятом, когда-то шегольском пальто, в фетровой шляпе, с большим узлом в руке он стоял у входа в камеру, не делая попытки пройти дальше и не принимая участия в дележе мест. Новичок резко выделялся среди своих соэтапников не только одеждой, но и лицом. Несмотря на недельную щетину, бледность и нездоровую одутловатость, с которой неизбежно связано сидение в тюрьме, оно отличалось мягкой интеллигентностью, тонкостью черт и какой-то необыкновенной выразительностью, эту выразительность придавали ему большие,

подстать красивой девушке, печальные глаза фрайера с тоскливым испугом глядевшие на происходившую перед ним возню. И сам он казался совершенно растерянным и беспомощным как интеллигентная барышня, попавшая в базарную свалку.

По блатняцкой классификации это был несомненно "бобер", сулящий верную и богатую поживу. Все, кто знал нравы тюрем, не сомневались, что пальто, костюм и ботинки бобра уже поставлены "на кон" в карточной игре, которая идет сейчас в углу верхних нар. И что тот, кто проиграл не принадлежавшие ему вещи, вот-вот свесится с этих нар и предложит их владельцу сию же минуту снять вещи в обмен на какую-нибудь лагерную рвань. Если же фрей, паче чаяния, по неопытности запротестует, грабитель будет скорее удивлен, чем рассержен или возмущен: — Да ты что, падло, думаешь, что я из-за тебя под нож встану?

И никакого преувеличения или сгущения красок в этих словах не будет — хевра беспощадна к неплательщикам карточных долгов.

Однако, утверждать, что ее пристальное внимание к каждому новому обитателю камеры всегда объясняется чисто грабительскими интересами, было бы не совсем верно. Случается, что главное внимание блатных сосредотачивается не на вещах иного фрайера, а на его внешнем облике. И притом на предмет предварительного определения степени его интеллигентности. Это бывает, когда общество камерных аристократов нуждается в рассказчике интересных историй — "тискале".

Наверное, не будет большим преувеличением утверждать, что для большинства профессиональных уголовников того времени, о котором сейчас идет речь, потребность в слушании всякого фантастического вранья было на втором месте после потребности в пище. Конечно, если исключить тягу к недоступным в тюрьме наркотикам и водке. Блатные могли слушать приключенческий вздор ночами напролет, изо дня в день.

Выше всего другого ценились нескончаемые истории о сыщиках, уголовные романы "Приключения Рокамболя" и то-

му подобная литература низшего разбора. За ней шли повести таких популярных некогда авторов, как Буссенар, Майн Рид, Густав Эмар, капитан Мариэт. Жюль-Верн ценился немного ниже, а рассказы Чехова, Куприна или Мопассана были едва терпимы, не говоря уже о Толстом или Горьком. Да и то при условии, что ничего другого рассказчик припомнить уже не мог. Но это значило также, что этот рассказчик плох. Главным достоинством настоящего камерного тискалы считалась его неистощимость по части плетения невероятных приключений. Манера рассказчика, выразительность его языка, дикция и прочие достоинства речи ставились на второе место. Что же касается правдоподобности и элементарной логической связанности повествования, то они и вовсе не имели значения.

Лучшие тискалы находились среди самих уголовников. Среди них встречались такие, которые могли нанизывать немыслимые истории одна на другую буквально целыми неделями. Это были вдохновенные импровизаторы, барды и романтики уголовщины, обычно совсем еще молодые. Большинство таких занималось своим изустным творчеством не столько для камерной аудитории, сколько для самих себя. Спасаясь от напора неприглядной действительности, они цеплялись за иллюзорный мир благородных бандитов, гениальных воров и обольстительных марух. Когда-то прочитанная или от кого-то услышанная галиматья перерабатывалась, дополнялась и сочеталась в темных головах рассказчиков подчас самым фантастическим образом. Какая-нибудь Сонька Золотая Ручка, легендарная одесская воровка, силой их буйного воображения переносилась в брет-гартовскую Калифорнию, а Рокамболь после взрыва в Тауэре оказывался где-нибудь в Костроме и метался по всей России, спасаясь от преследования царской полиции. И вся эта чушь воспринималась невзыскательными слушателями с неизменной благодарностью и восхищением.

Но такой тип присяжного тискалы был для камерной хевры весьма редкой удачей. Как правило, она не могла выделить из своей среды не только талантливую, но и рядовую рассказчика. Поэтому тискалы обычно вербовались среди более или менее начитанных фрайеров. Среди них нередко встре-

чались и хорошо образованные представители гуманитарных профессий, бывшие адвокаты, журналисты, режиссеры. Эти вдохновлялись отнюдь не самим творчеством тюремного повествователя, хотя некоторые "наблатыкивались" в нем почти до профессионального уровня. Их привлекали податки хевры и связанное с ее дружбой значительное облегчение тюремной жизни. И угодливые интеллигенты мобилизовывали свою начитанность, память, профессиональные знания и другие качества для выполнения "социального заказа" нового типа. Благо, для многих из советских гуманитариев было к этому не привыкать. Главными достоинствами тискалы были память на прочитанную когда-то чепуху и способность к беззастенчивой компиляции. Иначе ему грозило быстрое истощение и разжалование.

Это случалось очень часто с немолодыми уже фрайерами, учившимися еще в дореволюционных гимназиях. Почти все они воздали в свое время усердную дань пятачковым изданиям в ярких обложках со жгучим продолжением. Мамины пятаки, выданные на школьный завтрак и сэкономленные для приобретения желтых книжечек с изображением на обложках бандитов в масках, окупались теперь для некоторых весьма неожиданным образом. Даже не очень удачным тискалам хевра гарантировала неприкосновенность их имущества, предоставляла место на своем ярусе, а иногда даже их подкармливала. Чаще всего, однако, это продолжалось недолго. Рассказчик быстро выдыхался и изгонялся с аристократического бельэтажа обратно к штымпам.

Такая же судьба постигла и последнего из камерных тискал, бывшего преподавателя языка и литературы в средней школе. Этому, казалось бы, и карты в руки. Однако, пожилой учитель за два вечера израсходовал все, что мог припомнить из читанных в детстве рассказов про сыщиков и воров. На третий он начал сбиваться на какие-то повести Белкина, а потом и на тургеневские "Записки охотника". Стало ясно, что и этот не оправдал надежд и надо подыскивать нового. Высматривать подходящего кандидата на вакантную должность, покамест, конечно, только на основе их внешних данных и поручалось дозорным, выставленным для встречи очередной партии но-

воприбывших. Сейчас на вахте находились два старых блатных, по прозвищу "Москва" и "Покойник".

Бобер в шляпе, новых желтых "колесах" и роскошном "клифте" был ими, конечно, замечен и взят на учет, как объект возможного ограбления и как кандидат в тискалы. Притом, единственный, так как все его созапники были, несомненно, серыми штымпам, безнадежными в этом смысле. Но второе исключало первое, бесполезно обращаться с просьбой об услуге, да еще требующей усердия и вдохновения к тобой же ограбленному человеку. Но в то время, как вещи этого человека представляли несомненную ценность, его способности рассказчика оставались пока только предположительными. Тем более, что по своему возрасту фрайер принадлежал к советской генерации интеллигентов. Такие относились блатными ко второму сорту тискал уже потому, что, как правило, ничего не знали ни о Пинкертоне, ни о Картере, ни даже о Рокамболе. Однако, некоторые из них неплохо пересказывали бесчисленные советские повести "про шпионов", знали рассказы о Шерлоке Холмсе и приключенческую литературу.

Проще всего, конечно, пригласить этого фрайера наверх и предложить ему припомнить что-нибудь интересное из прочитанного. Все такие читали много, хотя и не всегда то, что стоит траты времени с точки зрения людей, понимающих в этом деле толк. Если он откажется, то все будет весьма просто, хевра по отношению к такому никаких обязательств не несет. Но он может принять предложение и оказаться занудой, который понесет что-нибудь про пресную и канительную фрайерскую любовь. Один такой весь вечер читал нудные стихи про Евгения Онегина и всех усypил. Однако "сдрючивать" с него колеса и клифт было потом неудобно. Так их на нем и оставили. Но на том были шмутки так себе. Тут же хевра рисковала упустить редкую удачу по части поживы, если рекомендовать ей взять этого фрайера на испытание. Если же поставить эту поживу впереди запросов блатняцкой души, то существует риск упустить хорошего рассказчика, может быть, даже самого писателя про шпионов — сейчас на этапах попадают и такие. И в обоих случаях "Старик", руководитель

камерной хевры, непременно начистит неудачливым физиономистам зубы.

Конечно, есть еще и такая возможность: фрайера не трогать, но и наверх не приглашать. Настоящий тискалка может проявить свои способности даже под нарами, среди тупых и унылых штымпов. Надежда на это, однако, плоха. А главное, любого здесь могут вызвать на этап даже через пару часов после его появления в камере. И тогда богатого фрайера облупит уже какая-нибудь другая хевра.

Дозорные ломали головы, пытливо всматриваясь в лицо человека, понуро стоявшего со своим узлом возле самой двери и не замечавшего их пристальных взглядов. Вдруг Москва подался всем корпусом вперед, оттолкнув товарища локтем, как будто тот мешал его наблюдениям, и буквально впился глазами в лицо фрайера у двери. — Он! — скорее прохрипел, чем прошептал блатной, ударив себя кулаком по колену. Москва отличался экспансивностью и избыточной темпераментностью. — Он, свободы не видать!

— Кто "он"? — удивленно спросил Покойник.

— Помнишь, как в позапрошлом в С-ке были?

— Ну, были...

— А афиши, что там расклеены были, помнишь?

— Ну...

Москва приставил губы к самому уху приятеля и что-то ему прошептал, трахнув его для вящей убедительности ладонью между лопаток: — Он, я тебе говорю! — Однако, более флегматичный и, по-видимому, склонный к скептицизму Покойник некоторое время недоверчиво смотрел на "шляпу", потом махнул рукой: — Заливаешь... Тот старый был!

— А этот что, молодой? Поди уже тридцать гавкнуло... — В преступном мире, где люди живут очень мало, человек в тридцать лет считается уже пожилым, а в сорок именуется обычно "стариком".

— Да и руль у него не такой...

— Разуй шары. На руль откуда смотреть надо!

— А ты еще из-под нар посмотри...

— О чем толковище? — позади спорящих неожиданно появился Старик. Те наперебой стали объяснять ему причину

спора и каждый, конечно, старался доказать "главному блатному" камеры свою правоту. Особенно горячился Москва. Стараясь не сорваться на крик — предмет спора не должен был этого спора слышать — он отчаянно сквернословил и жестикулировал. Среди его невятного бормотания разобрать можно было только неизбежные блатняцкие клятвы, вроде "б... буду!" и "свободы не видать!" Привлеченные спором, на краю нар по-обезьяньи сгрудились еще несколько блатных. И все пялили глаза на пока еще ничего не замечающего фрайера с узлом. Старик, морщинистый, немолодой уголовник, тоже смотрел, но, как и полагается старшему, в спор не вмешивался, хотя Москва и Покойник начали уже хватать друг друга за грудки. — Свистни-ка фрею, Москва! — изрек он, наконец, когда дело дошло почти уже до драки. — Только с подходом, гляди... — "Свистни" — значит "позови".

Тот свесился с нар и обратился к "фрею" с необычной для тюрьмы вежливостью, "подходом": — Можно Вас на минуточку, гражданин!

Молодой человек поднял голову и увидел обращенное к нему небритое лицо уголовника, манившего его пальцем. От вежливой улыбки, которую постарался скорчить Москва, его довольно-таки дегенеративная физиономия сделалась еще более пугающей. Рядом с ней на новичка таранился еще добрый десяток пар глаз на таких же лицах. Фрей в шляпе решил, конечно, что это шайка, которая сейчас начнет его грабить, и испуганно попятился назад. Москва, держась за столб, свесился с нар еще больше: — У меня к Вам вопросик, гражданин. Вы, случайно, не артист будете?

Теперь к выражению испуга на лице спрошенного добавилось еще и удивление: — Да, я артист... А что?

Москва радостно осклабился и, обернувшись к Покойнику, спросил: — Слыхал, фрайер?

Тот, однако, не сдавался: — Может, фрей косит? — И довольно грубо сам спросил у артиста: — Из какого города будешь?

— Я пел в с-ском оперном театре...

— Точно! — завопил Москва. — Заткнись падло! — вскочив на нарах, он так пнул Покойника ногой, что тот едва с них не слетел. — Вот это фарт! Свести человека сюда, Старик!

Положение обязывает, и поэтому патриарх хевры был сдержаннее других. В его камеру попал оперный певец. По-видимому, это был действительно фарт, хотя и не столь уж большой, умелый рассказчик был бы предпочтительнее. Старик жил в городах и знал, что в оперу абы кого петь не возьмут. Правда, говорили, что поют там как-то по-особенному, так что не всякий и слушать станет. Но фрайер, наверное, умеет петь и другие песни, кроме оперных. Во всякой другой тюрьме это его умение было ни к чему, там здорово не распоешься. Но тут пересылка. В пересыльных тюрьмах вообще "слабина" по сравнению с режимными и следственными, а сейчас и подавно. Камеры переполнены и уследить за порядком легавые не могут. Пожалуй, сгодится и певец. — Ну-ка, Артист, — сказал Старик, подумав, — лезай к нам!

К растерянному стоявшему внизу человеку протянулось несколько рук. Он все еще не понимал что же, собственно, сейчас происходит. Но одно было для него уже ясно — эти люди не только не собираются его обижать, но и приглашают к себе с неподдельным радушием. И делают это, по-видимому, потому, что знают его как представителя искусства.

Это было непостижимо, но трогательно. Воры и бандиты в грязной сибирской пересылке узнали певца из провинциальной оперы и хлопочут вокруг него с радостным оживлением. Артистическое тщеславие брало верх даже над недоумением и растерянностью. Его красивое лицо порозовело сквозь жухловатую тюремную бледность. Служителя Искусства всегда радуют проявления его силы. Тут же сила Искусства проявлялась при почти неправдоподобных обстоятельствах.

Артиста посадили на одно из лучших мест у самого окна, которое занимал до него разжалованный тискалка. — Снимай клифт, тут у нас "ташкент"! — говорил ему один из хозяев нар. — Да не бойся, — добавлял другой, — тут у тебя ничего не пропадет! — Больше всех суетился Москва, чувствовавший себя кем-то вроде первооткрывателя клада. — Как Вы меня узнали? — спросил его артист. — По портрету на афишах, — с готовностью объяснил тот. Я в С-ске бывал. ширмачил там. Ну и видел как Вы с этих афиш смотрите... — Москва повернулся в свой курносый профиль и слегка вскинул заросший под-

бородачок. — А этот штывп, — он ткнул кулаком Покойника, — гундосит еще: руль не такой.. Вот как дам по рулю!

— А как твоя фамилия? — спросил Старик. Ему это нужно было для сведения, но отнюдь не для пользования. В блатном мире без особой необходимости никого не принято называть по фамилии, даже чужих. Предпочитают прозвища, они куда выразительнее и содержательнее. Для нового обитателя камерного бельэтажа прозвище напрашивалось само собой — Артист. — Званцев, — ответил тот на вопрос Старика.

— Точно! — закричал Москва, — теперь вспомнил, — вот такими буквами было написано... — жестом хвастливого рыболова он развел руки, показывая какими буквами была написана фамилия Артиста на афишах, — Сурен Званцев.

Без шляпы, пальто и кашне, с оболваненной под машинку головой сейчас он отличался от окружающих уже менее резко. Званцев сидел на своем почетном месте с кружкой кипятка в одной руке и куском хлеба в другой. Угощал Артиста все тот же Москва. Суетливый блатной громко рекламировал свою находку: — Фрайера в С-ске за вход в театр по шесть диконов барыгам платили, когда там Артист пел... — Только Покойник знал, что Москва крепко привирает на правах очевидца и героя дня. Но он теперь помалкивал. Скорый на руку приятель мог и в самом деле двинуть его по "рулю".

Теперь для Званцева было уже ясно, как его здесь узнали. Но никто из окружающих никогда не слышал его исполнения. И вряд ли кто-нибудь из них мог что-нибудь в этом понимать. Артист был отличным певцом и знал это. Он и в самом деле был известен и за пределами своего С-ска, случалось пел и в Москве, и его мечта о Большом театре вовсе не казалась ему несбыточной. В камерах С-ской тюрьмы он встречал немало высококультурных людей, много раз слышавших его в опере и ценивших его редкий голос. Но все они относились к нему просто как к товарищу по несчастью. Эти же уголовники — так близко Званцев видел их впервые в жизни — люди явно грубые и малокультурные, устроили ему едва ли не почетную встречу. Сначала ошеломленный артист принял это за подобие того, что проявляли к своим кумирам московские "лемешистки" или "козлистки". Но теперь, когда его мысли пришли в некоторый

порядок, он понял, что этого быть не может. Недоразумение? Но какое?

А происходило действительно недоразумение. Блатные были уверены, что всякий профессиональный певец, а тем более такой, о выступлении которого объявляется аршинными буквами, может спеть все, что поется. Они с нетерпением ждали, когда Артист доест свой хлеб. И когда он поставил на подоконник пустую кружку, сразу же попросили его что-нибудь спеть. Званцев удивился, разве в тюрьме можно петь? В С-ской тюрьме за попытку петь даже вполголоса угрожал карцер.

Теперь удивленно переглянулись его хозяева. Вот так фрайер! А для чего бы его здесь так охаживали? Оставили при нем его шмутки, посадили на верхние нары, даже покормили. Выходит, он думал, что это просто так, за его красивые глаза... Ничего этого Артисту пока не сказали, но объяснили, что тут не городская тюрьма. От поверки до отбоя можно шуметь сколько угодно. Пой песни, хоть тресни, только есть не проси...

Это было приятное известие, хотя оно до конца и вполне прозаически объясняло все недоумения Званцева. Его пригласили на эти нары и даже поделились с ним хлебом вовсе не из абстрактного уважения к Искусству. Эти люди хотят держать его здесь в качестве своего "придворного" певца. Что ж, это даже хорошо. Уже больше года, как он не пробовал свой голос и тоска по этой возможности была временами едва ли не сильнее всякой другой тоски. К радости добавлялось смущение, напоминавшее то, которое Званцев испытывал в уже далекие времена дебюта. Он ощущал сейчас смешной и почти приятный страх, а что как он пустит перед этой почтенной публикой "петуха"? Артист откашлялся, приложив к горлу концы пальцев. Там казался застрявшим только что съеденный хлеб. Но публика смотрела на него, хотя и выжидающе, но вполне благожелательно. Небритые рожи уголовников казались теперь почти не страшными, не то, что полчаса назад, когда он увидел их столпившимися на краю нар. Артист произвольным жестом взъерошил отсутствующие волосы и обвел окружающих повеселевшим взглядом: — И что же вам спеть?

Вот это был деловой вопрос! Со всех сторон посыпались заказы. Несколько человек требовали, чтобы Званцев спел популярную в лагерях блатняцкую песню "Любил жулик проститутку", очень сентиментальную и жалостную. Другие предпочитали более старинную "Где купца обуешь в лапти, где прихватишь мужика". "Солнце всходит и заходит"! — кричал кто-то из угла. И даже из толпы фрайеров внизу неуверенно крикнули: "Катюшу"!

Недоразумение, оказывается, продолжалось. И опять с обеих сторон. Потомственный интеллигент и музыкант, Званцев никогда не думал прежде, что можно жить на свете и не иметь даже отдаленного представления о делении вокального искусства на жанры и специализации самих вокалистов. Безмерное музыкальное невежество своей публики и ее невероятные требования Артист воспринял почти с испугом. Выражение радостной готовности на его лице сменилось растерянностью и смущением.

— Я... этого не могу... Я оперный певец, понимаете?.. А этих песен даже не слышал никогда.

Физиономии блатных разочарованно вытянулись. Так вот оно как, оказывается! Этот хваленый певец даже не знает песен, которые знают в тюрьме все. — Да он темнила! — крикнул кто-то.

— Так ты ни одной хорошей песни не знаешь? — угрожающе спросил Старик.

— Хорошей? — растерянно переспросил Званцев. — Я не эстрадник, понимаете. И знаю только оперный репертуар...

— Это когда стоят вот так и тянут, будто блеют, ме-е-е... бе-е-е... Или верещат, как будто им на хвост наступили... — Испитой, желчный блатной, расставив руки и перекосив небритую физиономию показывал, как держатся на сцене оперные певцы.

— А ты видел? — накинулся на него Москва. Он не мог присоединиться к возмущению других несостоятельностью Артиста, так как отвечал за него. — Видел! — ответил тот. — Я в харьковскую оперу ходил, в раздевалке там щипачил ... Легче легавому арапа запустить, чем всю оперу прослушать!

Настроение экспансивной и раздражительной публики из

благожелательного быстро переходило в злое. — Вот так фрайернулись! — возмущался кто-то. — Это все Москва! — не преминул вернуть Покойник. — Вон чего загнул, по шесть диконов давали! — Он наступал на приятеля, помахивая кистями рук, поднятыми на уровень головы как вислыми ушами. — Ну, кто штымп?

Возмущенный галдеж быстро нарастал. — Гони фрайера под нары! — требовало несколько голосов. Какой-то блатной, до сих пор угрюмо молчавший, вылез из своего угла и с угрожающим видом подошел к другому: — А ну, сдрючивай шмутки с фрея! — Этот блатной успел выиграть в карты вещи Званцева еще до того, как его пригласили наверх. И теперь требовал выполнения условий игры. Кое-кто предлагал начистить зубы Москве, как главному виновнику конфуза. — Да что вы, падлы! — защищался тот. — Артист наших песен не умеет петь, а свои-то он может... Я ж говорю, фрайера в С-ске из-за него в драку лезли, свободы не видать!

— Так и пускай катится к своим фрайерам! — крикнул тот, который выиграл вещи Артиста. — А ну, скидай клифт, падло! — Ме-е-е... бе-е-е... — блял знаток оперных спектаклей.

— А ну, ша! — прервал галдеж Старик. — Я тоже эту оперу по радио слыхал... Если выключить нельзя, калган от нее трещит. Но кое-что слушать можно... А ну, спой что-нибудь! — приказал он Званцеву. — Что хочешь спой. Хоть из этой своей оперы, если уж ничего лучше не умеешь.

На лице Артиста появилось выражение обиды и боли. Серый от бледности, он сидел понурясь, готовый, кажется, вот-вот заплакать. Но затем он сделал над собой усилие и поднял голову. Теперь его лицо выражало уже решимость, а глаза глядели куда-то сквозь своих недоброжелательных экзаменаторов. Вряд ли даже при недюжинных способностях человек может стать артистом, если не научится владеть собой в решающие моменты. Недоброжелательность публики является тягчайшим испытанием. Прежде Званцеву всегда удавалось ее преодолевать. Может быть, удастся и теперь.

— Я спою вам арию приговоренного к смерти...

— В смертнячке оно в самый раз петь... — хохотнул кто-то. — Ша! — цыкнул на него Старик.

Званцев откашлялся и немного помолчал с прежним отрешенным выражением на напряженно застывшем лице. Было заметно еще, что он к чему-то как будто прислушивается. Но лишь немногие догадались, что это Артист воображает оркестровое или фортепьянное вступление. Затем он слегка откинул голову и запел арию Каварадоси из пуччиниевской "Тоски".

Враждебный прием, отсутствие аккомпанимента, отвратительная акустика камеры, сверху донизу набитой людьми, все это никак не способствовало возможностям вокального исполнения, да еще после такого длительного перерыва в пении, на которое обрек Званцева его арест. Но голос певца звучал неуверенно и чуть-чуть хрипло только в самом начале арии. Затем он быстро окреп под влиянием нахлынувшего на него чувства. Это было чувство почти полного соответствия внутреннего состояния исполнителя арии переживаниям своего героя. Не было больше серого этапника, заключенного сталинской тюрьмы. Был узник Римской цитадели, мятежный граф Каварадоси, встречающий последний в жизни рассвет. Его тоска по жизни, такой еще молодой и яркой, по любимой Флории, по славе возможного, но не состоявшегося победителя была тоской и самого певца. Не наигранной, сценической тоской оперного артиста, а настоящей душевной мукой человека, у которого его жизнь в Искусстве, личное счастье, почти уже достигнутая заслуженная известность, все рухнуло, все навсегда осталось по ту сторону тюремной стены. Освобожденный от балласта неуверенности, смущения и робости вырвался на свободу сильный драматический тенор Званцева. И взмыл в красивом полете, как будто раздвинув стены грязной, вонючей камеры. Голос певца легко поднимался до самых высоких теноровых нот, и также легко падал в глубины баритонального регистра.

Сдержанную муку мужественного узника в каменном мешке смертной камеры Артист выражал сейчас перед кучкой грубых и невежественных уголовников с такой глубиной и силой, которая никогда еще не удавалась ему на оперной сцене, хотя его тонкой натуре дар воплощения был отпущен не в меньшую меру, чем дар певца.

О своих слушателях Званцев забыл и не мог видеть происходившей с ними метаморфозы. Сначала злость и пренебрежение сменились на их лицах удивлением. Никто из блатных никогда не слышал еще такого сильного и чистого голоса. А затем их начало захватывать чувство, вложенное в исполнение трагической арии заключенным певцом. На лицах самых грубых, даже того, который выиграл вещи Званцева, появилось печальное и задумчивое выражение. Более сдержанный, чем другие, Старик, сначала слушавший Званцева с пренебрежением предвзятого экзаменатора, задумался и опустил голову. Уж кто другой здесь, а он-то знал, что такое тоска смертной камеры. И почти не понимая слов арии, чувствовал, как в самую душу к нему проникают ее рыдающие звуки. Москва преданно смотрел на певца с выражением неподдельного восторга на своей свирепой физиономии, ведь успех Артиста был и его успехом. Темпераментный блатной делал в воздухе жесты руками и шевелил губами, только с трудом, видимо, удерживаясь от восклицаний. Впрочем, к концу арии перестал дергаться и он. Все слушали, не проронив ни звука, почти затаив дыхание. Затихли внизу даже вечно бубнящие штымпы.

Певец кончил и машинальным жестом откинул ото лба несуществующие волосы. Он стал, если это возможно, еще бледнее. Но теперь тон его бледности сделался как будто иным, более светлым. Вероятно, впрочем, так только казалось из-за темного блеска, который излучали глаза Артиста.

С минуту слушатели сидели неподвижно и молча. Кое-кто украдкой смахивал с лица слезы. Грубость и жестокость профессиональных уголовников часто сочетаются в них с сентиментальной чувствительностью, а нередко и с неожиданной способностью понять даже весьма высокие чувства, заложенные в литературные и музыкальные произведения их авторами.

Москва, конечно, первым нарушил общее молчание и определил общее заключение, ударив себя кулаком по колену: — Артист — человек! — Эта высшая похвала для неблатного. Старик, делая вид, что обдумывает исполнение Артиста, потирал седую щетину на щеках, она была влажной. Однако, открыто выражать свой восторг руководителю хевры было не к

лицу, и он ограничился сдержанным приказанием: А ничего, что Артист из оперы, фартово поет, падло!

На всех ярусах нар гудели одобрительные голоса. Кто-то внизу, когда Званцев кончил петь, ему даже зааплодировал. Но не поддержанный никем, скоро понял неуместность такого способа выражения похвалы и перестал хлопать. Однако и без аплодисментов было ясно, что успех Артиста полный. Теперь на его выразительном лице сияло радостное удовлетворение. Он и здесь оставался артистом. Тем более, что вряд ли когда-нибудь одерживал над скепсисом публики более убедительную победу.

— Что, падло? — теперь уже Москва наседа на Покойника, изображая перед ним ослиные уши. — Кому надо зубы начистить? — Над шипачем, с воровскими целями посещавшим оперу, иронизировали: — Ты ее часом не с цирком спутал? — Москва строил смуга: — Ме-е-е...

Званцев с улыбкой наблюдал за проявлениями ребячливости блатных, которая, однако, никак не смягчала свирепых нравов хевры. Но вдруг он перестал улыбаться и начал к чему-то прислушиваться. Затем, с выражением напряженного внимания, прильнул к решетке окна, у которого сидел. Оно приходилось как раз на уровне верхних нар. Обернувшись к галдящим блатным, умоляющим голосом произнес: — Тише, товарищи! Пожалуйста, тише!

Тишина наверху наступила почти сразу, о ней просил ведь "Человек" Званцев. Но внизу шум еще продолжался. — Тише, вы, падлы! — гаркнул Москва, свесившись через край нар. Штымпы удивленно затихли.

Теперь уже все явственно слышали доносившееся через окно пение. В камере второго этажа сильным меццо-сопрано пела женщина. Своим голосом она владела с профессиональной уверенностью и несомненным мастерством. Даже для совершенно неискушенных в музыке людей ее пение чем-то напоминало только что исполненную Артистом оперную арию. И не только своим стилем, но и почти такой же силой чувства.

Сами по себе женские голоса снизу никого здесь удивить не могли. Коридор второго этажа был "женским", а камеры на

всех этажах располагались одинаково. Точно одно над другим приходились и их окна. При открытых форточках — а они в переполненных камерах были открыты почти всегда — звуки из смежных по вертикали камер, хотя и довольно слабо, были слышны из окна в окно. Особенно в направлении снизу вверх — наклонно поставленный перед окном железный козырек играл роль отражателя. Женщина внизу пела, по-видимому, перед самым этим отражателем. И в этом не было ничего необычного. Удивительным было другое. То, что певица в женской камере была вокалисткой высокого класса и пела арию из той же "Тоски" — очевидно, отвечала Званцеву.

Прижавшись к решетке окна, Артист застыл в напряженном внимании. Было видно, что он боится пропустить хотя бы звук из пения незнакомой арестантки. — Прямо опера! — хохотнул кто-то. Званцев обернулся к нему с выражением на лице почти физической боли, а Москва поднес к носу непрошенного комментатора свой увесистый кулак.

Пение внизу оборвалось на высокой, рыдающей ноте. Артист медленно, как человек, только что увидевший удивительный сон и не вполне еще проснувшийся, провел ладонью по лицу. — Мне ответила Флория... — выговорил он наконец в ответ на вопросительные взгляды. — Никак твоя баба? — изумились вокруг.

Только теперь Званцев очнулся по-настоящему и вспомнил, что вокруг него люди, не имеющие представления не только о том, кто такая Флория Тоска, но и о смысле музыкальной драмы вообще. Нужно будет разъяснить им это. Но не сейчас. Сейчас Званцев лихорадочно перебирал в уме все знакомые арии и романсы, чтобы ответить своей неожиданной партнерше на том же музыкальном языке. Опять попросив тишины, он запел в решетку окна: — "Средь шумного бала, случайно..."

Теперь им владели уже иные чувства, чем при исполнении арии Каварадоси. Но опять они были собственными чувствами певца. И проникновенные строфы старинного романса сделались от этого еще более выразительными. Для него они сейчас имели почти реальный и трагический смысл.

Блатные слушали романс внимательно, с пониманием

вникая в его слова. Дело сейчас не столько в самой музыке, сколько в удивительной, никем еще не слышанной здесь музыкальной перскличке двух заключенных оперных певцов. Это было что-то вроде захватывающей драматической игры. Когда Званцев пропел свой романс, его похвалили не только за хорошее исполнение, но и за удачный выбор музыкального ответа в женскую камеру. — Здорово это у тебя насчет "тайны" получилось, — одобрительно сказал кто-то. Оно действительно тайна, что это там за баба? А сколько тебе сроку дрюкнули, Артист?

— Восемь лет, — вздохнул Званцев.

— Ну, и фрайерше, небось, не меньше... — То, что певица внизу — "фрайерша", никто тут не сомневался. Уголовники поют совсем иначе и совсем другой репертуар.

— Тише! — опять поднял руку Званцев. Снизу начинался новый музыкальный "заход". Так здесь успели окрестить попеременные выступления певцов.

Правда, с неослабевающим вниманием и искренним наслаждением слушал пение женщины один Артист. Другие только с большим или меньшим нетерпением пережидали, когда оно кончится. Голос певицы сколько-нибудь различимо звучал только у самого окна. А главное, пела она именно так, как обычно поют оперные певицы по радио, длинно и скучно. Опера, все же, оставалась оперой, и таких хороших песен, как та, которую исполнял давеча Артист, в ней было, видимо, раз, два и обчелся. Правда, сам Званцев был от пения своей партнерши в каком-то тихом восторге. — Татьяна из первого акта! — вполголоса объяснял он сидевшим поближе и опять прикинул к решетке. Артист снова забыл, что такие объяснения никому здесь ничего не говорят. Прослушав Татьяну, он начал петь Онсгина из той же оперы. Затем снизу следовало что-то новое, а на него новый музыкальный ответ.

Постепенно кучка любопытных вокруг Званцева поредела. Все отошли на свои места и занялись обычными делами или обычным бездельем. Артист тоже освоился с обстановкой, вернее, забыл о ней. Теперь возобновившийся вокруг шум почти не мешал ему ни слушать свою партнершу, ни отвечать ей. Только вряд ли этот обмен ариями и романсами можно

было назвать игрой. Это было не развлечением или соревнованием, а взаимным удовлетворением особого рода голода, который у настоящих артистов достигает иногда силы необыкновенной. Было тут, очевидно, и удовлетворение потребности в общении мужчины и женщины, осуществляемой таким странным и необычным образом. Исполняемые музыкальными партнерами арии состояли почти из одних только объяснений в любви — благо в оперном репертуаре этих арий больше, чем всяких иных.

Разговор-концерт Званцева и незнакомой певицы из женской камеры кончился только, когда принесли вечернюю баланду и началась обычная в это время суeta. Перед отбоем соседи Званцева по нарам потребовали, чтобы он выполнил свое обещание рассказать им об опере. Раньше бы, пожалуй, они и слушать о ней не захотели, да вот песня этого самого смертника всем понравилась. Но и теперь почти все тут оставались при убеждении, что опера — это, в общем, нестерпимая тягомотина. Некоторые полагали, что таким способом образованные фрайера охмуряют друг друга и самих себя. Одни выпендриваются со сцены и берут за это деньги. Другие делают вид, что это им нравится, так как посещение оперы — своего рода шик. Некоторые из блатных бывали в драматическом театре и находили, что представление на сцене — это интересно. Музыка это тоже хорошо, если, конечно, играет не симфонический оркестр. А вот зачем портить драматическую роль исполнением ее, по-дурацки, нараспев? Здрав-ствуйте... Ка-а-к пожи-ва-е-е-те...?

Сначала Званцев думал, что ему никак не удастся преодолеть предвзятость и глубину невежества своих слушателей. Тем более, что он был плохим популяризатором и еще худшим педагогом. Артист не мог приспособиться к уровню своей аудитории и не переносил выпадов в адрес любимого им искусства. Он постоянно обижался за него, умолкал или отвечал раздраженно и сбивчиво.

Оказалось, однако, что положение не так уж безнадежно. И к концу своей лекции Званцеву удалось многих поколебать в их убеждении, что опера — это всего лишь какая-то музыкальная заумь. Будь перед ним аудитория того же образова-

тельного уровня, но состоящая из людей обычного склада и образа мысли, это, безусловно, не удалось бы. Но тут были уголовники, что парадоксальным образом меняло дело. Среди них людей романтического склада гораздо больше, чем среди тех, кто честным трудом добывает свой хлеб и послушен законам государства и общепринятой морали. И хотя сама по себе романтика уголовщины быстро развевается в представлении даже самых молодых своих сторонников, их идеалы переносятся в иллюзорный мир "красивой жизни". Для этой жизни характерно презрение ко всему серому и будничному, прежде всего к труду. Ей чужды мелкая расчетливость и робость перед чьим-то запретом. Старая, как мир, триада: любовь, вино и карты — являются эмблемой и девизом блатничества. Конечно, в меру его убогого разумения и еще более убогих возможностей. Но это в целом. Отдельные же представители мира отверженных, наиболее вдумчивые и способные, проявляют иногда влечение к настоящей литературе и поэзии. Даже высокоинтеллектуальной, такой как поэзия Гете, Гейне или Блока, хотя обычно они перекраивают их философское обобщение на свой особый лад. Все сказанное о духовном мире некоторой части уголовников несколько, однако, не меняет их практики воров и насильников. Такова уж логика самого их существования.

Увлеченность, с которой Званцев рассказывал об опере, как об искусстве передавать со сцены сильные человеческие страсти при помощи музыкальных звуков и ярких красок, заставила призадуматься даже самых скептических из его слушателей. Что ж, может, этот "человек" и в самом деле прав и опера не просто фрайерская блажь. Вон какую любовь закрутил с этой певучей фрайершей внизу! Блатных почти тронул их музыкальный роман. Хотя этих фрайеров разделяет сейчас только межэтажное перекрытие тюремного корпуса, никогда они не увидят друг друга в лицо. Не сегодня, так завтра одного из них угонят на один конец света, а другого куда-нибудь на другой. И до конца своей жизни никогда более они не встретятся.

Когда беседа закончилась и все улеглись, Званцев услышал, как один из заключенных на верхних нарах вполголоса

сказал соседу: — Каких только фрайеров теперь в тюрьмы не понапикивают! На одной только этой пересылке из них можно хоть академию, хоть оперу собрать... — А, может, оно так и пущено, — ответил сосед. — Лагерному начальству где-нибудь на Колыме скучно, вот оно и дало заказ легавым в городах поналовить для него всяких певунов да плясунов... — Первый в этом усомнился. Он обладал, вероятно, большим лагерным опытом: — Не... С контриковскими статьями в КВЧ не берут...

Артист долго лежал с открытыми глазами. Легко возбудимый человек, он был переполнен впечатлениями прошедшего дня. И самым сильным из них была эта музыкальная встреча с этапницей из женской камеры внизу, такой близкой по расстоянию и, одновременно, такой далекой. Там, под полом, точно такая же камера и такие же нары, на которых так же тесно, как здесь мужчины, лежат женщины. И среди них эта певица. Возможно, что и она сейчас не спит и думает о нем, своем партнере по неожиданному дуэту. Старается, наверное, представить себе его внешность, возраст, бывшее общественное положение. Тут, впрочем, ей многое может подсказать его профессия певца. Вряд ли он дал ей основания усомниться в своем профессионализме.

А кто она? Званцев поймал себя на том, что увлеченный самым удивительным в своей жизни дуэтом, он в течение всего этого времени, да и потом, ни разу об этом не подумал. Правда, репертуар певицы, качество и манера исполнения, поскольку о них можно судить в этих условиях, почти не оставляли сомнения, что она либо оперная артистка, либо бывшая кандидатка на это звание. А, может быть, она уже известная исполнительница? Не исключено даже, что они знакомы — мир оперного искусства не так уж широк! Артист даже приподнялся на нарах, настолько его поразила эта простая мысль. И как это она ни разу до сих пор не пришла ему в голову? Ведь мог же он представиться своей партнерше через окно и попросить ответить ему тем же! В конце концов — это закон элементарной вежливости. Ничего, однако, еще не потеряно — это он может сделать и завтра.

Насколько до сих пор Званцев как бы абстрагировался от представления о внешнем облике своей партнерши, настолько

упорно теперь он пытался его вообразить. Но ему никак не удавалось отделаться от привычных ассоциаций. Певица представлялась ему в образе тех оперных героинь, арии которых она исполняла сегодня. Все они были прекрасны и внешне эффектны, но, конечно, совершенно не верны. И, в сущности, почти оскорбительны для обездоленной арестантки в камере пересыльной тюрьмы.

Раза два мельком Артисту приходилось видеть заключенных женщин в коридорах и во дворе С-ской тюрьмы. Это случалось, когда надзиратели допускали путаницу или недосмотр при выводе арестантов на прогулку или при переводе их из камеры в камеру. У большинства женщин были ввалившиеся глаза на серо-бледных, у иных даже с землистым оттенком, лицах. И что-то общее было в выражении этих лиц, на свободе, вероятно, самых разных. Почти одинаковыми в своем безобразии были и фигуры арестанток в грязной, изжеванной одежде. Волосы у многих были острижены под машинку, у других неопрятными космами выбивались из небрежно повязанных платков и косынок.

Вряд ли могут выглядеть лучше и этапницы внизу, которых, как и всех здесь, гонят куда-то для использования в качестве рабочего скота. И теперь не имеет уже значения ни образованность отдельных особей, ни их артистичность, ни, тем более, способность чувствовать и понимать. И как все заключенные, женщины здесь тоже во всем почти "бывшие". Они бывшие граждане, бывшие специалисты, бывшие жены и даже бывшие матери. Званцев чуть не застонал от пронзившего его острого сострадания к арестанткам. Ведь им в заключении приходится еще горше, чем мужчинам. Уже по одному тому, что оно обрекает их на неизбежное внешнее уродство. И как непереносимо, вероятно, сознание этого уродства для представительниц артистического мира. Ведь для них внешняя обаятельность — неременное условие не только их профессии, но и самой жизни!

Артисту стало почти стыдно, что он представил себе заключенную певицу в образе пушкинской барышни, Жанны д' Арк или оперной валькирии. Ведь образ реальной мученицы выше всех этих образов. Выше и глубже. Беззаконное насилие,

совершаемое над невинными людьми, не может не унижить. И если оно не может сломить в них человеческого достоинства, способности чувствовать и мыслить, любить свое искусство, как, несомненно, любит его эта бедная арстантка со второго этажа, то такие достойны звания настоящих героев, а также любви и уважения. Именно таково, вероятно, происхождение любви верующих христиан к мученикам своей религии.

Тут религиозное обожание было, конечно, ни при чем. Но Званцев почувствовал к заключенной певице нечто большее, чем простое сострадание. В нем вспыхнул глубокий и острый интерес к ней не только как к человеку, но и как к женщине. Человеческие чувства обладают способностью взаимопроникновения и часто бывают неотделимы друг от друга.

Так кто же она, эта женщина, которая тронула его, оказывается, гораздо глубже, чем это можно было представить? У нее молодой и сильный, несмотря на все зловерные влияния тюрьмы, голос. Артист поймал себя на том, что очень хочет, чтобы молодой и красивой была и его обладательница. Но зачем ему это? Вероятность встречи со своей партнершей, даже в отдаленном будущем, у него не больше, чем вероятность столкновения двух комет.

А сколько времени продлится эта нынешняя возможность музыкальных встреч с ней через закрытое железом окно? Неделя или только один-два дня? Артист чувствовал, что боится потери такой возможности, как потери чего-то очень для него дорогого. Гораздо большего, чем просто утрата партнера по занятиям пением. Неужели он влюблен? В кого, собственно? Ведь это нелепо, почти смешно!

Было далеко за полночь, когда Званцев, наконец, уснул. Последнее, что он слышал, кроме сопения и храпа соседей, был окрик часового на вышке тюремной ограды. Вскоре этот окрик повторился. — Кто идет? — доносилось сквозь оконце тюрьмы. Но это был теперь голос не вохровца из будки часового, а солдата в парике и треуголке с высокой крепостной стены. И камера Званцева была уже не многолюдной камерой обыкновенной пересылки, а одиночным казематом старинной крепости. Осужденный на смерть узник думал перед казнью о своей возлюбленной. В отличие от Флории, она тоже была

заключенной и находилась где-то здесь, совсем рядом. Узник слышал ее голос, даже отвечал на него, но знал, что никогда ее не увидит. Он метался на своем жестком ложе. Пальто, которое подстелил под себя Званцев, сбилось в ком у самого края нар. — Кто идет? — кричал часовой на вышке за окном.

Спокойно и глубоко Артист заснул только на рассвете. Но вскоре длинно и назойливо задребезжал звонок побудки. Наступало худшее время тюремного дня — раннее утро.

Званцев с нетерпением ждал, когда кончатся процедуры раздачи хлебных пашек, умывания и утренней поверки. И как только суетливый, но энергичный Москва "организовал" относительную тишину в камере, запел в решетку окна: "Я вас люблю, люблю безмерно..." Эта ария — объяснение в любви в необычайной степени соответствовало тому чувству, которое так неожиданно овладело им в прошедшую ночь. Снизу на нее ответили горестной арией Джульетты. Беседа продолжалась... "О дайте, дайте мне свободу..." Ответом Игорю был плач Ярославны.

— Как Ваше имя? — крикнул Званцев в ржавое железо козырька и прильнул к решетке, напряженно прислушиваясь. Но на этот раз ответа снизу не последовало. Тогда он повторил свой вопрос и снова ответом было озадаченное молчание. Артист растерянно оглянулся. Опытные арестанты глядели на него с сочувственной иронией. Званцеву объяснили, что разговора из камеры в камеру через закрытые козырьками окна не получается. Нельзя разобрать слов. Особенно, когда говорят сверху вниз. Артист только теперь с огорчением понял, что ложное представление о разборчивости переклички через окно сложилось у него потому, что эта перекличка состояла из знакомых на память музыкальных либретто. — А ты ее спроси на свой, оперный манер! — посоветовал кто-то. Совет показался Званцеву толковым. — Кто Вы-ы...? — пропел он в окно на мотив арии мосье Трике. Теперь внизу кажется поняли.

— Лю.....а.....на..... — донеслось через решетку. Вероятно были названы имя и фамилия, но разобрать слов было нельзя. Тогда, больше чтобы подать совет, Званцев с оперными интонациями пропел в окно свою фамилию. Совет, по-видимому, поняли, так как "Лю-ю-ю....на-а-а....." было произнесено

теперь тоже нараспев. Но было уже очевидно, что никакой распев незнакомых слов помочь тут не может. С выражением отчаяния на лице Артист сжал виски руками.

— Не тусуйся! — хлопнул его по спине Москва. Он относился к Званцеву несколько покровительственно. Талантливый артист все равно оставался беспомощным фрайером. — Сейчас мы твоей бабе ксиву пульнем! — Потребовав у Артиста один из его носков, Москва быстро отмотал от него длинную нитку. Затем выпросил у кого-то коротенький огрызок карандаша. Догадавшись для чего делаются эти приготовления, Званцев достал полученное перед самым отправлением на этап письмо из дому. На его оборотной стороне оставалось еще немного чистого поля для записки. Белую бумагу, однако, забраковали. Предпочтительнее оборотная сторона махорочной обертки. Коричневая бумажка не так заметна на фоне нештукатуренной кирпичной стены.

Укрывшись за спиной Москвы, чтобы запретное в тюрьме писание не было замечено через глазок в двери камеры, Артист выводил на рыхлой бумажке округлые, какие-то детские каракули. Так получалось потому, что тупой карандашный огрызок приходилось держать самими кончиками пальцев. Он был слишком коротким, чтобы взять его поудобнее. Содержание "ксивы" было предельно кратким: — "Званцев Сурен. С-ская опера. 58-6, 8 л.". Без сообщения друг другу статьи и срока тюремные знакомства то же самое, что знакомства на воле без представления об общественном положении знакомящихся. — Ты и взаправду шпион? — удивился Москва, — или тебе это только пришили? — Пришили... — вздохнул Артист, — я за границей был, пению в Италии учился...

Лаконичность письма объяснялась еще и необходимостью оставить на записке место для ответа. В женской камере могло не оказаться ни бумаги, ни карандаша. Особенно, если в ней одни только фрайерши. Поэтому, обернув его письмом, вниз отправили на нитке и карандашный огрызок. Хорошо еще, что намордник перед окном не был зашит снизу досками, как обычно. Это тоже было одно из проявлений режимной "слабины" на пересылке. Строгость "срочных" тюрем по части пресечения общения между арестантами подменялась здесь те-

кучество населения пересыльной тюрьмы. О чем могли договориться между собой этапники, которых через день, а может быть, и через час развезут по разным эшелонам, а затем и лагерям? Но это не значило, конечно, что если часовой с вышки заметит ползущую по стене ксиву, он не сообщит о совершенном нарушении по телефону дежурному по тюрьме.

И тот примет меры, чтобы перехватить ксиву и отобрать один из наиболее строго запрещенных в тюрьме предметов — карандаш.

Званцев с замиранием сердца следил за манипуляциями тюремного почтмейстера. А тот постучал самодельной ложкой по железному козырьку и крикнул вниз: — Кси-ва... — Оттуда донесся такой же стук и чей-то голос: — ...яй... — очевидно "Пуляй!" — Порядок! — удовлетворенно сказал Москва, — внизу и марухи есть... — и начал медленно опускать письмо. Так менее вероятно, что оно попадет на глаза попугаю на вышке. Наконец, нитка ослабела, почту внизу приняли. Потянулись томительные минуты. Потом там постучали о железо, что означало "Тяни!" Москва начал осторожно выбирать нитку, а Артист кусал губы от беспокойства и нетерпения. Но все обошлось благополучно. Дрожащими пальцами он разворачивал мятую, пухлую бумажку. На ней, рядом с его каракулями было выведено таким же невыразительным почерком — карандаш был тот же: "Людмила Костромина. Студия Лен-оперы, ЧСВН, 7 л."

Писулька несколько приоткрыла завесу таинственности над партнершей Званцева. Он почувствовал радостное удовлетворение от того, что она студийка. Значит, его желание, чтобы она была молодой женщиной, сбылось. А вот "ЧСВН" означало, что эта женщина стала жертвой варварского закона о родственниках "врагов народа". Но кто же этот "враг", из-за которого оперная сцена лишилась, может быть, одной из своих будущих звезд? Всего вероятнее, что это муж Костроминой. Такое предположение чем-то корбило, поднимало откуда-то со дна подсознания муть зоологического по своей сути эгоизма. Нелепый и низменный вообще, в этой обстановке он был нелеп вдвойне. Да и "враг", за родство с которым талантливая певица было брошена в тюрьму, мог оказаться ее

отцом или братом. Званцев почувствовал внутренний стыд и, чтобы заглушить его, запел арию Дон-Жуана из одноименной оперы.

Странный роман увлек Артиста настолько, что он почти не отходил от окна ни в этот день, ни в последующие. Во всяком другом месте над ним бы, наверное, посмеялись. Но здесь слишком хорошо понимали, что такое неудовлетворенная тяга к женщине, и ценили любые способы преодоления тюремных запретов и ограничений. Этот чудаковатый фрайер нашел свой способ. Что ж, это было его дело. На прилипшего к решетке Званцева почти не обращали внимание. Да и он, как распевшийся соловей, почти ничего не слышал и не видел вокруг. И различал теперь голос своей дамы даже сквозь самый громкий галдеж. Когда Артист не дежурил возле своего окна, он был рассеян и задумчив, как влюбленный юнец. Иногда его просили спеть для публики. И Званцев пел арии князя Игоря и герцога Альмавивы, Германа и Ленского, романсы Чайковского и Даргомыжского. Предвзятость его слушателей к классической музыке была уже несколько меньшей. Спел он однажды и арию Каварадоси. Но на этот раз она звучала далеко не так впечатляюще, как при первом ее исполнении здесь. Совсем иным было теперь главное чувство певца.

Удивительный дуэт между певцами в нижней и верхней камерах продолжался. Его партнеры были друг для друга то Ромео и Джульеттой, то дон Жуаном и донной Анной, то Радомесом и Аидой. Эти образы были в какой-то мере условны, ограничены рамками сценических требований и возможностей, а потому и легче поддавались воображению. А вот попытки представить себе реальный образ Костроминой наталкивались на невообразимо большое число вариаций женских лиц, фигур, походок, манер держаться. Словом, всего того, что определяет внешнюю индивидуальность. Партнерша Званцева представлялась ему то высокой и сильной молодой женщиной, то маленькой и хрупкой девушкой; то светлой, то черноглазой и черноволосой; то порывистой, то задумчиво-медлительной. В конце концов он каким-то недоступным рационалистическому пониманию образом синтезировал все эти представления в одном, их обобщающем. Это было нечто, от-

влеченное от реальности и, в то же время ее представляющее. Таким же смешением абстрактного и реального была и любовь Артиста к женщине, представленной для него только звуками ее голоса. Но от этого, да еще от горького чувства неволи, она становилась еще сильнее и чище.

Засыпал Артист, как и положено влюбленному, позже своих соседей. В тиши ночной камеры он как бы повторно прослушивал все, что было спето ему Людмилой за прошедший день. Он снова и снова вникал в слова арий, романсов и каватин, в которых прямо или косвенно говорилось о ее любви к нему. Каким именем она его при этом называет теперь уже не имело значения. Музыкальные диалоги нередко продолжались и в сновидениях. Правда, в них они чаще всего обрывались болезненно и резко, благодаря чьему-то грубому и насильственному вмешательству. Тогда Артист просыпался с чувством ноющей тоски, которая долго потом не проходила. Сны-то были, несомненно, вещими. В них отражалось сознание полнейшей неизбежности того, что страстный дуэт двух незнакомых влюбленных будет вот-вот оборван.

Шла уже четвертая ночь пребывания Званцева в камере этой пересылки. Как и в предыдущие ночи, он обдумывал сейчас, с чего начать ему завтра свой каждодневный разговор с Людмилой. Это она сделала как бы его привилегией, никогда не начиная петь первой. Возможно, Костромина выражала таким образом признание его таланта и старшинства как исполнителя, а может быть, просто хотела, чтобы своим вступлением он давал как бы ключ к выбору ею ответа. Истинно женская психика не только мирится с приоритетом мужчины в вопросах всякой инициативы, но и стремится утвердить этот приоритет даже там, где его фактически нет.

Выбор вступительной вокальной пьесы с каждым днем становился все труднее. Ко всему прочему она должна быть своего рода музыкальным "с добрым утром" и в то же время не быть повторной. А за эти дни даже богатый репертуар Званцева был в немалой степени исчерпан. Сказывалась и мозговая усталость, вызванная нехваткой сна. Днем Званцев не спал, как почти все здесь, а ночью засыпал только за полночь. Мысли устало путались, и он не мог придумать ничего пут-

ного. Придется отложить выбор пьесы на утро. Времени для этого после подъема вполне достаточно.

Засыпая, Артист улыбался. Наплывало одно из привычных в последние ночи видений. На месте отбитой штукатурки в углу появилась декорация зимнего леса, а сквозь чье-то сонное бормотание звучал голос Снегурочки, она же, конечно, Людмила. Но тут к этим звукам прибавились какие-то другие, от которых Званцев открыл глаза, приподнялся на локте и начал встревоженно к чему-то прислушиваться.

Звуки доносились все из того же окна над его изголовьем. В женской камере внизу звучали необычные для такого позднего времени голоса. Притом не одни только женские. Они чередовались с мужским, отрывисто произносившим, по-видимому, только одно слово. На это слово женщины, судя по их голосам, разные, отвечали довольно длинной тирадой. После этого следовала небольшая пауза, и голоса, в той же последовательности, повторялись.

— Баб в нижней камере на этап вызывают, — сказал сосед Званцева, он тоже не спал. Но Артист и сам давно уже понял это. Если и до сих пор к владевшему им радостному чувству почти постоянно примешивалась тревога, то теперь эта тревога и тоскливое предчувствие недоброго вытеснили в нем все остальное. По-видимому, происходило то, что неминуемо должно было произойти. Однако, человек наделен спасительной способностью отодвигать в своем представлении все самое для себя трагическое в неопределенное и неясное будущее. И наступая, это будущее почти всегда застает его врасплох, поражая своей четкой и неумолимой жестокостью.

Привычно прильнув к решетке и весь превратившись в слух, Званцев старался разобрать произносимые внизу фамилии. Но даже если их выкрикивали совсем близко от окна женской камеры, все равно понять можно было разве только окончания фамилий: ...на....",ская.....",ко.... Полностью улавливались, как всегда, только привычные словосочетания, вроде "статья пятьдесят восемь" или "пункт десять, часть первая". Всякий раз, когда ему слышалось слово "Костромина", Званцев вздрагивал и до боли в пальцах сжимал прутья решетки.

Когда голоса в женской камере затихли, он, съежившись, с каким-то посеревшим лицом все еще висел на своей решетке. — Убиваешься, Артист. — сочувственно сказал ему сосед. — Брось! Такая уж у нас, прокаженных, жизнь... А может еще твою бабу сегодня и не вызвали...

Голоса за окном зазвучали снова и уже гораздо отчетливее. В тюремном дворе началась переключка многочисленного этапа, притом, исключительно женского. Но снова почти ни одной фамилии разобрать как следует не удалось. Плац для разводов находился от корпуса, где сидел Званцев, довольно далеко. Тем не менее по звонкам с этого плаца, можно было сделать весьма важное заключение о составе этапа. Все его женщины отзывались либо "пятьдесят восьмой", либо приравненными к ней "литерными" статьями. — Видно всех контричек с пересылки замели, — сказал кто-то. Теперь на верхних нарах не спал уже никто.

Потом было слышно, как женщин построили в ряды по пять человек и как эти пятерки считали; их оказалось более шестидесяти. Затем раздалась команда: — Шагом марш! — шарканье многочисленных ног и все стихло.

Званцев в прежней позе сидел у окна. Он почти уже не сомневался, что самый удивительный в его жизни роман уже окончен и никогда более не возобновится. И что незнакомая ему в сущности женщина, ставшая тем не менее за эти дни самым дорогим для него человеком на свете, шагает сейчас в толпе таких же отверженных, как и сама, "прокаженных", как говорят блатные, навстречу своей горестной судьбе. И, наверно, глотает пополам со слезами пыль дороги к железнодорожному тупику, где этапниц ожидает эшелон арестантских "краснушек".

Надежда, однако, удивительно цепкое и настойчивое чувство. Тем более настойчивое, чем меньше она имеет для себя оснований. Вот и сейчас Званцева не оставляло это, знакомое всем, кто когда-нибудь стоял перед мрачной неизвестностью, робкое: — "А может быть?" Поэтому до ощущения почти физической боли ему хотелось пропеть в окно рядом какую-нибудь музыкальную фразу. Тогда Людмила, если только она еще здесь, обязательно ответит. А если нет? Но в таких случаях

всегда кажется, что определенность, даже самая плохая, все же лучше, чем терзания неизвестностью.

Петь, однако, нельзя. Люди в камере опять уснули. Да и подобного нарушения тюремного режима в ночное время не стерпит даже либеральная пересылка. Обоих певцов сейчас же выволокут из камер в карцеры и их общение, даже если оно еще возможно, прекратится раньше времени. Нет, надо ждать своего обычного часа после утренней поверки.

И Званцев ждал, сидя без сна у решетки до самого подъема. Когда принесли утренний хлеб, он не повернул головы и не протянул руки. Пайку Артиста принял заботливый Москва. А когда тот же Москва раньше обычного времени успокоил штымпов внизу, Званцев запел в решетку окна арию Ленского перед его дуэлью с Онегиным. Никакой аффектации в этом не было. Он ведь был профессиональным артистом, а драматическое вступление в эту арию как нельзя точнее выражало его настроенис. Вот уже несколько часов, как оно терпеливо ждало своего воплощения в звуки. Но когда такая возможность наступила, это удалось Званцеву не сразу. От волнения он долго откашливался и массировал горло прежде, чем смог пропеть "Что день грядущий мне готовит..." На этой фразе Артист остановился, и видно было, как побелели его пальцы, сжимавшие решетку. Но окно молчало. Тогда он попытался продолжить арию, но уже на словах: "Его мой взор напрасно ловит..." — уткнулся лбом в железные прутья и зарыдал. Плакал, однако, Артист не долго. Вытерев ладонями рук мокрое лицо, он отвернулся от окна и, низко опустив голову, сел спиной к решетке.

Он как будто сразу постарел. Это впечатление, впрочем, усиливала и уже недельная щетина. Обед Званцева принял и съел Москва. Один раз он дернул его за рукав и спросил: — Может, ксиву пульнуть? А, Артист? — Тот медленно покрутил головой из стороны в сторону: не надо!

Во второй половине дня загремел засов двери и на ее пороге показался дежурный по тюрьме с бумажкой в руке. Сразу же наступила настороженная тишина, этап! Началась, видимо, очередная разгрузка пересылки.

— Отзывайтесь пока на свои фамилии без установочных

данных! — сказал дежурный. Это значило, что сейчас будут названы те, кто уже сегодня будет продолжать свой этап в дальние лагеря. Иногда такое предупреждение делалось за пару часов до отправки, иногда всего за несколько минут. Уже по первым фамилиям, прочитанным по принесенному списку, стало ясно, что на этот этап уходит та группа заключенных, с которой сюда прибыл Званцев. Некоторые из них по привычке, услышав свою фамилию, начинали бормотать длинный ряд своих "позывных". Таких дежурняк обрывал вызовом очередного по списку. Был среди них и Званцев. — Есть! — ответил за него Москва. — Всем, кого назвал, собраться с вещами! — сказал дежурный и вышел. Надзиратель закрыл дверь на засов.

В камере началась обычная возня со сборами и поисками своих вещей. — Собирайся, Артист! — сказал Званцеву Москва. Он подал ему его "клифт", помог намотать на шею кашне, вложил в узел Артиста сегодняшние пайки. Тот принимал все это с каким-то каменным безразличием. И спустившись вниз, понуро стал в проходе, прислонившись к столбу. — Слышь, Артист, — обратился к нему Старик, — спой что-нибудь на прощанье! — Сначала Званцев как будто и не слышал этой просьбы. Но потом поднял голову и запел арию Каварадоси.

И снова, как при первом исполнении этой арии здесь, тоска реально существующего, но лишнего свободы человека, изливалась в тоске вымышленного узника. И снова, трогая даже самые грубые сердца, рыдал голос Артиста, с той же силой, как и в первый раз, передавая эту тоску. И, как тогда, певец вкладывал в свое исполнение не только всю силу своего таланта, но и всю свою душу.

Тихонько, без обычного лязга открылась дверь камеры и в ней появился коридорный надзиратель и дежурный по тюрьме. Но тюремщики не стали пресекать нарушение заключенным тюремного режима. Они его слушали. Впрочем, люди эти были уже не молодые, а возраст, как известно, умеряет все виды пыла, в том числе и служебного.

Артист кончил петь, машинально провел пятерней по остриженной наголо голове и надел свою измятую шляпу, которую до этого держал в руке. — Спасибо, Человек! — про-

чувствованно сказал ему Старик. — Спасибо, товарищ Артист! — загудели голоса внизу. Дежурный по тюрьме с минуту молчал, перебирая свои бумажки. Потом крякнул: — Да-а... — и, откашлявшись, начал вызывать назначенных на этап. Но теперь он уже требовал, чтобы те называли все свои установочные данные и внимательно следил за точным соответствием "отзывов" и записей в списке. Когда очередь дошла до Званцева, тот ответил только тогда, когда дежурный окликнул его вторично: — Сурен Михайлович... — и снова, как будто забылся. — Статья и срок! — напомнил ему дежурный с необычайной в таких случаях мягкостью. Услышав, что пункт пятьдесят восьмой статьи у певуна шпионский, впрочем, это было видно и из списка, тюремщик сочувственно поднял на него глаза. Скверный пункт! С ним где-нибудь на Колыме этому городскому интеллигенту придется ой как плохо... И ни к чему, наверное, там будет его талант... Но сколько туда гонят теперь таких! И дежурный сделал привычный жест рукой: Выходи!

1973 г.

Александр Петров-Пасмур

Александр Сергеевич Петров-Пасмур (этим псевдонимом, фамилией жены, он подписывал свои работы после 1975 г.) — художник. Ученик Кибрика, он закончил Суриковский институт в 1961 г. Одаренный любовью ко всему живому, Петров создал светлый мир образов, цветов и звуков:

Во мне
как в дуплистом дереве
птицы
свили слова
голубое гнездо.

Сказано: "Сыновья мира сего мудрее сынов света в роде своем". Немудрый сын света, Александр Петров совершал чудовищные поступки: публично, на партийном собрании, отказался от партийного билета, и случилось это не в 90-е гг., когда подобные жесты вошли в моду, а в начале 60-х. Последствия? Нетрудно догадаться: обыски, безработица (т. е. отсутствие заказов), а после и вовсе — тюрьма (был осужден в 1974 г. по уголовной статье, но в деле и на процессе почему-то фигурировали стихи), психушки, где "сыновья мира сего" продемонстрировали ему силу психотропных средств.

В 1975 г. Александр Петров вернулся в Ярославль, работал в художественном фонде. После работы его нередко поджидала машина "Скорой помощи", в которой "сердобольные врачеватели душ" наставляли заблудшую овцу на истинный путь. Повторяющийся в его стихах образ "убитой птицы, что билась в клетке из ребер" — не просто метафора: ребра ему ломали много раз.

А он писал стихи "не от мира сего":

Закажу портному фрак
черный фрак
из толстой ткани
и скажу чтоб на спине
сделал выточки
для крыльев.

Конечно, "лечение" сказалось и на творческом слове: слова, звуки, образы, линии стали изломанными, светлые фантазии сменились босхианскими видениями.

Белые губы
сквозь белый звук
в белом огне спасены

в чреве моем кривоногий паук
тянет слова из слюны.

В 1977 г. Петровы-Пасмуры отказались от советского гражданства. К тому времени они уже были знакомы с Сахаровым и другими правозащитниками, сами подписывали петиции и письма протеста. Еще несколько лет борьбы, и их "выпустили". Новый 1980-ый год встречали в Вене.

Почти всю жизнь он прожил в бездомности. Мечтал о тепле и очаге, любил птиц, жил предчувствием весны. Он так и озаглавил циклы своих стихов: "Дом", "Предчувствие весны", "Птицы памяти". В Америке он обрел то, о чем мечтал всю свою неприятную жизнь, — покой и дом, много и плодотворно работал, выставлялся, картины его начали продаваться...

Пребывание в психушках, однако, не проходит даром: парализованный и впавший в беспамятство Александр Сергеевич Петров, родившийся в 1924 г. в России, доживает свой век в нью-джерсийском приюте для престарелых. Он не помнит о том, что он художник и поэт, не узнает своих картин и стихов, но стихи и картины помнят своего создателя.

Ян Пробиштейн, Нью-Йорк

ИЗ ЦИКЛА "ДОМ"

* * *

Мой дом укрытье
от бесконечных дождей и ветров

голуби
сидящие на подоконниках
в доме моем
читают молитвы

будет благословен тот
кто войдет в мой дом

будет блажен каждый
кто его покинет

мой дом с молящимися голубями
открыт всегда открыт
для каждого

* * *

Это моя молитва
с этой молитвой всюду
словно с сумой скиталец

это моя молитва
словно мои ладони
что рвутся домой как птицы

* * *

Дом себе построю где угодно
принесу в свой дом больную птицу

словно псов под деревом на цепи
привяжу в саду Медведиц звездных

навести меня когда узнаешь
что доткал я замо́к свой из звуков

* * *

В центре Галактики вечный дом
дом в конце пути

прежде чем я найду этот дом
среди растений руин

солнце землю вокруг обойдет
и упадет на песок

* * *

покроется перьями сердце мое
выпорхнет изо рта

птицей розовой полетит
птицей розовой полетит
к звездному центру
виток за витком

* * *

Смейся, кури и пой
губы мои срослись

руки окостенели

лей на меня вино

губы мои срослись
руки окостенели

и из груди моей
выпусти белую птицу

губы мои срослись

только ее не лови
жить в твоей клетке не будет

руки окостенели

* * *

Каким-то улыбающимся мальчикам
игравшим

в домино или в лото
грудь распахнув как зимнее пальто
я показал на сердце

синюю болячку.

* * *

Как побеги в маленьком горшочке
розовые листья тянут к свету
Из сердца выросшие руки

и если в почву влажные слова
вовсе не увянут ветви-руки
корнями углубившиеся в сердце

* * *

Я от окна к окну ходил
на изморози оставляя
следы от пальцев лба и губ

как говорящий попугай
в полусферической ловушке
висело солнце в голых кронах

* * *

Уходя дарю тебе слова
и пока горит свеча в углу

в запотевших окнах напишу
фразы взволновавшие тебя

* * *

Она в кривые зеркала глядела
ей было все смешно
старалась смыть пахучей пеной с тела
родимое пятно

но вот большая птица пролетела
дождь застучал в окно
день умер и она надела
в ночь черное сукно

* * *

Играя разноцветной чешуей
со всех сторон
ползут ко мне в постель
сквозь форточки холодные сосульки
деревья с улиц входят через дверь
на смертном ложе
скоро ль успокоюсь я?
когда умру снесите под капель
пусть оспой
тело как песок
покроется
и листья прорастут
из-под ногтей.

1977

Публикация Яна Пробштейна

Ромэн Яров

КАПИТАН МАРВЕЛ

Конструкторский отдел начинает работу в шесть; Керни Ронан приходит к восьми. Болен, нервное расстройство. Нездоровье — в самом облике Керни; его поведении. Те, кто работает с ним давно, привыкли. А новые удивляются. Владимир, русский инженер...

Все погружены в работу, когда Керни появляется; молчат, глядя сосредоточенно в экраны. Керни стучит костяшками пальцев по тумбочкам с чертежами; бросает каждому на ходу: "Приветствую и поздравляю..." Походка стремительна, шаг — упруг, взгляд — суров, на лице — деловая сосредоточенность. Ух, как закипит сейчас работа в его руках!

— В детстве я собирал комиксы с капитаном Марвелом, — слышен, едва Керни садится, его голос. — Единственная моя ценность теперь — все выпуски за тринадцать лет — с сорокового до пятьдесят третьего. Машина старая и ржавая, дом — не свой, в бедном районе, что я в этой компании делаю — не знаю. Буду умирать с голоду — продам коллекцию. Капитан Марвел — последняя надежда.

И Керни смеется — рыдающим, со всхлипом после каждого вдоха, смехом.

— Фуд-стемпы — твоя первая и последняя надежда, — говорит Билл Гарднер, человек лет тридцати, чей компьютер — через проход от чертежной доски Керни. Лицо продолговатое, в очках, брови и коротко остриженные волосы белесые, глаза голубовато-серые. Говорит мало — если не о компьютерах, оружии, машинах. Газетами не интересуется, из книг просматривает только автомобильные каталоги. Взгляд

его не любит человеческих лиц, убегает, ищет компьютер. Находит — и успокаивается, светлеет. Билл эксперт по компьютерам; все инженеры отдела спрашивают его советов.

— Не дадут, пока работаю, — весело отвечает Керни. — Да и зачем? Бездомному сироте Билли Батсону достаточно было произнести волшебное слово ШАЗАМ, как он превращался в могущественного капитана Марвела и улетал в другую Галактику.

— А там тоже надо знать компьютер.

Билл не отрывает глаз от экрана; что ответит Керни, ему неинтересно. Весь разговор — ежедневный ритуал общения. И Керни поворачивается, садится за доску. Он слишком долго разговаривал; Роберт начинает уже возбуждаться...

Роберт, назначенный недавно начальником конструкторской группы, молод, худощав, среднего роста, со слегка вытянутым продолговатым лицом и светлыми усиками. На нем всегда твидовый — серый или коричневый — пиджак, черные брюки, галстук. Он постоянно беспокоен и оживлен; голубые глаза сверкают, иногда — зло. В его присутствии Керни за своей доской тих, неприметен, растворен. Если же, не выдержав, сгущается — встает, подает голос — Роберт, вздрогнув, откидывается в кресле — и смотрит, смотрит, чуть заметно поводя узкими ноздрями. Керни опоминается, садится.

Но в Америке еще больше, чем в России, любят таскать начальников на совещания; Роберта часто не бывает. Тогда депрессия Керни переходит в противоположность: веселую активность. Крепость — пусть небольшая, десять человек всего — отдана ему на разграбление. И он отправляется по своим владениям. Билл — первый: ближе всех сидит. Поболтав с ним — болтает Керни, Билл коротко отзывается — Керни переходит к другому собеседнику, третьему — до последнего в ряду; а потом — с тем, кто через проход; снова — со следующим... С каждым новым Керни говорит, совершенно забыв, о чем говорил с предыдущим... Громко, возбужденно, радостно — и смеется, рыдая, или рыдает, смеясь...

Шесть компьютеров с правой стороны прохода, что ведет от двери к столу Роберта; пять — с левой и доска Керни. Он

компьютера не знает. С десятью разговаривает Керни. С одиннадцатым — тем, кто сидит сразу после Билла — не говорит. Это он и есть — русский инженер Владимир — клочья рыжих волос по обе стороны лба, сутуловатый, веснушчатый, озабоченный, пятидесяти пяти лет.

Керни подошел, когда этот человек только появился; крепко пожал руку, представился. Новый конструктор, отняв руку, потряс растопыренными пальцами. Керни засмеялся со всхлипом.

— Руки сильные: чиню машины. Желающих много: беру дешевле, чем механики. Здесь подработать не дают.

— То есть?

— Сверхурочных. А за час платят полуторно.

— И как сделать, чтобы дали?

— Понравиться Роберту. Он распределяет.

— А для этого..?

Керни задумался — хотя улыбка не пропала.

— Вообще-то я — физик-теоретик, — сказал он. — Работал в атомной промышленности.

— Что же вы здесь делаете? — Владимир, как бы и не удивляясь, глядел в компьютер. Керни ему не нравился.

Керни наклонился, приложил согнутую ладонь к уху.

— Извините, всю жизнь в центре страны живу, не привык к акцентам. Ваш..?

— Русский.

— Русский!? — Керни вновь засмеялся — смехом счастливейшего человека. — Мой университетский профессор математики был русский. Он попал в Америку после Второй мировой войны. Россию вспоминал с дрожью в голосе. "Какие великолепные моменты у меня там были..!" Как вы думаете: не лучше ли было мне родиться в России?

— А он рассказывал, почему оттуда сбежал?

— Не помню. Кажется, нет.

— Если бы рассказывал, вы бы меня не спрашивали, поверьте!

— Я не подозревал тогда, что придет время, когда эта тема будет меня интересовать...

И Керни двинулся по проходу. "...Главным врагом капитана Марвела был Сивана, сумасшедший ученый..."

...Половины верхнего ряда зубов нет — главная черта. Остальное непримечательно: прямоугольное, с малым числом морщин лицо; русые, почти не тронутые сединой, волосы; лежат гладко на крупной голове. Рубашка дешевая, застиранная; так же, как и джинсы, когда-то синие, давно выцветшие. Плечи под рубашкой, правда — прямые, не обвислые. Кисти рук большие; пальцы — толстые; ногти — слегка расплющены; граненые, с ясно видимыми следами разломов... Рабочие руки, больше привыкшие к металлу, чем к карандашу...

...Зубы выпали — не вставил...

...Слух ухудшился — слухового аппарата нет...

...Болтун...

...Все не по-американски...

...Можно и в Америке увидеть беззубого: среди бездомных, на перекрестке где-нибудь, у светофора; у въезда на торговую плазу; с плакатиком "Работаю за еду"; со взглядом отрешенным; слушающего, как растет трава...

...Но в большой компании, где зубоврачебная страховка есть...!

...Не принято в Америке ходить без зубов.

И неосмотрительно: уолят — пойди без зубов на интервью в другую компанию!

...И этот постоянный всхлипывающий смех...!

...Зачем было тогда пересекать свою жизнь геологическим разломом, если по эту его сторону те же люди, что и по ту?!

Сначала манера проходить мимо, смеясь и рыдая — от предыдущего разговора, готовясь к следующему — слегка колола; еще раз подчеркивала эмигрантскую обособленность. Мысль о причинах появлялась; отвлекала — к досаде на самого себя. Компьютер не любит слабющего — пусть и на секунду — внимания. Зато нашлось объяснение...

С соотечественниками Керни легче. Они всю жизнь здесь жили, ничего не бросали, ничем не жертвовали, не было у них ожидания встречи со страной чудес; нет и разочарования. Слушают с поверхностным интересом. Ангелы не мерещились им через океан; росли, как по всему миру растут: люди среди людей.

Видят, конечно же: что-то с Керни случилось — но к себе не примеряют: не в привычках у обитателей этой страны.

...А Керни и не надо другого. Болтовня — бегство от глубины.

...Но мои чувства — эмигранта! — мощнее; резче. Неприятие — главное...

...Керни — действительно больной, с обостренной чувствительностью — их улавливает телепатически. И не подходит...

Разговор Керни с Биллом. Роберта, конечно, нет.

— У меня была возлюбленная в юности, француженка. Приехала изучать, как организован в Америке выпуск новых лекарств. Очень хотела, чтобы я на ней женился. "Поедем во Францию. У моего отца — собственный фармацевтический завод." — "Куда — из своей страны!?" И не поехал. Как ты думаешь, лучше мне было бы во Франции, чем здесь?

— Лучше.

— Почему?

— Не задавал бы мне дурацких вопросов.

Керни, умирая от смеха, русского инженера обходя, движется к следующему собеседнику...

— Олд Форест? — Керни раздирают колики — как смешно. — Район не мой — но близко.

Владимир обращался не к нему — ко всем. Стал в середине прохода и спросил. А Керни неожиданно откликнулся первый.

— Мотор перегревается, — сказал Владимир, — надпись вспыхивает "Проверь двигатель." Сегодня вечером сдам машину в ремонт, завтра вечером возьму. Мне нужно, чтобы кто-нибудь завтра утром отвез меня на работу; вечером — в ремонтный цех. Я живу в комплексе "Олд Форест." Мастерская близко отсюда, с перегревающимся двигателем я б далеко не поехал. Делать надо срочно еще и потому, что на той неделе буду кончать на два часа позже, в мастерскую не успею.

Роберт вывесил на доске объявлений отдела список тех, кто работает на следующей неделе сверхурочно. Два часа по вечерам и суббота. Все взглядыают, проходя. Керни не интересуется: Роберт никогда не вносит его имя в список.

Имена Билла и Владимира — в списке.

— В какой части улицы вы живете?

— Восточный конец. Вы — в середине. Но вы начинаете в шесть, а я — в восемь. — Керни умирал от смеха. Владимир отвернулся. Что может выйти из разговора с Керни!

— Вы доедете до дома? — смех на лице Керни боролся с серьезностью. Серьезность победила.

— С остановками — как утром сюда — доеду.

— Завтра суббота, приезжайте с утра ко мне. Вот адрес. — Керни протянул клочок бумаги. — Посмотрю вашу машину. Денег не возьму, договоримся на бартерной основе. Поможете мне в моей починке.

— Никогда не был автомобильным механиком.

— Мне нужна просто физическая сила. Задний мост грузовика — штука тяжелая. Я его меняю.

Грузовик этот — полутоннажный Додж — был очень старый; бледно-голубые борта и капот выцвели, как и рубашки и джинсы Керни, почти до белизны. В иных местах и того не осталось — ржавчина.

— Задний мост, по моему, можно поменять только в мастерской.

— За полторы тысячи. А кто беден — покупает агрегат на автомобильной свалке и ставит сам. Не бойтесь, у меня есть подъемник.

Улица — длинная, длинная. В западной части живут богатые — роши, поляны, далеко отодвинутые от дороги металлические, с медными шишками на прутьях заборы; за ними, в глубине — краснокирпичные двухэтажные особняки. В середине — жилые комплексы для среднего достатка людей. Далеко на востоке — дома бедняков — маленькие, из досок с облупившейся краской; с крохотными террасками у входа; неухоженной, с желтыми проплешинами травой вдоль дороги. Дом Керни был грязен; мусор клубился у тротуара; сорняки росли по обе стороны крыльца; дыра зияла в ступеньке; на веранде с дощатым, в щелях полом, стояло два стула с матерчатыми засаленными сиденьями. Банки из-под кока-колы

тренькали, стучаясь о тротуарный бордюр; обертки конфет, пивные бутылки поблескивали. Керни вышел на стук, одетый обычно: джинсы; выбеленная стирками рубашка; не приглашая в дом, спустился с веранды, подошел к стоящему у тротуара Шевроле Владимира, поднял капот, покопался, протянул руку. "Ключ". Куда только смех делся! Владимир подал ключ; Керни уехал. Через пять минут он появился с другой стороны улицы.

— Водяной насос полетел. Поезжайте, привезите. Магазин недалеко, двигатель перегреться не успеет.

Когда Владимир вернулся, Керни уже лежал во дворе под поставленным на ramпы грузовиком; задний мост со свалки — рядом. Цепь с блоками покачивалась на переносном кране...

— Вашу работу сделать полчаса. — Керни опять смеялся — из-под грузовика. — Мою... Считайте. Снять тормозные барабаны. Отсоединить тормозную систему. Вытащить полуоси...

— Сделаем сперва вашу, — сказал Владимир.

Работа заняла весь день. У Владимира болели спина и руки, когда они кончили. Уже и темнота надвигалась. Но они успели: новый задний мост был в Додже; новый водяной насос — в Шевроле. Никто не вышел за весь день из дома, и Керни не пригласил внутрь Владимира. Теперь они стояли во дворе, и Керни тяжело дышал. Он был силен и проворен весь день — но как только работа кончилась, сразу обмяк: согнулся, на лице выступили морщины. Видно стало: и немолод, и лекарства давно принимает.

— Руки бы помыть, — сказал Владимир.

— От двери с улицы справа. Со двора не пройдете: дверь заперта, ключ — не знаю где...

Дверь с веранды открывалась прямо в небольшую гостиную. Дошатый стол, два стула, диван с клетчатой вытертой обивкой; две фотографии на стене. На одной — красивая молодая женщина с мальчиком лет пяти на руках. Лето, на ней легкое платье; на мальчике легкая рубашка; сзади — листва. На другой — тот же мальчик, момент выпуска из школы. Мантия, шапочка с квадратным верхом; очень похож на мать...

И ничего больше в доме. Обжитым не пахнет; едой, ду-

хами, свежестью — а наоборот, пылью, плесенью, запустением...

— Я голоден, — сказал Владимир, вернувшись. — И должен вам за ремонт...

— Бартер, я же предупреждал, — сказал сухо — дома потому что? — Керни.

— Но обедать все равно надо. Какую еду любите: китайскую, итальянскую, французскую?

— Китайскую. Не надо пить.

— А если чуть-чуть? По случаю ремонта двух машин?

— Ни по какому. Вино и прозак несовместимы.

— Принимаете?

— И множество других антидепрессантов...

Сидят, едят, весь день трудились вместе, спины наломали надо же и поговорить о чем-то. О чем? Керни замолчал вдруг. Некстати. Где не надо — болтает; когда надо — молчит.

— Женщина с мальчиком на фотографии в доме — ваша семья?

— Жена и сын, двадцать лет назад. Счастливейший момент моей жизни. Она три года как умерла.

Вдруг — каким непривычным оно стало! — улыбка сошла с его лица совсем... Что на нем; какое выражение? Владимир взглянул — и отвел глаза, уставился в тарелку...

— Извините. Я не должен был спрашивать.

— Нет, почему. Это нормально — увидев фотографии, любопытствовать. Жена мертва, сын в тюрьме уже пять лет и будет там еще долго. Ее хватило на два года. Организм защищается смертью, когда человек беспомощен и беззащитен, не может ничего изменить в ужасных внешних обстоятельствах. Со мной тоже было бы такое, если бы у меня не было запасного выхода. Я им когда-нибудь воспользуюсь...

— Как струны, я перебираю нити своей жизни, — забормотал Керни. — Если бы я пошел вдоль этой — куда? А куда — вдоль этой? Где, на каком узле я сделал неверный выбор..?

— Если бы я уехал во Францию, — мой сын был бы полуфранцузом. О, латинская ясность мышления! Знал ли бы он тогда разницу между экраном и реальностью? Так же легко

ли было бы его уговорить? А такого, как он, было легко. "Твой род занятий приводит Землю к гибели, — сказал он мне. — Уйду из дома, если не уволишься из атомной промышленности!" — "Гуру, глава культа, влияет?" — "Я знаю без него: у человечества один путь спасения — перестать брать от природы; жить только тем, что она дает сама". — "Ты не подозреваешь, как плохо твоя психика подготовлена к натиску подобных идей. У тебя нет своего представления о жизни и мире; компьютер не приучил тебя думать". — "Уходи с атомного завода!" Я уволился, поступил сюда. Но гуру все равно увел его, вместе с другими такими же, из дома. Они поселились где-то в Аризоне, в пустыне; ничего не брали от природы: не пахали, не сеяли, не разводили скот... Но для того, чтобы жить и спасти Землю, нужно много денег. Учитель послал его продавать наркотики. Все, ловушка захлопнулась, он получил двадцать лет тюрьмы. Я платил залог после его ареста; я платил адвокату — да не одному! Все, что я зарабатываю, по-прежнему уходит на то, чтобы его вытащить. Бесконечные апелляции, прошения... Бумаги, бумаги, бумаги... Моя жена не выдержала и умерла; я живу в полуразрушенном доме, у меня нет денег вставить зубы — как не было их и полечить; я забыл то время, когда покупал новую одежду; мой грузовик я привез со свалки...

Понедельник. Болят спина и руки. И это все, что напоминает о дне, проведенном с Керни. Об остальном мыслей нет. Важней дело: сверхурочные. Кончились восемь часов, остались в отделе Владимир и Билл на сверхурочных — и Керни, дорабатывающий свои два часа...

Керни ищет собеседника. С Биллом поговорил, перешел к русскому.

— Мог бы я приспособиться к жизни во Франции?

— Если б научились есть лягушек...

— Я б научился! — Керни чуть на пол не валится; развеселился. — Вы же научились есть хамбургер.

— Хамбургер — не лягушка...

Почему он заводит разговор со мной? Потому ли, что никого больше нет — или после вчерашнего стал более откровенен?

— Все равно, я приспособился бы. Ну делал бы работу ниже той, на которую по способностям имею право... Так я и здесь этим кончил... Как вы...

— Не сравнивайте..! Я — эмигрант, мои возможности ограничены. На родине я, возможно, думал бы о том, больше я или меньше этой работы. Здесь — вполне удовлетворен.

— Я родился в этой стране, и я совершенно не удовлетворен. Я не зря спрашивал о России. Стоило бы мне родиться и вырасти там в то же время, что мой университетский профессор?

— То есть, в сталинское?

Керни чувствует неудовольствие в голосе Владимира; хохочет, хлопает Владимира по плечу.

— Верно! Сталин бы меня расстрелял. Он не любил ирландцев.

— Первый раз слышу!

— А что, любил?

— Сталин не интересовался неподвластными народами. Ему хватало тех, до кого он мог добраться.

— Тогда за то, что я — физик-теоретик.

— Не расстрелял бы — но заставил бы делать атомную бомбу.

— Я б отказался.

— Тогда точно — расстрелял бы.

— Пострадал бы за свои убеждения... Как вы, например.

— Я не страдаю.

— Вы — как мольеровский персонаж: не знаете, что говорите прозой. Конечно, страдаете, сами только что сказали: я — эмигрант. Я тоже — эмигрант. У эмиграции множество разновидностей; не только географическая. Люди эмигрируют от своей профессии, своего круга общения, своего уровня, наконец... Каждый человек в течение жизни несколько раз бывает эмигрантом. Переезд из страны в страну — крайний, наиболее заметный случай.

— А ваш каков?

Молчание, улыбка. Стрелки часов на стене показывают почти половину шестого. Билл встает, глаза потускнели. Керни идет к своей доске, достает таблетку, банку кока-колы, глотает, запивает, начинает убирать с доски чертежные шаблоны.

Общество, где нет властителей дум, а учитель жизни — компьютер...

И вдруг — такой странный, непонятный человек...

Вечером следующего дня Керни, выждав десять минут — вдруг Роберт вернется — подошел к столу Владимира.

— Не мог раньше. Все глаза — на нас. Беседа двух эмигрантов..!

— Бросьте! Скажите о другом: как вы, физик-теоретик, не работаете на компьютере?

— Не хочу загонять мозг в искусственные границы.

— Эй, — подал голос Билл, — компьютер, по-твоему, загоняет мозг людей в искусственные границы?

— Компьютер требует абстрагирования от реальной жизни, непонимания ее; меняет человеческий мозг: лишая универсальности, оставляет ему узкую функциональность...

— Значит, и мой мозг изменен?

— Твой — нет. Он с самого начала был таким.

— Компьютер, — вставил Владимир, — не меняет взгляды на жизнь, подход к ней. Это ведь всего лишь средство; усовершенствованный карандаш...

— Для вас — ваша личность формировалась в докомпьютерное время. А мой сын начал играть с компьютером с трех лет. Я покупал ему все новинки, денег не жалел. К двадцати годам он стал компьютерным волшебником. Наше поколение выросло в книжной культуре; я верил в то, что компьютерная лучше. Я только не думал о том, что книга развивает душу; компьютер же ее разрушает. Он вводит человека в мир упорядоченный и установленный — и человек — особенно молодой, без жизненного опыта — перестает различать разницу между миром на экране и реальным. А из этого происходит вот что: молодые люди начинают считать жизнь еще одной разно-

видностью компьютерной игры и остаются в этом убеждении навсегда.

Керни вернулся к своему столу, достал две белых таблетки, запил их кока-колой из банки и начал ожесточенно работать. Выражение лица было у него такое, как будто за щекой он держал разрезанный лимон.

— Ужасная вещь — неумение отделять мир реальный от мира иллюзорного. Раньше этим отличались только политики. Теперь каждый может позволить себе такое, чувство реальности размылось, утратило четкие границы.

И — как обрезало склонность его к разговорам — за полтора часа до конца работы звука не проронил.

Еще один вечер. Роберт не уходит, манит Керни. Тот садится напротив. У Роберта нет офиса, скрыться негде; поэтому выбран для беседы час, когда почти все ушли.

— Керни, — сказал Роберт, — у компании с тобой большие проблемы.

— Хотите уволить? — Керни побледнел.

— Нет, до этого дело еще не дошло. Но ты не знаешь компьютера и не хочешь изучать, отказался идти на курсы.

— Бесполезно. Нет памяти. Я живу на антидепрессантах.

— Но компания не может держать человека, не знающего компьютера!

— Если компания меня уволит, я подам в суд. Компания, конечно, большая и мощная — но обвинений в попытке избавиться от больного человека и она не выдержит. Это будет для нее плохая реклама, продажа упадет, стоимость акций пойдет вниз.

— Вздор, — сказал после некоторого раздумья Роберт. — Компания поставляет машины всему миру, в обороте миллиарды! Кто ты? Сопоставь масштабы!

— Но я человек — и болен, болен, болен! — Нет смеха в голосе Керни — но захлебывающиеся, торопливые всхлипы; жадные, взаглот, вздохи...

— Сообщу руководству о твоём отказе. Насильно заставить тебя учить компьютер никто, конечно, не будет. — Роберт покраснел — он всегда в гнев краснеет; встал из-за стола; быстро ушел.

— Эй, — говорит внезапно Билл, — а если бы ты не принимал антидепрессанты, ты смог бы заняться компьютером?

— Не знаю. Не помню времени, когда я обходился без лекарств.

— У химии всегда побочные эффекты. Но есть другой способ. Я вхожу в организацию, где люди успокаивают, утешают и помогают друг другу. Ты можешь присоединиться к нам, я тебя порекомендую. У тебя станет легче на душе, ты увидишь, в скором времени тебе не понадобятся лекарства. Очистится твоя душа — очистится и твой мозг, вновь станет способным к восприятию нового.

— Что стоят любые слова утешения, если жизнь так трудна!

— Тебе объяснят, почему она трудна.

— Я и так знаю. Компьютер все больше заменяет людям мозги.

— Нет! Причина в том, что тайные силы пытаются создать Мировое правительство....

— Это дало тебе знание компьютера — верить в бред, который преподносит вам глава вашей секты? И ты хочешь, чтобы я в нее вступил!

— Но если единственный способ сохранять какое-то подобие душевного равновесия для тебя — это глотать таблетки, которые притупляют твою память, то как ты можешь отказываться? Не выучишь компьютер — потеряешь работу. Еще год, два, три — и не умеющих работать на компьютере не останется. Тебе до пенсии сколько?

— Я все равно никогда ни в какую секту не пойду....

Билл замолчал.

— Керни, — сказал Владимир, — с какими ветряными мельницами вы воюете? Перед тем, как попасть сюда, я долго искал работу. Три, один за другим, агента по трудоустройству сказали мне. "Знаешь компьютер — завтра на работу." — "Не знаю." — "Узнаешь — приходи..." Что оставалось делать..? Вы только говорите, что вы — эмигрант: для игры — но если бы были реальным, вы не остались бы без знания компьютера: не могли бы себе позволить. Что делать реальному эмигранту? Учить, надрываться! "Переведи дух, ведь какие чудовищные

усилия предприняты были для овладения английским! За пятьдесят уже!" — "Что ты! Отстанешь — пропадешь!" Новый язык теперь надо знать: компьютерный; новые чудовищные усилия приложить. Так приложите усилия; это стоит того, право... Я, эмигрант, смог...

— Буду чинить автомобили, — сказал Керни.

— Тяжелый физический труд. Насколько вас хватит?

— Я знаю, что я сделаю... — На лице Керни появилась улыбка; шире, шире и вот он уже смеялся; и вот хохотал — всхлипывая, как всегда. — Компьютер изобретение сумасшедших ученых. Но капитан Марвел всегда побеждал Сивану. Я закричу ШАЗАМ — вот, что я сделаю...

Юрий Кашкаров

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Гроб из Луанды — Тем летом в Тарусе —
Егорьевск — Муром — Касимов —
Словеса царей и дней (князь Иван Хворостинин)
— Зло — Исаакий и Евдокия —
Афон

Цена книги \$ 20.00, пересылка \$ 1.50

Заказы направлять по адресу:

The New Review
611 Broadway, Suite 842
New York, NY 10012

Иван Акимов

* * *

О давно безплодных мечтаніяхъ,
О давно ненужныхъ гаданіяхъ,
Ожиданіяхъ, испытаніяхъ,
О любимомъ и ненавидимомъ,
Обо всемъ видимомъ и невидимомъ,
Обо всѣхъ встрѣченныхъ и нестрѣченныхъ,
Обо всѣхъ образахъ искалѣченныхъ,
Что навѣяли сны весенніе,
Что навѣяли сны осенніе,
Одинаково невозможные,
Обо всемъ, что должно прейти,
Пропоють намъ столбы дорожные
На послѣднемъ земномъ пути.

* * *

Вотъ вамъ говорили: "законъ и пророки"
"Молитесь! Отецъ васъ простить, любя".
А я говорю вамъ: близятся сроки,
Когда будете сами судить себя.
Вотъ вамъ говорили: "Молитесь, дѣти!
Молитесь, плачьте! Смѣяться грѣхъ!"
А я говорю вамъ: придетъ столѣтье
И вамъ самимъ будеть страшень смѣхъ.
И новое слово встанетъ пожаромъ.
Что слово мое? — Предпожарный дымъ.
Тогда будетъ вѣчная жизнь старымъ
И смерть молодымъ.

* * *

Осѣла пыль искусственныхъ стихій.
 Мерцасть вновь зажженная лампада,
 И отсвѣты такъ празднично тихи
 На золотѣ иконнаго оклада...
 Прости мнѣ, Господи, невольные
 грѣхи —
 Полночныхъ думъ уродливыя
 чада —
 Мои стихи.

* * *

Сустились, шептались, кадили
 И вновь сустились,
 Пытаясь рѣшить все тот-же вопросъ:
 Продолженіе? Или — конецъ?
 Ничего не рѣшивъ, торопливо простились,
 Надѣли вѣнецъ,
 Заколотили...
 Съ нами Христось!
 А надъ стихшимъ безумьсмъ
 рыданій, молитвъ и проклятій,
 Выше всѣхъ куполовъ,
 Гдѣ блѣднело холодное пламя
 И мутнѣли лучи
 На бронзѣ соборныхъ распятій,
 Надъ помершей морокой воздушнаго
 полога
 На вѣки, на вѣки вѣковъ,
 Как бездомное облако,
 Расплывалась въ ночи
 Вѣчная память.

Олег Ильинский**РАССВЕТ В СОБОРЕ**

Природа смысла, как заря, нежна,
А камень спит бездумно и бессрочно,
Но, кажется, уже погружена
Мелодия в его глухую прочность.
Яснеют арки, светятся колонны,
В полутенях надгробия живут,
Несмело и как будто удивленно
Вплывает день и проступает звук.
Мелодия скульптурой обернется
И есть заря, а камня больше нет,
Уже угадан облик венценосца,
А женский лик прозрачен, как рассвет.

*1996***УЛИЦА**

Есть люди, похожие на чуму —
Они скрючившись лежат на асфальте,
Есть мулаты, толкающие по нему
Тележки-вешалки готового платья.
Есть летняя мода в алмазном блеске витрин,
В складках темного бархата есть кольцо ювелира.
На Пятой Авеню — Антверпен, Париж, Рим,
Филиалы тщеславия, краткая слава мира.
Есть шорох листвы и парк по правой руке
И на солнечной улице скачка огней светофора,
Есть женская фигурка, спешащая налегке
По тенистому камню — в прохладный портал
собора.

*1996**Нью-Йорк*

Василий Яновский
ЕРЕСЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

XII

Мальчик Драго, не на цыпочках и совсем не танцуя, расцарапанный и заплаканный, прошмыгнул близко и, озираясь, сообщил Мастеру, что его ждут в замке...

Летний вечер медленно (лениво) раскинулся над землею; далеко, с краю, трепетали стальные и розовые стожары.

Касьян рассудил, что его, пожалуй, еще пропустят без особых помех через мост; действительно, солдаты, похлопав нескольких запоздавших пешеходов по тем местам, где бывают карманы, никого не задержали. На той стороне, в роще, Мастера встретил влюбленный соловей, пускавший короткие, пробные трели: так теннисист перед решительным матчем проверяет свой сервис.

В траве меж кустами тускло вспыхивали маслянистые пятна светляков. Как воры, переодетые в чужие фраки, шмыгали летучие мыши. Запоздалая ласточка взмывала над обрывистым берегом, не находя в сумерках знакомого гнезда. Угрюмый парк раскрыл свои старческие объятия. Желтая аллея звала и уводила вглубь. Высоко (точно паруса) полоскались густые кроны: там, над землею, должно быть, непрерывно тянул озорной ветер с гор.

На парадном дворе стоял немецкий караул. Унтер-офицер нудно ругал провинившегося Фрица, который, вытянувшись, длинноногий, с тяжелым задом и чрезвычайно коротким туловищем, нагло, нетерпеливо, вздыхая, слушал скучную проповедь. Мстительно потрескивал костер; из котла, доверху наполненного ошипанной птицей, валил пар. Гостя оглядели с удивлением, но беспрепятственно пропустили в дом.

В вестибюле дремали бабы. Они встрепнулись и разбжались при виде чужого. Касьян прошел в соседнюю исполнинскую залу, которая теперь выглядела еще более пустынной и голой... Все медные, бронзовые и другие металлические орнаменты исчезли со стен. Оружие, доспехи, канделябры, даже похоронные дедовские часы были вынесены, на их месте зияло сырое прямоугольное пятно.

В зале горело множество свеч, из дальнего угла доносился слабый звук скрипки. Там, у рояля, Зора наизусть разыгрывала, отбивая подошвой такт, очень трудную (знаменитую) сонату.

Девушка кивнула головой, строгая и неприступная, как всегда во время своих музыкальных упражнений. Несмотря на общую одаренность, на скрипке Зора играла с усилием и скучновато, хотя техникой владела вполне. Пианино волной клавиш легко и благостно откликалось на прикосновение ее пальцев, но только в пении сказывалась целиком ее серафическая природа: без напряжения, без разбега, свободно, как дыхание, вырывались из горла (или из души) звуки, напоминающие непрерывную осанну, аллилуйю. Однако, именно скрипку Зора считала своим призванием и уделяла ей все внимание, особенно в минуты тягостных невзгод.

В огромной столовой, тоже ограбленной, бабы по-обычному собирали к обеду; у буфета, где закуска и бутылки, Феликс, брезгливо что-то прожевывая, кричал:

— Понимаете, эти хамы запретили мне пользоваться собственными лошадьми! — увидав Мастера, он кивнул головою как старому знакомому и повторил: — Понимаете, эти хамы...

— Что случилось с Маркали? — спросил гость.

Ответил Епископ:

— Остолоп, не пожелал расстаться с Флорой и Фауной.

Чакó толковó рассказáл, что немцы сперва намеревались взять цыгана живьем, но Маркали расшвырял их голыми руками, ранив нескольких, тогда полковник приказал стрелять. Пробуравленный дюжиной пуль, Маркали еще отбивался!

— Ах, молодец! Ах, молодец, — тихо приговаривал Чакó. Но он не мог объяснить, как немцы добрались до оружия в каменоломне.

— Глухая выдала, — нехотя сообщил Епископ. — И очень умно сделала. Цыгану все равно, а от старого оружия нужно, конечно, избавиться.

— Оружие всегда пригодится, — запальчиво возразил Чакó.

Этот юноша был теперь даже симпатичен Мастеру. Зора продолжала отбивать такт ногою.

— А что Катерины там поделывают? — осведомился Епископ.

— Их заперли. У вас, оказывается, настоящая тюрьма в караван-сарас. Кстати, причем тут Катерины, какие они заложники? — спросил Касьян, мельком взглядывая в сторону Епископа.

— Ну, семья бунтовщика, — объяснил тот. — Цыгане, полужевреи, что ли...

— Евреи?

Все молчали. Только скрипка варьировала свою основную тему, послушная отбиваемому такту: в этом стуке Зоры было что-то каталептическое, пугающее. "Припадок, — решил Касьян, — быть припадку"... — и шагнул в ее сторону.

— Я думал этим поправить дело, — сознался Епископ. — В сущности, это была идея глухонемой. А ведь Маркали не отец ее и не за что девочку так наказывать.

Глухая у камина начала издавать звуки, похожие на шипение гуся.

— Да убирайся ты к черту! — вырвалось у Епископа.

— Что прикажете делать, — орал между тем (пропустив две рюмки) Феликс. Он похудел за один день и стал как-то человечнее, понятнее. — Грабят, убивают, увозят. Пока только слуг. Но и за нас возьмутся, будьте спокойны. Что прикажете делать с этими безумцами? Откуда они взялись?

— Во всяком случае у них винтовки, — заметил Епископ, отпивая вино.

— Но они сумасшедшие, — настаивал Феликс.

— А в 1939 они не были сумасшедшими? — спросил Епископ.

— Да, разумеется, но здесь сплошная фантасмагория, галлюцинация.

— Что фантазия? Что выдумки? Танки? Пулеметы? — глаза Епископа стали совсем зелеными (как у маленькой Катерины).

— Нет, здесь что-то возмутительное! И вы это отлично понимаете, — кричал Феликс. Мастер, который вчера был готов растерзать его, теперь чувствовал в нем единомышленника.

Скрипка на жалкой ноте смолкла, и Зора приблизилась к столу, потирая платком углы глаз. Девки зажигали еще свечи, запахло стеарином.

— Полковник выключил динамо-машину и увозит ее, — улыбаясь сообщил Епископ. — В тысячелетнем хозяйстве всякая тряпка пригодится.

— Как вы можете шутить. Война давно кончилась. Гитлера сожгли, — надрывался Феликс. Его что-то особенно и больше, чем других, волновало в этой истории. После молчания Епископ уже обычным тоном (снисходительно) заметил:

— Ну да. Немец — сумасшедший, война — ложь, третий рейх — сказка, а вот смерть Марка Али, явившаяся в результате накопления выдумок, как будто самая настоящая реальность... Что вы скажете по этому поводу, профессор?

— Вот у вас, Епископ, искусственная челюсть, — ответила поспешно Зора. Глаза ее опять уже смеялись, песчаные и счастливые. — У вас фальшивые зубы, но если вы укусите, то рана окажется настоящей, со всеми мыслимыми осложнениями.

— Понимаю, — процедил Епископ. — Значит, фантазии могут порождать правду? Но реальность, порожденная ложью, настоящая ли это реальность?

— Ах, оставьте философию, — прервал его бесцеремонно Феликс. — И так тошно. Скажите лучше, что нам теперь делать, вот вопрос...

— Как наши Иоакимы? — осведомился Епископ.

— Филолай уверяет, что "обротают".

Епископ и Зора улыбнулись почти одинаково, Феликс досадливо отмахнулся. Один Чако ничем не выражал своего настроения. Только мерцали его темные, бархатные глаза с длинными нежными ресницами.

— Полагаю, что лучше всего пока ничего не делать, — рассматривая ногти на руке, промолвил Епископ. — Через два, три дня немцы опять уйдут в горы или наши власти, заметив беспорядок в долине, пришлют сюда отряд.

— А пока они повесят Катерин, убьют нескольких Иоакимов, а может, и до нас доберутся, — Феликс неистовствовал. — Прикажете, как баранам, дожидаться, что ли?

— В сущности, совсем не трудно выбраться отсюда ночью, а там пройти в город, — не то спросил, не то заявил Мастер. Они уже сидели за столом, гостю дали свежую накрахмаленную салфетку.

— Кто знает дорогу, проберется, — подтвердила Зора. Глухонемая окидывала обедающих тоскливым взглядом (точно страдающий зверь) и жалобно мычала. Холодная дичь не привлекала ничьего внимания, но вино пили охотно.

— Иоакимы могли бы, конечно, да они не пойдут, — заметил Феликс не без горечи.

— Зачем Иоакимам рисковать шкурою, они и так нас всех обротают, — добродушно откликнулся Епископ.

— Я так думаю, — заявил вдруг Касьян, — сумасшедшие ли немцы или нормальные вполне, это в данном случае безразлично. Они напали, и мы должны защищаться, как принято во времена войн и оккупаций. Другой реальности нет.

— Ложь, помноженная еще на одну ложь, превращается в правду? — спросил Епископ.

— Да, ложь тоже реальность или часть ее, как смерть — долька жизни.

— Но, может быть, смерть Марка Али, основанная на стольких мнимых предпосылках, тоже выдумка, мираж? Такая абсурдная гибель не может быть окончательной, — настаивал Епископ. Освещенное свечами его длинное желтое лицо напоминало знаменитый портрет Эль Греко.

— Я отказываюсь теперь философствовать, — завопил Феликс. Как все люди, чувствующие отвращение к отвлеченным рассуждениям, Феликс наивно думал, что в другое время, при других обстоятельствах он сможет (с удовольствием) поддержать беседу и на какую-нибудь общую туманную тему, только не сейчас, не сегодня... Он порывисто встал, пробежал к буфету и, нагнувшись, достал тяжелую пыльно-янтарную бутыль. Выпив рюмку, он предложил и другим. Порядок в доме заметно изменился в течение одного дня оккупации — сам хозяин разливает ликер.

— Что нам делать? — гораздо увереннее спросил еще раз Феликс.

— Я ночью легко выберусь отсюда, — сказал Мастер. — Немцы сторожат только основной выход из долины.

— Это может сделать человек, с детства знакомый с нашими оврагами, — возразила Зора. — Я, бывало, подростком пробиралась поверх ущелья. Конечно, в темноте это сложнее, — она смеялась глазами, как ребенок, как ангел или как разрешившаяся от бремени молодая жена.

— А по-моему, ничего пока предпринимать не надо, — заявил Епископ.

Чако порывисто поднялся и начал застегивать свой тесный скюрточок с золотыми пуговицами.

— Сиди, — ласково приказал Феликс. Тот неохотно сел, пробормотав:

— Я знаю дорогу.

— Сиди, — повторил Феликс.

— У них заложники, — настаивал Епископ. — Узнают, что ночью бежали в город, и казнят. Ведь для этого берут заложников, кажется.

Все молча смотрели, как он, смакуя, отпивает из рюмки. А Епископ уже другим тоном продолжал:

— Вы помните, профессор, пещеру Платона? Сидят скованные люди, а их взору доступны только тени реального мира, тени, падающие на стенку, точно на экран. Помните?

— Да. Конечно.

— Как вы относитесь к этой притче?

Касьян не спешил с ответом. Лицо Епископа, желтое и

вытянутое, как лимон, господствовало над слабо освещенным столом.

— Мы знаем эту пещеру, — возвестила Зора (Мастер зажмурился). — Но нам известно также, что египетские жрецы установили высоту пирамид благодаря соотношению теней, отбрасываемых разными предметами на землю. Тени — призрак, но их взаимная связь — уже абсолютная реальность, единственная реальность.

"Почему она так ликует и постоянно смеется глазами или кожей, или душой? — спрашивал себя Касьян в тысячный раз. — Ей, должно быть, ведомо, что в космосе все было и будет хорошо. Зело добро. Отсюда эта радость".

— Значит, — подхватил Епископ, — мы, орудуя призраками, из их соотношения находим истину? Но о чем свидетельствует такая истина? Истина ли она?

— Отведайте нашей капусты с паприкой, — предложил Феликс.

— Боюсь, что мне пора домой, в гостиницу.

— Уже поздно, куда вам идти, — отозвался Епископ. — На дворе темно, а для немцев, больных или здоровых, приказ есть приказ.

— Мастер здесь заночует, — решила Зора. — Он здесь ночует, — повторила она, повернув сияющее лицо к глухой (та только глубоко вздохнула, как крупное, истекающее кровью животное).

— Я не совсем понимаю смысла приказа и можно ли ночевать где придется, — заметил гость. — В сороковых годах некоторые мои друзья погибли, потому что их нашли ночью в соседней квартире за бриджем.

— Какие тут квартиры. Это село, а вы наш гость, всем известно, — уверял Епископ. — Немцы завтра сюда вернутся за вином, так что мы можем сегодня выпить лишнюю или даже последнюю бутылку имперского вина. Подумайте, профессор, сколько раз за это столетие они грабили мой погреб... Ученые рассуждают о геополитике и не догадываются, что тут дело проще: немцы, как в дикие времена, все еще готовы затеять войну только для того, чтобы нажраться вволю даровыми сосисками.

Бабы, простоволосые и хмурые, приволокли несколько запыленных бутылок: янтарное вино забулькало, точно вырываясь из другого мира. Обедаящие с воодушевлением подняли бокалы и чокнулись: не впервые оккупация объединяет людей, по существу чуждых друг другу.

Чако, бледный, стянутый, выглядел романтическим героем, Зора безотчетно сияла глазами. Радость, о которой она, быть может, и не подозревала, лилась через край, и Касьяну было тяжело смотреть, как она легко и щедро рассеивает свое внутреннее богатство.

Мастер Касьян пил драгоценное вино, не замечая его качеств... Он давно знал, что боль, и страдание, и скука, и грехи стираются любовью, точно губкою. Может быть, даже смерть преобразится под этими восторженными лучами любви. Ему казалось: еще немного, тело его победит земную тяжесть, и он, наконец, взмоет, взлетит (или зашагает по воде, как по суше). Но тут он некстати вспомнил Маркали, который лежит твердый на твердом мраморе, в кровоподтеках, и тело его, Касьяна, опять наливалось свинцом.

XIII

Глухонемая у камина вдруг со стуком упала на колени: по крайней мере, всем так почудилось. Но сразу запахло дымом и, сокрушенно вздохнув, огонь вспыхнул за решеткой. Епископ сдержанно похвалил ключницу.

Есть в огне (несмотря на его хищные замашки) нечто от родного и милого спутника. И когда вместе с уютной гарью замигают живые глаза первых углей, то кажется, что в комнату вошел капризный и мудрый друг.

Подали фрукты. Неказистые на вид, неяркие, они пахли до головокружения, именно так, как надлежало им пахнуть. И вкус тоже был знакомый — от сотворения мира. Слизовица и кофе тоже способствовали общему оживлению, к концу трапезы стол выглядел вполне праздничным.

Епископ (вельможа в опале, в отпуску) восседал, сочетая в своей внешности черты скромности и величественности.

Феликс, в ботфортах, но без хлыста, грубый, но добрый малый. Мастер сидел напротив Зоры: раскаленная, неустойчивая радуга, простершись над столом, соединяла их, видимо или невидимо. Впрочем, Чако, вероятно, заметил эту пурпурную, вспыхивающую дугу над их головами. Но он молчал, изредка только взмахивая (как бабочка крыльями) своими длинными синими ресницами.

Вытерев салфеткою абрикос и откусив (отчего губы стали свежими, алыми), Епископ невозмутимо, точно продолжая прерванный разговор, сказал:

— И меня всегда восхищал Авраам, сумевший поднять нож на единородного сына. Я не согласился бы послать Феликса через немецкие дозоры.

Все молчали, только Чако громко рассмеялся.

— А ведь Бог требует от нас именно таких жертв? — настаивал Епископ.

Касьян счел нужным ответить:

— И да и нет. Это все несколько искажено комментаторами. В детстве Авраама, в его окружении, если не его отец, то дядя или кум, наверное, приносили такого рода жертвы или слышали о них. Так что для Авраама, когда Господь потом потребовал от него сына, для Авраама это звучало совершенно по-иному, чем для нас теперь.

— Не понимаю и не желаю понимать, — заявил вдруг Чако.

Епископ тоже собирался что-то возразить, но в это время снаружи, где царила уже непритворная ночь, раздался шум, топот и отрывистый, характерный крик. Через минуту, грозно стукнув у порога, в залу ворвались немцы: долговязый лейтенант и трое автоматчиков. Откозыряв, офицер вежливо заявил:

— Тут происходит совещание, нам все известно.

Солдаты шурились от света, их круглые бабы лица излучали довольство.

— Мы обедаем, и это, кажется, еще дозволено, — вскричал Феликс, поднимаясь навстречу непрошеным гостям.

Епископ тоже встал и, перебивая сына, сказал:

— Не угодно ли чашку кофе...

— Под видом обеда можно готовить акты саботажа, — сухо заметил Лейтенант и обратился к Чако. — Вы член семьи?

— Я... меня...

— Это наш молодой друг и родственник, — сказал Епископ, одобрительно кивая большой головой, как будто считал заданный вопрос весьма дельным, а свой ответ исчерпывающим.

— А вы, я, кажется, встречался с вами в гостинице?

— Профессор тоже наш гость, — опять начал Епископ. — Для удобства он снял комнату в гостинице.

— Мне очень досадно, — перебил Лейтенант, — жители обязаны возвращаться на ночь по своим адресам. Я вынужден вас арестовать.

Столовая теперь была набита людьми и тенями; едва дышащий камин и мигающие огарки свечей только множили потемки, выхватывая из мглы то бледное лицо, то блестящий диск автомата, то самостоятельный (как бы отрезанный от остального) взмах руки глухонемой.

Мастер Касьян встал.

— Послушайте, господин Лейтенант, — сказал он. — Я — пророк и могу вам дать ценные сведения о будущем... Сообщите начальству, что война кончится вашим поражением в мае 1945 года.

— Неужели вы сошли с ума? — раздался вдруг звонкий голос Зоры.

— Извините, — прервал ее офицер, — мне бы не хотелось прибегать к крайним мерам.

— Мне все кажется, что вы притворяетесь, — продолжала Зора, убежденная, что человека можно переспорить, вразумить. — Зачем вы это делаете? Ведь жизнь продолжится, вы могли бы еще участвовать в ней по-иному. У Епископа большие связи, мы вам поможем...

Она была до святости серьезна в своей попытке преобразования нелепой действительности, и только Мастер заметил, как потускнело ее лицо, точно покрылось мгновенно слоем пудры или пепла. "Припадок", — мелькнуло, и он решительно шагнул к двери, уводя за собой врагов.

— Марш, марш, — несколько запоздало скомандовал Лей-

тенант именно так, как ему полагалось. Солдаты привычно встряхнулись и, вильнув автоматами, последовали за арестованным.

Во дворе было черно, у каменной ограды тлел костер. Птицы в парке давно уgomонились, и только мотыльки, большие (вероятно, бесцветные), заворуженно плясали над огнем. Мастер, подгоняемый караульными, все же с наслаждением вдыхал этот душистый земной воздух: пахло медом и сеном. (Эту поляну еще вчера добросовестно косил Маркали.)

По каменистой тропе вышли на мост. Деревянные доски почудились теплыми, живыми. Снизу, должно быть, неслась река, ее не было видно, только слышно, как взвизгивают (точно крысы) сдвинутые берегами упругие волны.

Вот мощеная площадь св. Кассиана с бивачными огнями, как на картинах старинных баталистов; лошади звучно мелют зубами сухой овес и часовые грубо перекликаются у Ратуши.

Пленника ввергли в старинный двухярусный сарай с круглым сводом, примыкавший к правительственному зданию. И он один — в темноте... Где-то близко дышат или вздыхают. "Должно быть, Катерины", — догадался Мастер и осклабился. (Мысль, что на микроскопическом уровне причинно-следственная зависимость еще помогает делать правильные выводы, не доставила ему удовольствия.)

Касьян ощупью добрался до стены и сел на корточки: защищенный с тыла человек чувствует себя дома.

Положение казалось до того абсурдным, что трудно было принимать его всерьез; и в то же время краски греческой трагедии — явно проступали... (Немцы, сумасшедшие, полусумасшедшие или даже сверхнормальные, были способны при любом удобном случае казнить своих заложников.) В этом заключалось противоречие, ослаблявшее волю к борьбе, убаюкивающее.

Мастер знал, что умирающий часто не верит в близкий конец, в возможность неминуемой метаморфозы. "Это бессмысленно", — повторяет больной (хотя и случается с другими). И несправедливо. И противоестественно. "Да тут нет логики", — успокаивает он себя, не догадываясь о существовании другой фантастической логики.

— Ты ведь это защищал, — сказал или подумал Мастер. Ты провозглашал свободу от причинно-следственной связи (хотя бы на микроскопическом уровне). Так вот тебе, переваривай. Ты добился, наконец, спонтанного, ничем не предопределенного прыжка в неизвестность".

— Увы, даже отрицая казуальность, ты рассуждаешь казуально.

— То есть?

— Ты говоришь: "добился, пеняй на себя..." Это все — причина и следствие. Философ на твоём месте сказал бы: "Я получил это не потому, что добивался, да и получил я не то, чего добивался, и это вполне справедливо, ибо на уровне атомов все происходит неожиданно и самопроизвольно".

— Собственно, кого ты поучаешь?

— Мне так легче думать.

— Думать надо скачками, а не стройной цепью. Тогда незаслуженно, зигзагом (изнутри) попадаешь в цель.

— Но как же тогда жить и защищаться на этой земле? Как побеждать макроскопических врагов?

— Ха-ха-ха! Он всю жизнь посвятил самозащите и умер... Он умер, потому что всю жизнь защищал себя.

— Но я не умею иначе. Мы все только защищаем себя. Должно быть, мы исковерканы языком нашим. Речь человека построена вкривь и вкось... Кто нынче согласится жить в хижине кафра? А между тем язык наш еще пребывает в каннибальской стадии. Наши вспомогательные глаголы, как во времена пещерные, все еще "быть" и "иметь": вот подшипники, на которых вращаются и слово, и мысль, и дело. Все на них целиком опирается. А ведь эти глаголы давно потеряли свое преобладающее значение...

— Надо создать новый язык. Надо найти новые вспомогательные глаголы, соответствующие новой реальности.

— Какие, вот вопрос.

— Противоположные старым глаголам "быть" и "иметь", которые прямым путем ведут к энтропии и смерти. Вместо "иметь", пожалуй, "дать"...

— Собственно, если Епископ пошлет ночью Чако в город, то заложников расстреляют или повесят, — прошептал вдруг

Мастер, у которого, очевидно, шла еще другая внутренняя работа мысли. — А Епископ его, наверное, пошлет, — решил он безапелляционно.

От каменного пола дуло. Касьян нащупал рукою кукурузную солому, разбросанную кругом, и подстелил под себя. Пахло кошками. Высоко под потолком (как здесь вообще принято) были пробиты глубокие окна, забранные решетками из белого мягкого камня. Снаружи, должно быть, взошла уже объемистая луна и занялась привычным ей делом: сперва осветив одну амбразуру, затем другую... Кружево теней ползло по противоположной стене, похожее на тарантула. "Зора, — прошептал Мастер механически (автономно), словно заклинание, — Зора".

А с Зорой действительно случился припадок, и бабы ее унесли наверх. Мужчины остались внизу за столом, дожидаясь вести от глухонемой о состоянии здоровья девушки. Седая красавица-ведьма вскоре вернулась (бодрая, оживленная, помолодевшая) и сообщила, что все благополучно миновало и бояться нечего. Она, казалось, радовалась привычным заботам, с которыми знала, как справляться.

— Теперь вопрос такой, — обратился Епископ к Чако, улыбаясь самой обворожительной улыбкой, — ждать нам милости от злейшего врага или действовать, как полагается мужчинам?

Епископ сидел, сложив белые руки, точно для молитвы, глухонемая беспрерывно передвигалась по зале, и он вдруг нежно проговорил:

— Ты бы пошла наконец отдохнуть. Да и Зору не мешает проводить...

Кастелянша гневно тряхнула всем крупным телом и вызывающе застыла у камина.

— Что ж, это очень просто, — с готовностью отозвался Чако. — Я легко проберусь.

— Сиди! — крикнул Феликс. — Если немцы узнают, а они должны узнать, они всех заложников казнят. И в первую очередь профессора, именно профессора.

— Они, может быть, не узнают, — возразил Епископ. —

Чако — молодец, он пройдет сверху. Зора это, бывало, проделывала.

— Пройти легко, а скрыть трудно, — настаивал Феликс. — Бабы донесут, Иоакимы разболтают.

— Ну тогда, — решил Епископ, — немцы станут сгонять народ, бить в барабан. Они тоже имеют этикет и придерживаются его. А тем временем Чако доберется к властям, и сюда пришлют самолет, даже, может быть, парашютистов. И Фрицы побегут, не успеют расправиться с заложниками.

— Казнить всегда успеют, — не уступал Феликс.

— Риск, конечно, немалый, — согласился Епископ, украдкой взглядывая на глухонемую, — но другого выхода нет. Чако всегда проявлял героические наклонности. Вот теперь время себя показать.

Чако начал торопливо застегивать свой сюртучок, Феликс больше его не удерживал.

Но хозяев замка в эту ночь еще раз потревожили. Не успели они разойтись по своим комнатам, как снова раздался оглушительный стук у крыльца. Двое Иоакимов с хуторов убедили немецкую стражу пропустить их, солдаты стояли тут же с факелами, прислушиваясь к разговору... Драго (мальчик), отнюдь уже не танцуя, одиноко прохаживался по освещенной площадке у подъезда.

Мужики объяснили, что мальчугана (бродившего весь вечер у каменоломни) укусила собака, по всем признакам, бешеная.

Такого рода катастрофы случались здесь нередко, и обычно пострадавшего везли в город. Но теперь...

Об этом вполголоса совещались крестьяне с хозяевами усадьбы. Драго безучастно кружил по двору. Наконец унтер-офицер, разобрав, в чем дело, безапелляционно рассудил:

— Доставить к полковнику, у него есть все нужные медикаменты и впрыскивания.

Услышав о полковнике, седые хуторяне переглянулись, а мальчик в страхе захныкал. Но Епископ согласился:

— У них лекарства. Какие тут могут быть сомнения.

— Собака, может, не бешеная, — уверяли теперь бородастые старцы. — Кто ее разберет...

Но немцы считали своим долгом обо всем доложить коменданту. И бравый солдат, надев еще теплую фуфайку (как будто в селе заморозки), блестя каской и ружьем, повел Драго к мосту, напевая что-то безобидное про медхен или гретхен. А хуторяне поспешно улепетывали в противоположном направлении, довольные, что их отпустили по домам.

Торжественная луна показалась в небе, утесы и горы отбрасывали плотные (трехмерные) тени. Белые старцы бежали гуськом и, хотя оба упорно молчали, они явно поддерживали между собою какое-то духовное или мысленное общение. Одновременно уклонялись то вправо, то влево, замедляли ход, иногда останавливались (как вкопанные), топтались на одном месте или поворачивали дружно назад.

Дорога была им хорошо знакома и, несмотря на все уступы или обрывы, не казалась особенно трудной. Пугали только разные исторические, мифические и бытовые препятствия, рассеянные повсюду.

Здесь, например, в овраге (еще, должно быть, под австрийцами), подрядился один Иоаким выкопать колодец для богатого чиновника: бился несчастный, бился, ухлопал свои и чужие деньги, а воды нет. Оставалось только последнее средство, чтобы спасти если не жизнь, то хотя бы честь и семью.

По авторитетному древнему поверью, на месте, где умрет человек дурной смертью, обязательно забьет источник. Мужик повесился, а к утру колодец наполнился прозрачной водой. Увы, туда даже днем неохотно гнали коз, и яма вскоре осыпалась, ключ ушел под землю.

Ясно, что проходить вблизи этого оврага казалось зазорным (особенно ночью), и старцы, не сговариваясь, свернули по направлению к холмам и скалам. Но там тоже добрых людей подстерегала опасность: издалека замаячила массивная каменная глыба, даже в темноте похожая на обнимающихся бесстыдно любовников. Это в прошлые века еще брат и сестра занимались любовными утехами и были застигнуты разгневанным отцом. Бог, чтобы предупредить детоубийство, превратил юную пару в изваяние.

К этому памятнику преступной страсти крестьяне вообще не приближались, даже старались не смотреть в ту сторону

(особенно ночью). Но теперь спутники на мгновение задержались, изучая блестящую дорожку вокруг утеса, выводящую прямо на проторенный путь. Там, к своему ужасу, они вдруг заметили неестественно тонкую, как бы стеклянную фигурку, быстро перескакивающую с камня на камень — вверх к самому изваянию. То был Чако, но крестьяне его не узнали и исто-тово перекрестились.

Старцам теперь оставалась только одна дорога, через каменистую тропу, протянувшуюся над обрывом, узкую и скользкую, прославившуюся главным образом своими оборотнями: там, высоко, как бы на висячем мосту, они чаще всего показывались старожилам. Очевидно, при данных обстоятельствах хуторяне сочли вурдалаков и вампиров наименьшим злом. И две горбатые бородатые тени устремились на этот грозный перешеек...

И они не успели пройти десятка два шагов по скользкой, узкой тропе, как навстречу им действительно высунулся образ волка... Не из числа обычных, мелких, серых, на которых Иоакимы зимой охотятся, а крупный, гладкий и, что очень важно, совершенно белого цвета.

— Глухонемая? — одновременно пролепетали старцы.

Вурдалаки встречаются разные, и это нужно понимать. Попадаются добрые или злые, сытые и жадные, именитые или простая шваль. С одним можно легко сговориться (особым способом), а другие вне человеческих отношений и чувств.

Судя по наивному, безмятежному и могучему виду зверя с огромными, торчащими, как у нетопыря, ушами, это не была глухонемая. Но, разумеется, оборотни принимают часто не присущий им образ, иначе зачем затевать опасную маскировку.

Теперь старцам надлежало сочетать кротость голубиную с хитростью змеиной. А главное: крепкие нервы. Тогда еще есть возможность спастись. Полагается, конечно, уходить поскорее и подальше, но отнюдь не создавая впечатления трусливого бегства. И, сохрани Господь, повернуться спиной к оборотню, ибо он боится только чела Божьего (и людского).

Задача заключалась в том, чтобы создать род неустойчивого равновесия между отступлением и мнимой атакою. Так

фонтан вечно поднимает вверх свои брызги, несмотря на то, что они в конце концов падают все на землю.

— Как будто Маркали? — опять шопотом спросили старцы.

Волк, пожалуй, походил на Маркали. Однако, он был чересчур белый, чистый, нежно-серебристый. И скалил зубы снисходительно, озорно, словно его подмывало на смех.

Со стороны каменоломни раздался предостерегающий, трусливый и наглый визг собак. Белый волк целомудренно перебирал большими ушами, точно страдая от этого скверного воя падших животных.

Старцы, склонившись всем телом вперед, осторожно пятились назад: в сущности, второй мог бы повернуться спиной и побежать, но он этого не сделал.

Опять залились псы, кровожадно и подло. Что-то в этом завывании возмущало белого волка, он неловко начал перемещать свое крупное мускулистое тело на острой тропе, поворачивая назад.

Но камень был влажным и скользким, а край осыпался... И красавец-зверь как-то сразу и несерьезно (словно все еще можно будет исправить, вернуть, восстановить когда-нибудь) соскользнул вниз. С минуту он (впрочем, не очень убедительно, точно стесняясь) царапал передними лапами о гранит и, наконец, издав огромным зевом жалобный, почти облегченный вздох — свалился в бездну.

Хуторяне молча стояли на крутой тропе и прислушивались. Наконец, они одобрительно мотнули густыми бородами и уверенно двинулись гуськом дальше, старательно перешагнув через то место, где только что скреб потными лапами оборотень.

Вскоре мелькнула знакомая дорога вниз. Отсюда обычно по вечерам уже виден свет из окон хижин, разбросанных в долине. Но в эту ночь хуторяне, все как один, рано потушили огни, хотя немцы об этом не упоминали в приказе.

XIV

Кончик острой соломинки царапал его щеку. Почесываясь, Касьян проснулся. Брезжил рассвет. Из окон — высоко — вместе с птичьим гамом лилась смесь холодного воздуха и душистого запаха трав. С реки доносился трубный зов аистов.

— Проснулся, — слышался жалобный грудной голос Катерины. Она сидела совсем близко, простоволосая и заплаканная. Поодаль, почти в центре сарая, спала на узлах Катерина-маленькая.

Мастер обрадовался цыганке, словно старому другу. Он отдыхал всего несколько часов, но теперь чувствовал себя полным энергии.

— И тебя взяли? — подползая ближе, спросила она.

— Да, — он засмеялся. — Без вины взяли.

— Какая вина, — Катерина сердито отмахнулась. — Судьба, а не вина.

— Ничего, дадут знать милиции в город, — утешил ее Касьян.

— Дадут знать, — насмешливо протянула она. — Ну и глупый же ты, профессор. Епископ тебя доконал.

— А Маркали, почему его? — полюбопытствовал гость уже другим тоном.

— Маркали — это глухонемая, ее грех. А тебя погубит Епископ.

— Вот как. А ведь он считает меня своим сыном.

— Сын, вот важность, — она с негодованием сплюнула. — Таких сыновей у него полный короб. И дочек. Не ты первый, не ты последний.

— Очевидно, он для Зоры старается, — заметил Мастер, зорко следя за цыганкою. — Ведь если я ей дядя...

— Дядя, — прервала Катерина, — какой ты ей дядя. Зора совсем не дочь Феликса.

Мастер даже испугался, хотя именно чего-то такого ожидал.

— Что ты, что ты, Господь с тобою, — проникаясь особенностью ее речи, повторял он.

— По-настоящему, Зора — сестра Чако, — пропела цыган-

ка. — От одной матери они. А Феликс детей не имеет: мужик от мужика еще не рождает.

— Так, — радостно отозвался Мастер. — Я всегда это предчувствовал... Но все же, как у вас тут народ пакостит в постели.

— Это верно. А через тридцать лет никакой разницы не будет. Корова все слижет языком, а смерть притопчет. И никому больше не обидно, — она передохнула и уже другим тоном, с детской чистосердечностью закончила. — Зря твоя Анюта бунтовала.

— Это Анна, моя?

— Да. Здесь ее звали Анютой.

— Расскажи про нее.

— И, милый, — сразу подхватила цыганка привычным голосом, — маменька твоя барыней была. А, говорят, в России бомбы швыряла. Епископ, конечно, отметил: нас — вниз, ее — к себе. Тут она в любовь поверила: королева. Королева, да только на час. Глухая умеет, когда выждать за дверью, когда другую девку подсунуть. Вот Анюта волчицей завывала, а еще тобою тяжела была. Мне, когда я свою Катерину носила, тоже горько бывало, даром что цыганка. А твоя Анюта гордая, глазами кусается... Посмотрю на тебя, голубь, — рассказывала Катерина, — будто совсем иной. И добрый, и сильный, и ученый, а покосишься серым оком, и озноб проберет: как есть Анюта, ее корень. Скажи, пожалуйста, почему это одни люди — волки, другие — кошки, третьи — змеи, ящерицы, а то бывают еще вонючки? Отчего это вонючка хочет быть вонючкой и жить вонючкой? Неужели Бог только ей одной приказал навсегда остаться вонючкой? Очень я в этом сомневаюсь даже...

— Ты про Анюту, — напомнил Касьян.

— И начала Анюта оборачиваться волчицею, — охотно подхватила Катерина.

— Вурдалак, значит?

— Стало быть, вурдалак. Глухонемая ее много раз в этом виде заставляла. Ты про глухонемую что смекаешь?

— Я?

— Глухонемая, когда пожелает, отлично болтает и все слышит.

— Ты об Анюте лучше.

— Глаз у твоей матери, правда, был дурной. Пospоришь с ней, грешным делом: она поглядит так косо, через плечо, улыбнется, а ты потом целую неделю в отхожем месте кровью хлещешь. Это верно я тебе говорю. А между прочим, мы Анюту очень даже любили. Но, конечно, свое дитя ближе к сердцу. Только потом видишь: не верно это, да поздно, не вернешь.

Мастер лежал ничком на соломе, слушал грудной шопот красивой, зрелой, кающейся цыганки... Ее муж в мраморных пятнах покоится там, в холодной каменоломне, а дочь, вероятно, станет добычей сперва коменданта с коричневыми стеклами, потом других вшивых немцев. Нелепость. И страдания обиженной Анюты, бежавшей из Санкт-Петербурга, тоже фарс. Но в результате насилия, лжи, помноженных на чушь и невежество, получился он, Касьян, реальность, мир... Ибо он не мог считать свое присутствие в жизни случайностью или ошибкой.

Катерина-маленькая металась и что-то бормотала во сне. Высоко, под выложенным квадратными изразцами сводом, окна вдруг дрогнули и порозовели. Несколько собак хором, но не в унисон, залаяли, и прозвучал резкий выстрел. Послышались немецкие голоса и мерный стук сапог. Вскоре проскакал тяжелый всадник, осадив коня у Ратуши.

Деловито, озабоченно пропел петух, его поддержали далекие сподвижники на хуторах.

Я рад, что Зора не дочь Феликса, — вырвалось у Мастера.

Все равно не жить тебе с ней, диамантовый, — горячо шептала цыганка. — Хочешь, погадаю на прощание?

Рассветало торжественно и с перерывами, скачками, как церковная служба, когда священник то и дело творит "умную" молитву. И вдруг (словно колокольный звон) ударил в окно пучок оранжевых стрел: часть отразилась, рассеялась, другая половина легла радужными крючками (словно ноты) на противоположную стенку. С тех пор как Мастер попал в деревню,

он стал постоянным свидетелем чудесного восхождения солнца, всю свою предыдущую жизнь он только любовался закатом (концом).

Поблизости уже хозяйничали солдаты: стучали, спорили простуженными голосами, гремели ведром, котелком. Доносилось ржание требующих ухода лошадей. Конюхи спорили бабьими голосами.

Вскоре вислоухий и неопрятный немец принес кофе и хлеб. Кофе сразу остыло. Другой часовой, глупо ухмыляясь, объявил заключенным, что комендант застрелил мальчика, укушенного бешеной собакой... А к стаям у каменоломни вышлют отряд автоматчиков.

— Все теперь в порядке, — уверял немец.

Мастер с трудом допил свою кружку, есть ему не хотелось. Катерина очень деловито задала еще несколько вопросов солдатам, кокетничая и охорашиваясь.

Потом явился фельдфебель с медалями, он выругал караульных и прогнал обеих Катерин в дальний угол... Приказал поставить козлы, отделив таким образом женскую половину тюрьмы от мужской, как полагается в цивилизованных государствах. Он, по-видимому, только что получил нагоняй от офицера и теперь старался показать свою распорядительность.

Из разговора Катерины с караульным и по отдельным фразам унтер-офицера Касьян сообразил, что ночью кто-то бежал из села, и хотя в него стреляли, тела до сих пор не нашли. Ткнув сапогом в лежащую на узлах Катерину-маленькую, фельдфебель заявил, что с ней поступят, как с Драго или еще хуже, если она будет лениться:

— Девочек мы душим, вот так, вот так...

Это развеселило солдат, и они уже почти дружески сообщили Мастеру, что для заложников строят настоящую виселицу. Действительно, снаружи завизжала пила и басом застучал добротный топор. Немцы поглядывали на заключенных с каким-то похабным любопытством, словно на порнографические картинки. Наконец, Фрицы удалились, запретив дверь.

Девочка, та самая змейка с зелеными глазами, что давеча

приводила в восторг беднягу Драго, Катерина-маленькая, с синим личиком и блестящими волосами (из которых в пору вить леску для удочек), объяснила Касьяну, что если ей помочь, то она вскорабкается по стене и выглянет наружу... Взобравшись на плечи профессора, девочка легко уцепилась за окно:

— Строят помост. Фрицы и Иоакимы строят. Офицер прошел на крыльцо. Коляска едет из замка, — докладывала она взволнованно.

Мастер почувствовал в груди знакомую ноющую боль (переходящую в восторг) — Зора, Зора приближается. Он собрался спустить Катерину на пол, но та заартачилась: начала подхлестывать его ручонками и босыми ногами прищипывать. Мастер, подпрыгивая, поскакал вдоль глухой стены в поисках удобного места, чтобы сбросить норовистую всадницу на мягкое, не причинив ей вреда.

— Вот Драго пришел, — крикнул он. — Слышишь, поет на площади: "Она прелестна, она чудесна..."

Девочка разжала коленки и сползла вниз.

— Вы не сердитесь, — убеждала мать. — Она добрая. Только чует сердце свою злую судьбу и мечется.

Опять ввалился фельдфебель, и Мастера между двумя стражами повели в комендатуру (как немец выразился). Они прошли в Ратушу не с крыльца, а через задние двери, изуродованные железным болтом и гигантским замком. (Создавалось впечатление, что преступники там, внутри, и это их тщательно запирают.)

Прямо из передней тянулся коридор с узкой лестницей наверх; по бокам в разных комнатах помещалась, должно быть, канцелярия с полками и множеством папок. В кабинете попросторнее, за круглым столом, сидел выбритый, опухший и кровавоокий полковник. Портрет молодого хорошенького Гитлера висел на стене. В углу, за опрокинутой вверх дном бочкою, примостился писарь с длинным пером в руках. Он там, может быть, сидел уже во дни Тридцатилетней войны. За полковником, отвернувшись к окну, стоял Лейтенант в заштопанном чистеньком мундирчике. Розовая площадь сияла на солнце, озабоченно стучали топоры, женственно визжали

пилы... С водопоя торжественно выступали ослики, и край отчетливого неба уже захлестнула волна янтаря.

"Если время обратимо, значит ли это, что сегодня подлечит повторению совершенно и целиком или только в основных своих чертах?" — Мастер казался всецело поглощенным своими мыслями. Ему не предложили сесть, и он стоял, подтянув живот, выпятив грудь, как пленный (и все еще не побежденный) воин. "В нашей жизни гораздо больше света, добра и музыки, чем мы обычно предполагаем, — продолжал он спокойно думать. — А мы только охотно жалуемся и возмущаемся".

Между тем полковник говорил неряшливо и визгливо, как полагается военному, бесконтрольно управляющему целой областью. "Трусливый и развратный", — отметил Касьян, отворачиваясь. Из всех немцев здесь наиболее симпатичное зрелище представлял из себя писарь.

Комендант откашлялся, кровожадно пяля коричневые очки, и продолжал:

— В виде наказания мы постановили казнить заложника. Но было бы ошибкою казнить друга третьего рейха. Чем вы можете доказать свою лояльность?

Касьян вежливо молчал.

— Что вы можете сказать в свое оправдание?

— Я не знаю, в чем меня обвиняют.

— Да, я так и думал. Вы наш враг, — заявил полковник с оттенком сожаления. — Странно, в каждом государстве мы натыкаемся именно на таких упрямцев.

— Мне бы хотелось попрощаться с невестой, — сказал Мастер.

— Не могу обещать. Времени мало.

— А почему времени мало? — полюбопытствовал заключенный.

— Я — немецкий офицер и выполняю свой долг. В данную минуту я бы предпочел быть на вашем месте, — заявил комендант, почти веря этому.

— А кто нам мешает поменяться местами?

— Вы — опасный сумасшедший.

— Но если заложник сумасшедший, то его нельзя подвер-

гать казни, — впервые вмешался в разговор Лейтенант, все еще не отворачиваясь от окна.

— Вы забываете, в каком мы положении, — крикнул комендант.

— Я постараюсь обрисовать ваше положение, — сказал Мастер; офицеры, писарь и фельдфебель застыли, с каким-то болезненным любопытством прислушиваясь. — Конец войны застал вас в горах. Отрезанные от друзей и врагов, с большим запасом босприпасов, вы решили спрятаться в пещерах. С тех пор вот уже несколько лет вы сидите в гроте, вылезая на свет Божий только, чтобы запастись свежей колбасой. За эти годы вы, может быть, окончательно переродились, психически и даже анатомически...

Полковник стукнул кулаком по столу, писарь, картинно выгнувшись, подал ему папку с бумагами. Двое конвойных рысью ворвались в кабинет.

Мастера повели через сени назад, в каменный сарай с красным сводом. Там успели прибрать: брызнули водой, швырнули несколько охапок соломы и поставили род ширм (сетку из проволоки, набитую на деревянную раму).

И тотчас же в залитых ослепительным солнцем дверях показался Епископ, вестовой нес за ним табурет.

— Я просил о свидании с Зорой, а не с вами, — твердо проговорил Мастер.

— Зора здесь, — кивая большой желтой головой, заверил его Епископ.

Часовой, осклабясь, подтвердил:

— Девушка тоже будет, будет.

— Очень жаль, — продолжал Епископ, располагаясь удобно на табурете. — Все это крайне досадно. А Чако благополучно пробрался, — добавил он скороговоркой. — Завтра наши войска пожелуют сюда. Всего день разницы, это вроде километра расстояния, а для вас вопрос жизни или смерти. Чепуха, воистину, чепуха.

Касьян не нашел нужным оспаривать это мнение.

— Кстати, я сообщил Зоре, что вы — мой сын, — добавил Епископ.

— Вы ей сказали также, что Чако — ее брат?

— Нет, об этом не было еще речи. Всего нельзя сделать сразу... Да и вообще, если правду не просеивать, то получится не жизнь, а хаос. Согласно принципу неопределенности нельзя установить с точностью скорость движения частицы и ее положение в пространстве: либо одно истинно, а другое искажено... Либо наоборот: второе верно, а первое неточно. И с этим необходимо примириться. А между тем вы постоянно стремитесь к абсолютной и финальной правде. Тут противоречие, мой друг, противоречие.

— Бессмертие имеет ценность только как реальность. Поэтому стремление к последней реальности и есть приближение к бессмертию.

— Вы верите в бессмертие? — мельком осведомился Епископ.

— И да, и нет, и еще нечто третье. — внятно ответил Касьян.

— А в Бога верите?

— И да, и нет, и еще нечто третье.

— Такая вера утешает?

— Это гораздо больше, чем вы предполагаете. И во всяком случае отныне, простым отрицанием мы уже не можем ограничиться.

— Да благословит вас Господь, — с достоинством произнес Епископ и поднялся с неудобного табурета. — Если нам придется еще встретиться под новыми звездами, и не встретиться, и еще нечто третье, то, надеюсь, вы будете ко мне снисходительны, — он величественно проследовал к двери, распахнутой настежь и заливаемой сплошным солнечным ливнем.

Мастер так загляделся на этот золотой прямоугольник, весь пронизанный яркими стрелами, что когда там показалась Зора, он не сразу узнал ее: дымчатая тень, обернутая в желтые лучи, плыла по воздуху.

Опять ее глаза смеялись, но по светлому лицу катились слезы, мелкие и быстрые, точно живые. Лняные волосы падали на затылок свободно, однако в совершенном порядке. От нее веяло миром, райской поляною, где антилопа пасется рядом с тигром, цветущим садом, где плоды жизни зреют круглый год в изобилии.

— Мастер, — сказала, — дорогой Мастер, о чем нам беседовать в эти две минуты? Не о смерти же?

— Нет, — ответил он спеша, — совсем наоборот. Я никогда еще не верил так в свою жизнь, как сегодня. Сердце переполнено вами, и вечностью, и солнцем. Жалею бедного Сократа, который не имел моего опыта и вынужден был скучнейшим образом доказывать ту же теорему, только с другого конца. Все, что я знаю о добре, и свете, и любви, я знаю от вас. Вы мне это объяснили походя, произвольно. Я готовлюсь к внезапному прыжку в другую орбиту, как вдохновенный электрон, как обезьяна, ставшая вдруг человеком. Реальность это вы, я и еще нечто третье.

Рядом солдаты и даже фельдфебель, пришедший полюбоваться молодой девушкой, пялили рачьи глаза и неподвижно улыбались, как на старинных фотографиях (или на полотнах Руссо, Бомбуа). Осужденный старался их не замечать и продолжал ровным голосом:

— Зло мира теряет жало при одном упоминании того, кто стоит за вами. Я хочу умереть сегодня, потому что теперь я сильный и добрый. Я вижу свет, пропускаемый вами, вы его поглощаете и отражаете, свободно и щедро, необъяснимо и полно.

— Но ведь без вас никто об этом не догадается, — вскричала Зора. — Вы один видите все это... Я тоже хочу умереть.

— Ну нет, ну нет, фрейлина, — слышались дисканты и альты солдат, очевидно, понявшие речь девушки. Мешая языки и слова, они настаивали. — Нет, вы не должны так думать. Это большая ошибка. Фрейлин должна долго жить.

— И рожать детей, — добавил унтер-офицер: все засмеялись уже по-немецки.

— Апостолы посвящали встречных в тайну благодати, древние ученые, рискуя головой, сообщали посторонним о чудесном вращении земли. А меня подталкивает та же загадочная сила повторять всечасно о любви, о нашем счастье и бессмертии. Слава жизни, слава Творцу ее. Смерть всем старым и новым предрассудкам. Да здравствует последняя и решительная обратимость.

— Если бы вы остались жить, — не то спрашивала, не то

утверждала Зора, — мы бы имели право на обыкновенное человеческое счастье?! — в ее голосе звучали непривычные нотки. А глаза, песчаные, мокрые от слез, сияли.

— Не знаю. Мы прокладываем новую трассу, — отвечал Касьян, — новую магистраль к другим формам жизни и мысли. Предстоит отказаться от дряхлых расчетов, навыков и символов. Мы — орден современных трубадуров. И как они, мы должны выбросить из своих котомок много личного и лишнего хлама. Не знаю. Верю, что надо идти неведомым путем, изысняясь на незнакомом наречии или странными знаками. Иногда достаточно только изменить порядок следования, чтобы все нераскрытое содержание жизни выступило наружу. Во всяком случае в исконной борьбе за существование, в погоне за личным комфортом мы не должны больше участвовать. Теперь такое время, что если кто-нибудь, наконец, крикнет: "Довольно...", то многие, если не все, останутся.

Высокая, тоненькая и сильная Зора слушала, упрямо опустив светлое лицо. По каменному полу меж тяжелыми соломинками грузно и озабоченно полз огромный черный жук.

В распахнутых сияющих дверях снова выросла чопорная фигура Епископа в перчатках и серых гетрах. За ним, улыбаясь, следовал Лейтенант.

— Все не могу расстаться, — сказал Епископ, посмеиваясь. — Сентиментальная старость. — и другим тоном: — Я хлопочу у коменданта, чтобы вас увезли вместе с Катеринами. В конце концов вы можете пригодиться рейху не менее этих глупых баб, — последнюю фразу он произнес по-немецки, и Лейтенант хихикнул.

Мастер молчал, и Епископ, отстранив Зору от решетки, продолжал быстрым внятным шопотом:

— Мне 84 года. Могу утверждать, что всю жизнь я чувствовал себя вполне счастливым. Я не переставлял концы и начала, причины и следствия... Только, грешным делом, обижал баб, да и мужиков иной раз. И несмотря на это, я был всегда доволен и совесть меня не мучила, хотя я совсем не заботился о пресловутой свободе на микроскопическом уровне. Восемьдесят с лишним лет я прожил именно так, как мне

нравилось, и все творил зло. А теперь ни в чем не раскаиваюсь. Чем вы это объясните, профессор? Собственно, я для этого вернулся сюда на минутку, мне ужасно хочется знать ваш ответ, — слово "ужасно" он протянул капризно (кокетливо).

— Да, это интересно, — неохотно отозвался Мастер. — Вероятно, вы — чудовище. Это бывает.

Зора взглянула с гримасой на Касьяна и снова уставилась в покатый шероховатый пол, где поблескивал мокрой звездой только что раздавленный ею жук.

— Нынче много говорят о космосах, где антиматерия живет в антивремени, — с усилием продолжал Мастер (отворачиваясь от пятна на полу). — Вот вы похожи на такой изуродованный мир. Вся ваша жизнь была сплошным поеданием и перевариванием ценных продуктов. Вы уничтожили тонны сложного солнечного света, а производили только примитивный мусор.

— Вот, вот, — казалось, обрадовался Епископ. — Антиматерия, антиэнергия, антихрист. Но ведь это условное обозначение. Может быть, на самом деле вы — "анти", а я — настоящая, положительная система. Ведь не только я вас поедаю, но и вы разрушаете все близкое и дорогое мне.

— Нет, — подумав, решил Касьян. — Направление нам известно более или менее. Мы не знаем точно природы Бога, возможно, что он не Отец, а Мать, или и Отец и Мать... Может быть, Его одесная не противоположна шуйце. Но что Это — любовь и правда и свет, что Оно в ту сторону направлено, это мы знаем так же верно, как знали древние моряки о существовании огромного континента на запад от Гибралтара, — он перевел дыхание и спокойно добавил. — У вас, Епископ, все иное, все навыворот.

— Пожалуй, я — дьявол? — смакуя это имя, спросил Епископ и засмеялся, часовые в зеленых мундирах ему благодушно вторили.

— Нет, вы — не дьявол, — серьезно возразил осужденный. — Вы нечто плоское и бесполезное от самого начала. Дьявол был когда-то величайшим архангелом, один из ближайших слуг Господних. Вы же — пустая дыра в вакууме. Надо вы-

вернуть себе мозги наизнанку, чтобы понять хоть отчасти ваш механизм. Когда заполняют дырку в пустоте, вы превратитесь, наконец, в нуль. Вот предел вашей карьеры.

Епископ добродушно рассмеялся:

— Я очень рад, что вы сохраняете сократовский строй души в свои последние минуты. Признаться, я боялся, что перед смертью вы раскиснете и начнете каяться. По-видимому, в вас действительно течет благородная кровь.

Световой ливень захлестывал золотыми брызгами противоположную стену. За походным (складным) столиком офицер и фельдфебель играли в домино. Морща лоб, Зора сказала:

— Епископ, вы нам помешали, — она хотела продолжать, но сдержала себя (ее лицо вдруг покрылось голубоватым пеплом).

— Нет, только без поцелуя, — воскликнул Мастер, отпрянув. Епископ пожал плечами и, брезгливо морщась, побрел к солнечному пологу у дверей.

С розовой площади доносились летние голоса... Посвистывала какая-то нетерпеливая птица, стучали топоры и радостно завывали собаки, сообразив, что немцы готовятся к отъезду. (Действительно, солдаты начали запрягать лошадей и разворачивать машины.)

— Как мне дальше жить? — спросила Зора.

— Они убили Драго, — сказал Касьян. — Не унижайтесь перед врагом.

— А кто наш последний враг? — сказала она. — Я думаю, потом, вообще, когда немцев уже не будет?

Но ему не позволили ответить. В сарай вбежал мокрый от пота, блаженно улыбающийся писарь. Офицер, фельдфебель, солдаты виновато засуетились.

Зора протянула Мастеру обе руки, ей приказали удалиться.

XV

Солдат-цирюльник посовествовал заключенному переменить рубаху. Касьян прошел к зеркалу в дальний угол сарая,

где теперь расположились Катерины: в ярких платьях с праздничными лентами, они, подобно тропическим пернатым, возбужденно щебетали... Настроение у женщин было радужное. Они слышали от Лейтенанта, что их увозят в горы: немцам нужны хозяйки.

На площади ударили в набат, хрипло зарокотал барабан и послышались грубые выкрики. Катерина-маленькая быстро (словно змейка) поползла вверх по стене и уцепилась за оконную решетку.

— Народ сгоняют, — сообщила она, изгибаясь во всех направлениях. — Немцы заправляют машины у лавки Совы. Иоаким продает веревку у виселицы. Помост совсем кривой, — добросовестно докладывала девочка. Вдруг она проворно съехала вниз и юркнула за узлы.

В ярком пятне распахнутых дверей стоял о. Нектарий... Часовой, легко подталкивая старца, провел его к Мастеру. Священник, высокий, сухой, сутулясь дугою, с тонкой серебряистой мягкой бородою, походил на молодого месяца в небе. В длинной рясе, передвигаясь, он шатался на своих тощих ногах (точно на ходулях) и с трудом переводил дыхание. Говорить или произносить внятно слова молитвы было для него мучением и он только сосредоточенно что-то бормотал, благословляя заключенных.

Конвойный подвел его к столику, и о. Нектарий сразу начал там деловито распоряжаться: накрыл все белой салфеткой, разместил свои приборы, осведомился:

— В Бога веруешь, еретик?

Касьян подумал и, тщательно выбирая слова, объяснил:

— Когда я отвечаю: есть Бог... меня тотчас же охватывает сомнение, наружу выступают все темные, загадочные пятна бытия. Тогда я решаю сказать: нет Бога... и сразу вижу новые бесчисленные противоречия, неточности. И этот вариант оказывается неудовлетворительным. На ваш вопрос, батюшка, я вынужден ответить: и да, и нет, и еще нечто третье.

Священник, по-видимому, занят был всецело трудным делом дыхания, но взгляд у него был ясный и острый.

— Глухи духи, глухи духи, — пробормотал он знакомые уже Мастеру слова.

Потом опять спросил:

— В Святые Таинства веруешь?.. — и, не дожидаясь отклика, властно сунул Касьяну ложечку глубоко в раскрытый рот. Не мешкая, отпустил его и подозвал обеих Катерин.

Немцы укрادкою, как приглядываются к голым в бане, следили за уверенными и красивыми движениями иерарха, тихонько переговариваясь. Мастер восхищенно жмурился. В церкви его всегда поражало — невозможность, немыслимость ошибки. Лекарь, бывает, перепутает, повредит, не заметит симптома... Инженер забудет про винтик, переставит запятую в уравнении: очень важно, чтобы они все были умные, трезвые, ученые. Но служба священника всегда одинаково хороша и в основном удачна: для него личные заслуги даже помеха, ибо то, что он творит, не связано с талантом, техникой, сообразительностью.

"Тут утверждение подлинной свободы, спонтанной свободы", — повторял Касьян, блаженно улыбаясь. Он примостился на соломе, опять в том месте, где провел ночь (считая это уже своим домом), сзади, за балкою, он обнаружил грязную колоду карт, кем-то забытую (быть может, еще пленником предыдущей войны). Мастер рассеянно перебирал истрепанные, но все еще сверкающие нездешней прелестью картинки дам и кавалеров.

Это была колода таро: Касьян часто видел именно такие продолговатые карты в бескровных руках умирающей Анюты. Теперь он раскладывал всю колоду, играя, точно ребенок альбомом фотографий ему не ведомых родственников.

Впрочем, голубая дама определенно напоминала Зору верхом на Фауне. Мастер растроганно вертел в руках эту карту. Катерина-большая бесцеремонно под села к нему на солому и, взяв игру, начала цыганским голосом рассказывать:

— Деньги, Дубинки, Шпаги и Чаши... Рыцарь и путник... Арканы, двадцать два Аркана. Через них раскрывается бывшее и небывшее.

— Епископ — это Император, — плавно напевала цыганка.

Вечный Муж, которому Жена ответила "да" и все же осталась девственницей. Ибо его тянет еще в другой мир...

— Зора — Звезда. Обнаженная, она льет воду жизни и красоты на землю. Она предлагает всем безвозмездно дары бытия и духа. Через нсе надежда, и бессмертис, и внутренний свет. Это — истина без покрывала, и поэтому Император не может ее узреть. Великая мать, все вспоминающая и все прощающая.

— А последний Аркан — в образе Шута... Это, голубь мой, ты, — печально и сладостно шептала Катерина. — Шут, принц из другого царства, путешествует неузнаваемый по нашей долине. Солнце за твоей спиной, оно одно знает, откуда ты пришел, куда направляешься и какой дорогой опять вернешься сюда. Дух познания, ты стоишь над бездною с цветком в руках, готовый упасть, но ангел с острова Патмоса поддерживает тебя, диамантовый.

— Но вот Катерина моя, Императрица, — смущенно, скороговоркою, продолжала цыганка. — Зри... Дочь земли и неба. Она — плодоносный сад, эдем, мать рода человеческого. Через нее тыходишь на эту землю. Другие поведут тебя дальше, выше, но начало в ней, в моей девочке... Немцы нас берут с собою, — неожиданно и другим тоном закончила она, дожидаясь ответа. — Берут, а куда, неизвестно?

— Что ж, — уклончиво заметил Мастер, ему не хотелось отвечать. — Что ж, скоро милиция нагрянет и всех освободит.

— Да, освободит. Начнут бомбить, вот тебе будет свобода... А тебя повесят, что ли? — деловито осведомилась она.

— Кажется.

— Хочешь, погадаю, — великодушно предложила цыганка: так знаменитый скрипач не откажется сыграть обреченному трудную сонату, а проститутка согласится разделить с ним в последний раз ложе.

— Не надо. Я знаю свою судьбу, — добавил он, чтобы не обидеть добрую женщину.

— Пустое, сокол, — пропела она. — Никто позади себя не

видит. Епископ, умный барин, и то ко мне, бывало, ходил, — она стасовала обмусоленные, но вечно юные карты. — Сними, князь, — приказала. — Не так, от сердца сними, левой рукой.

Был конец июня, и солнце в этих местах, хотя уже припекало, но все еще несло с собою весеннюю свежесть. Сквозь горячий и сверкающий яркими красками световой ливень ощутимо то и дело проплывала волна ледяного горного воздуха. (И человек окунался одновременно во все противоположные соблазны четырех времен года.)

Над площадью стоял вековой запах садов и жилья, цветов, дегтя, лошадей и дыма. На крышах домов что-то сушилось и переливалось, блестело, в огородах стихийно созревали дыни и арбузы. Из разграбленных лавок веяло ванилью и кожей. С моста вниз вся долина выглядела сплошным парком, разбитым на правильные желто-лилово-розовые квадраты. Ягоды, фрукты, цветы, травы испускали на солнце свои сладострастные зрительно-обонятельные волны. От леса плыли облака уксуса или скипидара, птицы заполняли своим гомоном акустический мир. А далекие горы тоже посылали дань в виде бледно-серебристого отблеска. И небо, распахнув синие крылья, цепко удерживало всю эту земную прелесть, сковывая ее, предохраняя от гибели и распада.

Между тем немцы сгоняли народ к эшафоту. Солдаты были уже в касках, стянутые, застегнутые по-походному. Иоакимы молча выстраивались вокруг помоста, пахнувшего свежей стружкой, за ними, не напирая, поместились отары баб с детворой.

Было совершенно очевидно, что народ стоит здесь только потому, что так приказало начальство. Изредка какой-нибудь Иоаким внушительно заявлял:

— Немец, он все умест.

На что сосед с густой бородой сурово откликнулся:

— Это что и говорить.

— День-то какой, Господи Боже, — вздыхали бабы в платках.

— День, чтоб сено убирать, — решали шопотом в первом ряду.

— Такая благодать, что умирать зазорно, — уверял Иоаким (Турок).

— В мороз лучше, что ли?

— Когда австрийка вешали, мороз был знатный, — вспоминал Филолай, сплевывая под самый помост.

— Не дай Бог, коли мороз и вешают, — послышалось несколько голосов. Другие поддержали:

— Австрияк голый, срам.

— Да, это так.

— Понятное дело.

— А теперь что, солнышко, тепло, — решил Филолай, снова ожесточенно сплевывая.

— В такой день сено убирать полагается, — повторяли в первом ряду. Бабы только вздыхали.

Народ расступился, пропуская местных заправил: старосту, контролера, Кантемира (с повязанной щекой) и еще нескольких торговцев-ремесленников. Все шли, не упираясь: немцы приказали им встать — на виду, спереди.

Мужикам понравилось, что и богачей пригнали на площадь:

— Сюда, сюда, пожалуйста.

— В тени, значит, покойнее, — уверяли Иоакимы.

— На солнце не годится.

— Порядок, одним словом.

Баб оттеснили и они ругались. Слышалось: зеньки, пузо, кишки... и тому подобные замысловатые пожелания. Однако, без особой злости и с обязательным юмором. (Лица оставались серьезными, непроницаемыми.)

Солнце повисло над теменем, световой ливень низвергался отвесно и безмолвно. Кругом все стихло, на противоположном берегу деревья кланялись в одну сторону, но здесь ветра совсем не было. Станным образом с площади исчезли животные, птицы, даже насекомые. Только на заднем плане виднелись запряженные мелкие лошадки и ослики: они беззвучно и храбро размахивали хвостами, готовясь к походу.

В напряженной пустоте, будто африканские тамтамы, истошно ударили барабаны, и на розовую площадь вывели Ма-

стера Касьяна... В белой рубаше, со скрученными за спиною руками, он, казалось, подгибался под тяжестью ливня света и красок, низвергавшихся на землю. Время от времени жмурясь (или усмехаясь), он поднимал молодое бледное лицо вверх и удивленно (или восхищенно) разглядывал безмятежное небо с ликующим солнцем в зените... Там, дальше, внизу, над рекой, переливалась всеми цветами короткая толстая радуга: это распыленная вода над самым горным потоком чудесным образом преломляла солнце. ("Зора, Зора", — вспомнил он другое сияние.)

— Стой, стой, палач, — раздался вдруг срывающийся старческий крик.

То серебристый, согнутый дугою (похожий на полумесяц) о. Нектарий, качаясь на сухих ногах и размахивая посохом, бежал (все отставая от своего длинного туловища), спеша к осужденному. Лейтенант ему преградил путь, но он смело объяснил, что не успел давеча выполнить очень важную часть обряда и теперь должен исправить свою оплошность.

Офицер взглянул в сторону коменданта, но тот был занят обузданием Флоры, на которую впервые сел... И солдаты в косых касках (тех самых, что искривили Европу на несколько десятилетий) пропустили старца.

О. Нектарий прошествовал, как на ходулях, к помосту. (После исповеди Мастера священник забыл ему отпустить грехи... Так должен чувствовать себя хирург, забинтовавший рану, не промыв, не очистив ее предварительно.) Касьян с растерянной улыбкою ждал неровно, рывками плывущего к нему пастыря.

За кустарником, у реки, виднелась стая собак во главе со знакомым безрассудным бульдогом; свирепый пес добродушно скалил клыки и, казалось, внушал:

— Беги. Возьми с меня пример. И с лягушки в сметане. Или хотя бы перекуси горло одному врагу.

— Тут дело не только во мне, — отвечал ему Касьян. — Наша жизнь сложнее...

Но пес уже потерял интерес к горожанину и отвернулся. И опять Касьян поднимает к солнцу лицо; жмурясь, он старается навеки запечатлеть эту земную прелесть неба.

Наконец, о. Нектарий взобрался на деревянный настил, а комендант верхом на украденной Флоре взмахнул плеткою и что-то рывкнул... Но в это самое мгновение одно непредвиденное обстоятельство совершенно изменило дальнейший ход событий. Вдруг послышался нарастающий шум (похожий на потрескивание бормашины дантиста) и поверх виселицы с палачом и осужденным, поверх Иоакимов и немцев, поверх баб и детей болезненно прожужжал устарелый военный самолет. Описав неровный круг и качнув крылом, он стремительно развернулся и, торжествуя клюнув носом, покрыл всю площадь по диагонали спасительной, целебной пулеметной очередью. Опять крутой поворот на одном крыле, бреющий полет над самой головой и новый свинцовый поток.

Немцы, точно давно этого дожидаясь, теперь дружно (даже с чувством облегчения) ринулись к своим машинам, повозкам, лошадям. Через минуту без музыки и речей вся колонна уже мчалась к скалистым воротам, ведущим из долины — нахлестывая коней и давая лишний газ. Обе Катерины, как букет цветов, покачивались на двуколке с намалеванным красным крестом.

На розовой опустошенной площади одиноко возвышался деревянный настил, и там почти рядом лежали Мастер Касьян с о. Нектарием: первый — лицом вверх, все еще любуясь земным небом, а священник — уткнувшись в сосновые доски своей мягкой лунной бородой.

Самолет, исчерпав все боеприпасы, повернул на юг и растаял в бледной синеве. Шум колонны, как только немцы втянулись в ущелье, тоже сразу смолк. арьергард дал еще один последний залп, потом провалился сквозь землю или сквозь скалы.

Иоакимы, Анны осторожно высовывались из своих вековых укрытий и ям. В пустом трактире опять мирно зажужжали мухи, радостно звякнула полупустая бутылка.

— Наши, должно быть, близко, — заметил Филолай, пробуя оставленную немцами недопитую сливовицу.

— Освободили, стало быть, — решил Иоаким Турок.

— Теперь хоронить придется, — шептали, вздыхали бабы.

Мужики с ними не вступали в спор; только после новой рюмки сливовицы и чашки кофе — ароматное и расплавленное, оно уже шло по кругу — только подкрепившись и закулив, Иоакимы сумрачно заспорили:

— Как хоронить, когда поп мертвый?

— Ты, что ли, похоронишь? — наседали они друг на друга, не замечая воя баб.

— Поп хоронит, а кто попу хоронит?

— Известное дело.

— Цыгана похоронить можно и так, — сказал стражник Таракан, впрочем, не совсем уверенно.

— Цыгана можно, это что, — как будто соглашались мужики. — И профессор нам не брат.

— А закон как? — осведомлялся сердито Иоаким Турок. — Не по закону трогать мертвое тело. Он — профессор, понимать надо.

— Властей ждать, — решил Староста Сова, — обязательно властей.

— Может, они своего попу привезут.

— Да, жди. Город, он тебе задаст попу.

— Нет больше попов, — объяснял Филолай. — Новая власть землю обещает, а не кадило.

— Даст землю, а урожай отберет, — заметил контролер Пеликан, ослабившись.

— Нам все одно спину гнуть.

— Ничего, обротаем, — заявил Филолай.

Мужики уже сидели за деревянным столом снаружи гостиной, а бабы обносили всех своим раскаленным ароматным кофе в маленьких чашечках.

Над площадью медленно (взад и вперед) пронеслось дуновение ветра: подняло, закружило пыль, мусор, солому. Из оврагов выглянули собаки, защебетали птички в огороде и аист жеманно опустился у самого фонтана. Детвора робко пробежала по кругу, пугливо озираясь на пустую виселицу.

На мосту, пустынном и всеми оставленном, показалась стройная фигура девушки: она легко и бесшумно прошла навстречу солнцу, жмурясь и улыбаясь. Мужики беспокойно за-

ерзали, задвигались, некоторые поспешно скрылись в трактире.

Девушка взобралась на помост и стояла там спиной к Иоакимам, стройная, светлая.

— Горь-то какое, — привычно шептали бабы, жадно следя за Зорю.

Через минуту она опустилась на колени и тронула рукой своего жениха, тут произошло нечто чудесное: Мастер Касьян вдруг приподнялся и сел. Протирая глаза, он удивленно оглядывался по сторонам, словно силясь что-то вспомнить (рубашка его была в светло-розовой крови).

— Жив, что ли? — крикнул Таракан. Кругом дружно загудели:

— Это что и говорить. Первостатейное дело. Зачем ему умирать.

— Остроумный человек, — решил Филолай.

— Профессор, одним словом.

— А попа срезало, — сердито заметил Иоаким Турок.

— Стар был священник.

— Стар, а грехи отпускал, — настаивал Турок.

— Вот, освободили, — тихо жаловались бабы, а к приближающейся Зоре любезно: — Кофейку нашего, подкрепиться?

Мужики поднялись навстречу, улыбаясь с натугою. Зора отказалась от кофе:

— Хочу Мастера перенести в гостиницу, его надо в город, в лазарет везти, — сказала она раздельно, как говорят с детьми.

— Это можно, — откликнулись разные голоса. — Очень просто.

— Ясное дело. Положить к Кантемиру, а потом в город.

— Лошадка враз дотянет.

— А тут на руках снесем. Такому человеку услужить не грех.

— В самый раз, поднять и к Кантемиру.

Зора стояла и слушала их с доверчивым вниманием, так что Филолаю пришлось наконец вмешаться и прикрикнуть на Иоакимов:

— Будет зря болтать. Давай, что ли, вмиг снесем.

И мужики тяжело проследовали к помосту и без лишних

речей осторожно подняли Мастера (он был водянисто-бледен и жалобно стонал).

Кантемир уступил свою лучшую кровать, и раненого положили в просторной комнате внизу. Зора молча смотрела, как бабы разоблачали Касьяна и перевязывали рану — спереди, у плеча.

— Прятать надо, вот что, — сказал вдруг Филолай.

— Отберут теперь самые потроха, — подтвердил Иоаким Турок. — Милиция.

— Ох, горе мое, лихо, — причитали бабы, бросаясь в сени.

И, точно оправдывая их древний плач, где-то далеко, в горах, послышался стремительный грохот взрыва: звук казался смягченным многими преградами, но все же впечатление осталось, будто вулканическая, яростная стихия пришла в движение и сразу исчерпала себя. Впрочем, вслед за этим еще несколько раз гроыхнуло и прогудело, словно от весеннего обвала.

Мужики сосредоточенно курили трубки, изредка прихлебывая кофе (сливовицу бабы убрали). На площади снова все притаилось: дети, звери, птицы, насекомые мгновенно исчезли, точно покинули этот берег.

Между тем земля успела уже на три четверти отвернуться от солнца, и тени подлиннее начали подбираться к подножию виселицы; световой ливень заметно ослабевал, только фонтан по-прежнему купался в сплошном сиянии.

Вот со стороны ворот в долину послышалось веселое, удалое пение... Оно разрасталось, разливалось, подкрепляемое дружным шагом марширующих солдат (как поток, подпираемый плотиною).

— Мать Божия.

— Святой угодник Касьян, — раздавались бабьи вскрики и взвизги: они узнали родную песню и, раскрасневшись, охорашивались.

На площадь из ущелья высунулась голова колонны бодро шагающих пехотинцев. Скаля зубы, молодые солдаты гордо промаршировали мимо Иоакимов и встали развернутым фронтом против казенного здания.

— Наши, вот умереть, коли не наши. — восторженно шептали бабы, поправляя косынки и шали.

— А вы турка ждали, что ли? — ругались степенные обыватели. — Тоже, дуры, обрадовались. Дай срок, завоеешь.

— Как ружье-то держит, — не без горечи отметил Иоаким Табак. — Словно палку на спине тащит, — он служил еще под австрийским императором и критиковал современные порядки.

Староста, контролер и стражник встретили отряд у крыльца Управы. Запыленный безусый лейтенантик взволнованно доложил:

— Немцев обязательно догонят. Три отряда кинули вдогонку: кавалерия, артиллерия. Капут им, теперь не уйдут в горы, — всей своей рожей он напоминал местных Иоакимов, только без бороды и без этой хитрой сарматской осторожности. — Немец взорвал проход, но мы откопаем его, как есть перебьем. Будьте спокойны, граждане. Только пока вы должны тут приютить милицию, — так закончил пылкий офицерик.

— Это что ж, приютить в самый раз, — привычным образом загудели Иоакимы.

— Приютить, это очень просто.

— Ежели милицию не приютить...

— Ясное дело.

— Приютить, — повторяли на все лады угрюмые бородачи.

Эй, бабы, слышали небось, приютить сказано. Шевели, баба, ляжками, и точка.

Им, очевидно, понравилось это словечко и они придавали ему разные оттенки: одобрения, насмешки, угрозы, даже духовного подвига. Впрочем, Филолай тут же не преминул закрепить (точно печатью) все эти пустые разговоры своим веши́м:

— Ничего, обротаем.

ЭПИЛОГ (и ПРЕДИСЛОВИЕ)

Епископ умер в ужасных мучениях — от рака. Феликс перекочевал в Загреб, где он заведовал школой лесничества (глухонемая вела его маленькое хозяйство).

Чако погиб на окраинах Будапешта во время восстания, ринувшись в конном строю на советский танк.

В старое село с розовой площадью провели электричество и даже узкоколейку. Там теперь строят техническое училище и родильный приют. Иоакимы пытались сжечь замок, но правительство отстояло белый дом, строго наказав громил. Качество местной сливовицы за последние годы неизменно ухудшается.

Все другие отрасли сельского хозяйства в долине тоже оскудевают и приходят в упадок. Зато добыча экспортного мрамора разрастается, и Иоакимы без усталости работают в карьере, выполняя госплан.

Филолай заметно постарел, он по-прежнему ездит в районный центр на лошадке; в приятной компании за кружкой браги неуклонно повторяет:

— Ничего, обротаем.

Катерина-маленькая, одна, чудом уцелела в горах и вернулась в родное село; там на св. Кассиана ее увидал богатый купец и увез в Истамбул.

Мастер Касьян, благодаря заботам Зоры, вскоре поправился, рана совершенно зажила, но ему пришлось отказаться от табака (что на первых порах — изводило). Новобрачные поселились в Женеве, где они принимали участие в работах "Мирового Союза Мира". Однако, припадки жены начали учащаться, и ей угрожал полный паралич. Тогда Касьян принял выгодное предложение американского научного учреждения, и чета перебралась в Нью-Йорк, где, по мнению врачей, новейшие препараты и лазеры исцеляют болезни такого порядка (но это оказалось ложью).

После смерти Зоры Касьянов вернулся в Европу. Известно, что нью-йоркский банк несколько раз переводил ему деньги в Грецию, на остров Патмос. Там его след окончательно теряется.

У соседки Касьянова (темной, сухой, похожей на галку девицы) остался невостребованный чемодан с его рукописями и дневниками... По этим отрывкам и статьям удалось без труда восстановить в значительной мере прошлое Касьяна. Длинная полоса времени между Второй частью этой книги и Первой была заполнена главным образом его философскими и математическими исследованиями, отнюдь не интересными для рядового читателя.

Конец

*Редакция "Нового Журнала", его друзья и
сотрудники сердечно поздравляют
ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ ШАХОВСКУЮ
с девяностолетием
и от всей души желают многих плодотворных
лет жизни, здоровья, творческих удач
во благо нашей культуры.*

Ирина Грэм

ОМУТ

С тех пор как ее дочь сделалась главой семьи, Ольга Андреевна перебралась на кухню. У них была только одна комната, и Ксения принимала в ней своих покровителей. В углу кухни висела икона Казанской Божьей Матери, на стене фотография гусаров за столом военного собрания. Среди них сидел корнет Тарновский, покойный муж Ольги Андреевны и, возможно, отец Ксении. За плитой, на узкой постели, были разложены куклы: Ольга Андреевна брала их в починку, чтобы на заработанные гроши поставить свечку в церкви и купить поношенную одежду; из-за ее чрезмерной полноты платья Ксении были ей не впору.

Глядя на неуклюжую фигуру матери, ее выцветшие глаза и полуседыые еле причесанные волосы, Ксения не представляла себе, что эта сырая старуха с выражением испуга или робости на лице когда-то была петербургской "форелью", плававшей в бассейне, полном шампанского, на пирушках гвардейских повес. Ксения слышала о прошлом "Лили", как она называла мать, от соучениц, дочерей бывших петербурженков. В детстве она стыдилась матери, поняв, отчего к ней так часто приходит немолодой японец, Ямамото-сан; Лили ездила с ним ужинать и возвращалась ночью. Но выросши, Ксения не судила мать.

"Наверное, Лили тоже ненавидела бедность, — размышляла она. — Что ей было делать? Стать швейкой или бонной? Дураки говорят о честном куске хлеба, но на жалованье не купишь ни мехов, ни бриллиантов, это я по себе знаю. Что ж, Лили пожила в свое удовольствие. И мой отец, великий князь, был красавец".

Ксения считала себя его дочерью, найдя фотографию великого князя среди сувениров Ольги Андреевны. Она еле по-

мнила корнета Тарновского, убитого в боях под Иркутском. После этих боев чешские военные эшелоны вывезли жен офицеров Белой Армии в Китай, и Ольга Андреевна с пятилетней Ксенией обосновалась в Шанхае. Там она встретила Ямамото-сан.

После его отъезда на родину она поблекла, состарилась и, прожив свои сбережения, пошла по низам жизни, работая санитаркой в больнице и убирая по ночам конторы, пока ее не замучил ревматизм. Теперь она вела хозяйство: делала покупки на рынке, стряпала, смахивала пыль. Она не удерживала дочь от соблазнов, да и как можно было ее удержать, если Ксения знала о прошлом матери и не находила его зазорным. Поэтому Ольга Андреевна не спрашивала Ксению, зачем к ней приходят мужчины и она берет от них деньги и подарки. Никто из ее покровителей не предлагал Ксении замужество, и она часто меняла их в надежде встретить богача, и если не женить его на себе, то обобрать.

"Господь милостив, и Ксаночка выйдет замуж", — думала Ольга Андреевна, сознательно забыв о том, что корнет Тарновский был адъютантом Его Высочества, и тот, желая отделаться от наскучившей ему форели, женил на ней Толю, заплатив его громадный картонный долг.

Как сквозь сон, Ольга Андреевна помнила Петербург своей юности, толпы, гуляющие по Невскому, витрины, сверкавшие ожерельями, парюрами и парижскими модами, разодетых дам, смеющихся с экипажей и ландо, прячущих лица от ветра в собольи муфты, швейцаров с булавой у подъездов "Контана" и "Донона", и сквозь ропот толпы, храп рысаков, цоканье копыт по торцам и окрики лихачей звенели шпоры гусаров, драгун, кавалергардов, — волшебный, дразнящий звон. И победоносные гвардейцы, и штатские хлыщи заглядывали ей под шляпку, отпуская любезности. Она ходила в ветхом бурнусике и стоптанных башмаках: ее мать умерла, отец пил мертвую. Она была легкомысленна, красива, глупа и мечтала о роскоши. Судьбу ее решила встреча с конногвардейцем и вслед за ней карьера "форели".

После убогой жизни с вечно пьяным отцом ее ошеломило непрерывное веселье: гонки на тройках в снежную метель, ку-

тежи в отдельных кабинетах, покупки всего, что ей нравилось. Никто ее не обижал: тонко воспитанные, гвардейцы были галантны даже с потерянными женщинами. Самый бешеный разгул не переходил у них в безобразие, а щедрость не имела границ; они были ловки в своих шитых золотом ментиках, породисты; в каждого можно было влюбиться.

"Даже Его Высочество был не так уж дурен лицом, — думала она. — Он рано оплешивел и чуть-чуть косил, но разве можно его сравнить с кавалерами Ксаночки?"

В силу привычки Ольга Андреевна машинально оглядывала ноги посетителей дочери, отыскивая на них шпоры. В противоположность гвардейцам ее молодости гости Ксении сидели развалясь, курили, не спросив разрешения дам, и не целовали им руки. И она с грустью смотрела на красавицу-дочь, окруженную дурным обществом. Почему-то Ксения вообразила, будто отцом ее был великий князь Дмитрий Павлович, хотя Ольга Андреевна даже не была с ним знакома, а фотографию его, так пленившую Ксению, приобрела, как-то покупая фотографии царской семьи. Ксения уродилась в свою внучатую тетку, но Ольга Андреевна не опровергала вымысел дочери, как и придуманный ею для себя графский титул, зная, что Ксения наслушалась сплетен школьниц и видела, как в церкви незнакомые дамы косо смотрят на мать. Ольга Андреевна старалась не замечать этих взглядов: бедность была ее единственным грехом; будь она богата, никто бы на нее не косился. Жизнь давно ее обезличила, и она лишь мечтала о счастье дочери, несмотря на повседневную действительность: угол в кухне, где она ютилась, настроения Ксении и мистера ван Бюрен, от кого зависели эти настроения. Ольга Андреевна не терпела последнего покровителя Ксении, громогласного толстого голландца, похожего на ошипанного каплуна. Шутник и весельчак, он смеялся преимущественно своим шуткам, а отсмеявшись, хлопал Ксению по спине.

— Как вы смеете! — вспыхивала она. — Я не голландская горничная, чтобы вы меня колотили по спине!

— Ах, извините, графиня, — продолжал хохотать ван Бюрен. — Я забыл, что все русские девицы — или графини, или дочери генералов.

В ответ Ксения презрительно пожимала плечами.

"Нужно с ним развязаться, — думала она. — Правда, он купил мне бриллиантовое кольцо и золотой браслет, но до сих пор не заикнулся о разводе".

Чтобы прикрыть свои похождения, Ксения служила телефонисткой и, окончив работу, отправлялась в фойе отеля "Палас", где усаживалась возле громадного окна, выходившего на Нанкин род, главную улицу Шанхая, и заказывала чай. Красота ее, изящество и неприступный вид останавливали внимание мужчин. Иные подходили к ней и спрашивали, не встречались ли они во французском клубе, на курорте в Японии или на пароходе, совершавшем кругосветное плавание. Ответы ее были холодны, но все же разговор завязывался. Беглые знакомства часто ни к чему не приводили; если новый встречный ерзал на стуле, когда Ксении подавали коктейль из шампанского, то она выбрасывала незадачливого кавалера, как мелкую рыбешку, обратно в поток Нанкин род. Но порой пойманный на крючок приглашал ее в дорогой ресторан или ночной клуб и не впадал в панику при виде бутылки Вдовы Клико.

Однажды по дороге в отель "Палас" она увидела, как из лимузина, подъехавшего к входу Английского клуба, вышел не первой молодости плотный человек в серых фланелевых брюках и коричневом твидовом пиджаке. Так обычно одевались англичане, и лимузин был английской марки "Дэймлер". Поравнявшись с ним, Ксения уронила заранее открытую сумочку, и все ее содержимое посыпалось на тротуар.

— О! Какая досада! — воскликнул англичанин и стал вместе с Ксенией подбирать рассыпанные вещички.

— Ах, благодарю вас, как вы добры, — лепетала она. — Вот моя пудреница, кошелек, записная книжка... но где мой ключ? Я его не вижу!

— Я не могу пригласить вас в клуб, — сняв шляпу и улыбаясь, заговорил англичанин. — Дамы бывают в этом клубе только один раз в году, но не выпьете ли вы со мной чашку чая в "Паласе"? Я скажу швейцару клуба, чтобы он искал ваш ключ. Мое имя Роджер Маллори.

Ксения опешила. Это был владелец пароходства, извест-

ный всему деловому Шанхаю. И, судя по газетной светской хронике, он был холост. Решение было принято мгновенно.

— Нет, благодарю вас, — сказала она, очаровательно улыбаясь. — Моя мама откроет мне дверь. Да, я живу с мамой, графиней Тарновской. Нет, нет, меня не нужно подвозить домой. Может быть, в другой раз. Вы говорите, завтра? Хорошо, завтра, если меня не задержит служба. Да, я служу в конторе недвижимости Райли. До свиданья, мистер Маллори, и еще раз спасибо.

Очень довольный, он вошел в клуб. Обдумывая происшествие, Ксения остановилась на перекрестке.

— Вы ждете такси? — раздался голос позади.

"Еще один! И, судя по выговору, тоже англичанин", — решила она, оборачиваясь.

Он оказался невысоким, худощавым, с усами, подстриженными щеткой, поношенном костюме для гольфа. Ксении не хотелось брать рикшу и она рассеянно села в такси вместе со случайным попутчиком. Он назвался Брюсом Фергюсоном.

— Вы англичанин?

— Нет, я шотландец! А вы, конечно, русская? Вот как, графиня Тарновская! Не выпить ли нам по коктейлю? Я живу поблизости. Вы не можете? Как жаль! Я показал бы вам мои гравюры. Может быть, вы замужем? Нет? Тогда за чем же дело стало? Вы не раскаетесь!

Он смеялся и засматривал ей в глаза, но смех его был невеселый, а двусмысленности принужденными. Она отвечала ему сухо, без улыбки. На что ей этот пошляк в потертом костюме? И прервала разговор, когда такси повернуло на французскую концессию.

— Я живу в этом доме, — сказала она. — Благодарю вас.

Выйдя из такси, она подала ему руку, но он схватил ее за плечи и запрокинул ей голову. Поцелуй его был грубым, непристойным и лишенным всякого чувства, кроме желания показать, что он не верит в ее порядочность. Через мгновение он оттолкнул ее, вскочил в такси и отъехал. Пораженная, она неподвижно стояла на тротуаре.

— Какая наглость! — проговорила она вслух. — Но все же...

И встряхнув растрепавшимися волосами, поднялась на крыльцо.

* * *

Ольга Андреевна обрадовалась, когда дочь порвала с ван Бюреном; Ксения устроила ему сцену, потребовав, чтобы он развелся с женой, и тот наотрез отказался от ультиматума. Вскоре Ксения познакомила Ольгу Андреевну с почтенного вида англичанином, мистером Маллори, явившимся с букетом цветов. Ксения, немного подражавшая надменно-фатальному стилю Марлен Дитрих, поняла, что образ сирены не может увлечь нового поклонника; поэтому в его присутствии она держалась светской барышней и была очень ласкова с Ольгой Андреевной, благодарной и за притворную нежность дочери. Когда Ксения поднимала на Маллори свои темно-синие с поволокой глаза, этот загадочный взгляд молодой змеи как бы говорил кролику в твидовом пиджаке:

— Посмотри, как я хороша, кролик! Я могу быть твоей. Женись на мне! Женись на мне, кролик!

Она скопила достаточно денег, чтобы не нуждаться некоторое время в покровителе и почти ежедневно виделась с Маллори. Но иногда, вернувшись после танцев или ужина, с сердцем сбрасывала туфли и взрывалась:

— Черт бы подрал этого осла! До чего мне надоело играть в добродетельную невинность! Он молчит, словно в рот воды набрал! Я только время с ним теряю!

— Имей терпение, деточка, — пробовала успокоить ее гнев Ольга Андреевна. — Мистер Маллори серьезный человек и настоящий джентльмен.

— Много ты понимаешь в джентльменах, — фыркала Ксения. — Мы не в Петербурге, а в Шанхае.

Но после одного свидания с Маллори, она, вбежав домой, закричала:

— Ну, кажется, дело в шляпе! Он пригласил меня познакомиться с его мамашей! Вот тебе доллар, пойдешь в церковь и поставишь свечку!

Ольга Андреевна перекрестилась на икону Казанской Бо-

гоматери. Слава Богу! Наконец-то Ксаночка встретила достойного человека. Она не только выйдет замуж, но сделает блестящую партию. "Царица Небесная услышала мои молитвы", — и она опять перекрестилась на образ, которым ее благословила в Петербурге посаженная мать.

Ксения редко откровенничала с Ольгой Андреевной, но подробно описала свое посещение Маллори:

— У него шикарный особняк. Везде дивные ковры, вся мебель привезена из Англии. Повсюду серебро, хрусталь, китайские вазы, безделушки. Денег у него, Лиля, куры не клюют. О чем мы говорили? О фильмах, о спорте, о всякой чепухе. Старуха очень тонная. Она пригласила меня встречать с ними Новый Год, а потом поехать с ними в маскарад. Как мне одеться, по-твоему? Нет, не Коломбиной, это старомодно. Маркизой? Слишком дорого. А, знаю! Я оденусь маленьким лордом Фаунтлероем! Ты мне сошьешь черный бархатный костюмчик, кружевной воротник и манжеты у меня есть, а волосы я уберу в локоны. Это будет чудно!

С того дня настроение Ксении поправилось. Если Маллори был вечером занят, то она оставалась дома, помогая Ольге Андреевне шить маскарадный костюм. Цель была почти достигнута; обе они были спокойны, полны надежд, строили планы и обсуждали: можно ли Ксении венчаться в церкви, надев фату и флер д'оранж? Поэтому Ольга Андреевна растерялась, когда за день до встречи Нового Года дочь привела с собой незнакомого человека.

— Моя мать, — сказала она ему. — Лиля, это Брюс Фергусон.

Он вошел в комнату Ксении, а она, засмеявшись над испуганным лицом матери, достала из шкафчика бутылку виски и исчезла, захлопнув за собою дверь. Тотчас же раздался смех и танцевальная музыка из радио. Зловещее предчувствие охватило Ольгу Андреевну. Кто этот человек? Зачем он здесь? У него наглый и заносчивый вид. Что от него нужно Ксении? Деньги? Но у нее еще есть запас! Неужели она поссорилась с Маллори?

— Матерь Божия, Матерь Божия, — про себя шептала она, устремив взгляд на икону.

Но гость пробыл недолго, и Ольга Андреевна с возрастающей тревогой смотрела, как он прощается с Ксенией.

Обещайте! Обещайте! — повторял он, держа ее за обе руки.

Нет, нет, нет, — смеялась она, качая головой. — Это никак невозможно.

— Я буду вас ждать. Я буду вас ждать всю ночь.

Он вышел, едва поклонившись Ольге Андреевне. Из окна она увидела, как он сел в маленький, очень потрепанный двухместный автомобиль, похожий на дрожки. Ксения послала новому знакомому воздушный поцелуй.

— Что ты на меня уставилась? — сердито спросила она.

— Деточка моя, Ксаночка, — залепетала Ольга Андреевна. — Зачем он тебе? Завтра встреча Нового Года... мистер Маллори... он так в тебя влюблен...

— Поцелуйся с ним, — отрезала Ксения. — Мне весело! Тебе тоже было весело в Петербурге!

Ольга Андреевна умолкла, не осмелившись спорить, и склонилась над шитьем. Ее дочь, ее безрассудный ребенок, навлекает на себя страшное несчастье. Ей грозит беда, неминуемая беда. И от нее не спастись. Время остановилось в маленькой комнате. Игла мелькала в пальцах Ольги Андреевны, не говорившей ни слова. Растянувшись на диване, Ксения курила и улыбалась своим размышлениям. Она пригласила Брюса к себе, потому что он узнал ее телефон в книжке, позвонил и поздравил с Новым Годом.

Конечно, это минутная прихоть, но чем все же Брюс Фергюсон вызвал ее любопытство? Наглостью? Или своим странным смехом? Этот смех не вязался с его циничным и развязным тоном. Танцую с ним, она почувствовала себя покорной в его руках. Он был не выше ее ростом, и его небольшие зеленовато-карие глаза, блестящие, как глаза шотландского терьера, приходились на уровне ее глаз. Он поцеловал ее в шею, и у нее закружилась голова. Почему? Как возможно это головокружение после всех мужчин в ее жизни и полного равнодушия к их ласкам?

Но неожиданный каприз не помешал ее планам: когда она появилась в доме Маллори, одетая маленьким лордом Фаунт-

лероем, ее мальчишеская внешность произвела впечатление и на хозяина дома, и на гостей. Даже британская сдержанность и флегма не скрыла интерес в глазах мужчин. Мать Маллори оделась цыганкой, а он нарядился в опереточный военный мундир — красная куртка, аксельбанты, эполеты, кивер и белые лосины, сделавшие его ляжки похожими на громадные колбасы.

— Маленький лорд Фаунтлерой, ах, как это мило, — произнесла миссис Маллори, пожимая кончики пальцев Ксении.

Китайская прислуга в красных шелковых курмах поверх белых халатов предлагала коктейли. Для всех были приготовлены подарки; Ксения получила плюшевую таксу и разлилась, но, не подав виду, гладила игрушку и мурлыкала ей что-то на детском языке.

— Пойдемте, малютка, — сказал Маллори, смеясь. — Обед подан.

Малютка! Этот болван скоро увидит, что она за малютка! Он подарит ей бриллианты, соболя и парижские модели. Может быть, следующий Новый Год она будет встречать в Лондоне. Или в Париже, и ослепит парижан своим блеском.

Обед состоял из семи блюд; среди них подавали традиционную для праздников индейку с каштанами и жареными колбасками, пуддинг, облитый ромом и зажженный. Ксения почти не принимала участия в разговоре, чувствуя себя чужой в этом обществе англичан, казавшихся ей снобами, снисходившими до нее с видом превосходства. Когда мужчины остались за столом пить портвейн, а дамы удалились в гостиную, она не могла присоединиться к их болтовне: она жила в ином мире.

— Мы должны пригласить Керри, — слышала она. — Сэр Виктор... лэди Мэйз... доктор Анна Вольтер Фирн...

Ксения молчала, теребя плюшевую таксу и ненавидела англичанок.

— Скажите, очень ли холодно в Сибири? — обратилась к ней дама в венецианской баутте, треуголке на седом парике и с моноклем в глазу.

Чтобы побороть неловкость, Ксения выпила много шам-

панского. Маллори был чуть-чуть навеселе: его обычно светло-красное лицо побагровело, глаза сузились.

— Малютка, вы прелестны, — пробормотал он, наливая ей рюмку ликера.

После кофе все поехали в британский загородный клуб, замкнутый и доступный только для "тайпанов" с высоким положением. Лимузины подплывали к подъезду, принимавшему масок. Клуб был освещен внутри разноцветными фонариками, в углу вестибюля горела огромная елка. На пути в гардеробную Ксения поймала восклицания о своем костюме:

— Алло, Фаунтлерой! Браво!

— Как она оригинальна! Кто она?

Маллори, по-видимому, ликовал; гости его усаживались за длинный стол, прислуга откупоривала бутылки шампанского. Из зала послышалась бразильская "Кариока" с ее шальным, рвущимся ритмом, и Маллори пригласил ее танцевать. Пары вокруг поворачивались, обняв друг друга, ступали, отступали, качались на овале паркета. Маллори подпевал музыке, и его ладонь, лежавшая на спине Ксении, давила ее, как утюг. Почти все были в маскарадных костюмах: человек в трико, опоясанный тигровой шкурой, потрясал дубинкой, изображая Тарзана; другой, тощий и голенастый, наряженный в пачки балерины, под общий смех выделял пируэты; лошадинообразная блондинка в малиновом индийском сари отплясывала чечетку, а толстяк, одетый в длинное платье младенца, в чепчике с голубыми лентами, ожесточенно канканировал. Новогодняя клоунада свойственна англичанам, и они веселились от всей души, как дети, производя страшный шум.

Внезапно голос из рупора, покрывая все звуки, провозгласил:

— Без трех секунд двенадцать часов! С Новым Годом! За здоровье короля!

Оркестр грянул английский национальный гимн, мужчины стали "смирно", дамы склонили головы, а потом все прокричали:

— Король Георг Пятый! Король Георг Пятый!

Все пили и чокались; Маллори поцеловал Ксению в обе щеки, как и его мать, назвавшая Ксению "милой девочкой". Она чокалась со всеми, смеялась, когда смеялись другие, не понимая, чему они смеются, и опять танцевала с Маллори.

— Твое лицо я вижу в каждой розе, — бубнил он ей в ухо слова фокстротной песенки. — Твои глаза среди небесных звезд... Вам весело, малютка?

От визга дудок и свистулек, выстрелов хлопущек, грохота трещоток, несмолкаемого гвалта, музыки и выпитого шампанского, Ксения потеряла над собою контроль. Ей вдруг надоел Маллори; ей захотелось выкинуть какую-нибудь необыкновенную штуку, смелую, дикую, дерзкую, озорную, напроказить, как девчонке, и посмотреть, что из этого получится.

— Ведь меня ждет этот маленький шотландец, — вспомнила она. — Он сказал, что будет ждать меня всю ночь.

Это мысль! Как он удивится! Она войдет к нему со смехом и осчастливит его своим появлением. Это будет и неожиданно, и смешно.

Музыка остановилась, и Маллори, лавируя между танцующими, привел ее к столу. Прикосновение его руки было ей противно даже сквозь бархатную курточку Фаунтлероя.

— Извините меня, я должна уехать, — обратилась она к миссис Маллори. — У меня разболелась голова.

— О, о, — всполошилась старушка. — Какая жалость! Роджер, достань для нее сейчас же аспирина.

— Нет, нет, — отказывалась Ксения. — Лучше я поеду домой. Мне очень дурно.

— Бедная малютка, — сожалел Маллори. — Я вас провожу.

Последовал спор: Маллори и старушка настаивали на проходах, а Ксения твердила, что ее прекрасно довезет такси.

— Не такси, а мой шофер, — сказал Маллори.

Прощанье со старушкой и с гостями. Мимо, мимо, через зал, полный танцующих и дурачащихся масок. Вертящаяся дверь подъезда.

— До свиданья, мистер Маллори! Благодарю вас за прекрасный вечер!

— До свиданья, малютка! Я завтра позвоню вам по телефону, и мы поедем завтракать. Тунг! Вези мисси домой.

Свобода! Свобода! Скорее, Тунг! Нет, Тунг, не Яфи лу, а тысяча двести Бабблинг Велл лу. Ха-ха! "Твое лицо я вижу в каждой розе..." Ну, и дальше что? Он влюблен без памяти, и она скоро станет миссис Маллори, какая скука! Тунг, Тунг, остановись! Это здесь! Оксфорд Террас!

Заспанный грязноватый бой отпер ей входную дверь. Мистер Фергюсон? Третий этаж, комната номер шесть. На витой лестнице пахнет тяжелым запахом еды и старыми стенами. Что же, они с Лилей тоже жили в таких вот захудалых шанхайских мебелирашках. Она словно вернулась в покинутый ею родной дом. Комната номер шесть. Ксения постучалась. Все было тихо. Она постучалась еще раз. В комнате зажегся свет, и она толкнула дверь. Брюс с блестящими спросонок глазами сидел на постели. На нем была бумажная пижама в красную и белую полоску. "Как матрас!" — подумала Ксения и хотела засмеяться, но вместо смеха у нее вырвалось короткое рыдание.

* * *

Она провела всю ночь в этой убогой комнате с кушеткой вместо постели, засаленным креслом, ломберным столом и шатким комодом. Бой, открывавший ей дверь, наутро подал им по чашке невкусного кофе. В полдень Брюс повез ее домой, чтобы она переоделась и поехала с ним в его клуб. О приглашении Маллори на завтрак она забыла. На лице Ольги Андреевны был написан ужас. Ксения на ходу поцеловала ее в щеку:

— С Новым Годом, Лиля! Дай мне мой новый вязаный костюм. И чернобурое пальтишко.

— Куда ты, деточка? — дрожащим голосом спросила Ольга Андреевна. — Боже мой, что случилось? Мистер Маллори...

— Скажи ему, что я умерла! Скажи ему, что хочешь! — засмеялась Ксения, выбегая.

Вот он! Ждет в своем крошечном автомобиле. Потрепанный, дребезжащий, этот невзрачный автомобиль принадлежал Брюсу и поэтому стал ей дорог.

— Ого! — свистнул Брюс. — То норковая шубка, то чернобурая! Сколько жалованья ты получаешь?

— Она куплена по случаю. Я тебе нравлюсь?

Вместо ответа Брюс прикусил ей ухо, и она шелкнула его по носу. Ей было весело, бездумно, стихийно весело, как никогда. Она чувствовала всю силу своей молодости, она знала, что ее красота чарует Брюса, и сама была очарована чем-то похожим на счастье. Ее холодная душа хищницы вдруг раскрылась, как цветок, навстречу этому счастью.

В Клубе Скакового Ипподрома они выпили несколько коктейлей, глядя, как жокеи тренируют на беговых дорожках норовистых, горбоносых "монголоков". Многие из сидевших за столом мужчин засматривались на Ксению, она чувствовала себя неотразимой, обольстительной, Брюс гордился ею, она видела желание в его глазах и пьянела и от этого взгляда, и от выпитых натошак коктейлей. Брюс решил, что им следует поесть, и заказал горячий суп и ростбиф с картофелем. После завтрака он повез ее к себе. На улицах почти не было движения, и Брюс ловко управлял дребезжащим и подскакивающим на поворотах похожим на дрожки автомобилем. Стоял зимний холодный день с холодным и ярким солнцем на безоблачном небе. Сверкающий день был полон вина и счастья.

В жалкой комнате, ставшей, как и дребезжащие дрожки Брюса, родной для Ксении, он, после ласк, рассказал ей о себе. Он работал страховым агентом. Два года тому назад он был владельцем биржевой фирмы в Гонг-Конге. Он обанкротился. Жена от него ушла, взяв пятилетнюю дочь. Без гроша, он приехал в Шанхай. Жил в комнате без отопления. Ночью, чтобы не отморозить уши, он надевал свой старый авиационный шлем. Да, он был во время войны летчиком Королевского Воздушного Флота. Теперь дела его идут на лад, он получает жалованье и комиссионные.

— Но все же ты влюбилась в нищего прощелыгу, — заключил Брюс свое повествование.

Ксения ужаснулась: бедняжка, дорогой! Спал в шлеме! Какой кошмар! Как страдала его гордость! И эта мерзкая жена! Она его предала! Он любил ее? Может быть, любит до сих пор? Конечно, она ревнует его к жене! Она ее ненавидит! Нет, это совсем не вздор! Если ты ее любишь, то оставь меня! Нет, нет, я пошутила! Я тебя люблю, люблю!

Она вернулась домой после полуночи. Ольга Андреевна сидела возле стола, починая куклу.

Мистер Маллори не звонил, деточка, — прошептала она.

Ну и что из этого следует? — усмехнулась Ксения. — Старый осел не проспался. Он вчера выдул бутылки три шампанского, кроме коктейлей, виски и всего прочего. Не скули, никуда он не денется.

Маллори не позвонил и на следующий день. Ксения, купив закусок и бутылку вина, отправилась к Брюсу.

"Произошло что-то невероятное, — думала она. — Я влюбилась. Мне нужно казаться перед Брюсом порядочной женщиной. Я ему совру, что разошлась с мужем. Будет ужасно, если он узнает, что я авантюристка, "золотоискательница", как говорят американцы. Ему станет больно, и я не могу причинить ему боль. Брюс хватил довольно горя. Банкротство, одиночество, нетопленная комната, борьба за существование... Брюс герой, он военный, как и мой отец, великий князь. И его унижали. Вот почему у него такой невеселый смех. Впервые почувствовав жалость, она даст Брюсу счастье и искупит свою постыдную жизнь".

Брюс ее ждал. Они поужинали, и он стал расспрашивать Ксению о ее службе.

— Меня очень ценит директор, — фантазировала Ксения. — Я получаю большие прибавки и наградные к праздникам. Мама тоже работает. Мы очень экономны и прекрасно сводим концы с концами.

— Экономны? — засмеялся Брюс. — С твоими мехами и платьями от мадам Гарнет? Ты меня морочишь!

— Моя подруга служит у Гарнет и достает мне недомерки на распродажах. Эта сумочка? Мамин подарок к Рождеству. Она год копила, чтобы ее купить. Я обожаю мою маму. Она мой лучший друг и всем для меня жертвует.

— Я рад, что ты так успешно оборачиваешься, — сказал Брюс. — Продолжай в том же духе! Хочешь покататься или пойти в кинематограф?

— Нет, останемся здесь. Мне так уютно! Может быть, я тебе надоела?

— Ты никогда мне не надоешь! И я тоже экономен, ведь я шотландец! Мне дешевле веселить тебя на этом диване.

* * *

Маллори уже три дня не давал о себе знать, и Ксения позвонила в его контору.

— Графиня Тарновская? — отозвалась секретарша. — Мистер Маллори на заседании. Он вам позвонит.

Но он не звонил. Почему? Наверное, он зол на нее оттого, что она уехала из Клуба в новогоднюю ночь. На следующий день она снова вызвала его контору.

— Графиня Тарновская? Мистер Маллори вышел. Я не знаю, когда он вернется. Мистер Маллори не оставил мне распоряжений.

Не прощаясь, секретарша звякнула трубкой, и Ксения поняла: Маллори прекратил с ней знакомство.

— Шофер Тунг! Это дело его рук! — сказала она вслух. — Желтая обезьяна накапала ему, что я поехала к Брюсу.

Она закурила и глубоко затянулась.

— Хорошо, я проиграла. Поставила ставку и проиграла. Значит, не судьба! Тем лучше. Довольно авантюры в этом омуте. Брюс меня любит. Вдвоем мы не пропадем. Деньги вовсе не цель жизни. Я их ненавижу, они не дали мне ничего, кроме грязи.

Вечером она призналась матери, что полюбила, хочет выйти замуж и жить честной, семейной жизнью.

— Конечно, деточка, — кротко согласилась Ольга Андреевна. — Лучше этого быть не может. Он сделал тебе предложение?

— Нет, но сделает. Пойми, Лиля, он любит меня больше жизни, хочет дать мне все, но сейчас не имеет этой возможности. Его гордость поэтому страдает. Мы поженимся, как только Брюс оперится.

Глаза Ольги Андреевны, когда-то синие, как васильки,

были полны слез. Страшное предчувствие неминуемой беды ее не обмануло. Ксаночка, ее дитя, ее солнце, мечтает о невозможном, в чем ей будет всегда отказано. Счастье запрещено им обоим: судьба их — это судьба блудниц, и когда они, страстно желая любви, находят ее, то любовь оборачивается проклятием, ужасом и несет с собою одно страдание на всю жизнь. Но Ольга Андреевна не проронила ни слова: она верила в рок.

* * *

Из конторы Ксения шла к своему любовнику и оставалась у него до полночи. Ласки ее не знали предела, и Брюсу было от них не по себе: пылкость Ксении, чуждая общебританской неприязни к преувеличениям, его коробила. Он морщился, когда она приносила ему подарки и давала ласкательные прозвища.

— Ты, кажется, принимаешь меня за альфонса, — хмурился он, отбрасывая принесенный ею галстук или шелковый шарф. — И, пожалуйста, не называй меня "уютным бэби", это глупо.

Ксения непрерывно лънула к нему, целовала ему руки и даже шла за ним в уборную, что его смешило и шокировало.

— Отстань от меня, маленькое похотливое чудовище, — говорил он.

— Разве ты не любишь меня за то, что я чудовище, мое божество, мой ангел?

— Люблю, но не кричи так громко, а то сбегутся соседи.

— О, Брюс, милый, — как-то проворковала она. — Называй меня своей женой! Ведь я твоя жена, правда?

Глаза Брюса, похожие на глаза шотландского терьера, смотрели на нее с удивлением.

— Не говори чепухи, — сказал он. — Как ты можешь быть моей женой, если я женат на Мэри?

— Что? Мэри? Эта лицемерка, эта тварь? Я ее ненавижу! Ненавижу!

— Не смей оскорблять мою жену! — крикнул Брюс.

В бешенстве Ксения укусила ему плечо. Он дал ей поще-

чину, и она, боясь, что его гневная вспышка вызовет ссору, стала ласкаться к нему, как кошка.

Она боялась беременности и обычно была очень осторожна, но, забеременев через месяц после связи с Брюсом, не пришла в ужас; напротив, радость ее была безгранична: это ребенок от Брюса, а не от случайного любовника.

— Я назову его Дмитрием, в честь моего отца, великого князя! — и с охапкой цветов, ликуя, она ворвалась к Брюсу.

— Милый, милый, — кричала она, кинувшись ему на шею. — У нас будет ребеночек! Во мне теплится крошечное существо! Как свечечка! Ты рад, милый, скажи, ты рад?

— Рад? — возмутился Брюс, освобождаясь от его объятий. — Черт возьми! Мне придется доставать деньги на твой аборт!

— Но, Брюс, — прошептала Ксения. — Разве ты не хочешь, чтобы у меня родился сын, твой сын?

— Ты помешалась? Как ты могла быть такой неосторожной при всем твоём опыте?

Перед ней был не Брюс, а какой-то со злобой смотревший на нее чужой человек.

— Я не знала, я ничего не знала, — с жалким дрожащим лицом оправдывалась она. — Я не любила никого, кроме тебя.

— О, да? — язвительно усмехнулся Брюс. — Неужели ты думаешь, что я верю твоим рассказам о первой любви? Брось глупить, я не вчера родился на свет. Узнай, сколько это будет стоить, и дело с концом.

* * *

Акушерка сделала ей аборт без наркоза, но унижение, пережитое ею, было мучительнее боли. В аборте было что-то непристойное. И мрачное, как убийство. Жизнь существа, теплившегося в ней, была задута.

"Наверное, родовые боли совсем иные, — думала она, лежа дома в постели. — Все говорят, что роды полны радости, несмотря на боль. Зачем я послушалась Брюса и позволила убить моего ребенка?"

Она пропустила три дня работы. Ольга Андреевна не уп-

рекнула ее ни словом, но Ксении было тяжело видеть безмолвное страдание матери. Брюс навещал ее и был заботлив. После перенесенных мук он стал ей еще дороже. Она любила его от жалости к его прошлым унижениям и бедности, от проснувшейся в ней гадливости к механическому блюду с теми, кто ее покупал, от прямой уверенности в том, что Брюс ее любит и на ней женится, и оттого, что их ласки казались ей близостью единой плоти. Ксения не рассуждала: она любила, и любила страстно.

Ей нравилось все в ее любовнике: стриженные щеткой усы, посадка головы, казавшейся ей гордой, отточенный британский выговор с вопросительной интонацией в конце фразы. Ксения старалась ему подражать; она свободно говорила по-английски, но с акцентом, известным на Дальнем Востоке как "чи-чи", то есть типично шанхайским.

Когда она поправилась, то ежедневные встречи с Брюсом возобновились. Отказавшись принять от него деньги для платы акушерке, Ксения продала золотой браслет, подарок ван Бюрена. Брюс не мог часто приглашать ее в ресторан или на танцы; один раз в неделю они ходили в кинематограф или в клуб Брюса. Ему было необходимо общение с приятелями; они часами говорили о биржевых курсах, о спорте или о том, что Гитлера следует обуздать, не то им всем придется снова идти на войну. Ксения не была интересной собеседницей: она немногому научилась в школе, читала только газетную светскую хронику и модные журналы, а если при ней цитировали Шекспира (у Брюса была книжечка с его изречениями), то она молча улыбалась. Иногда она расспрашивала Ольгу Андреевну о русской культуре, чтобы похвалиться своими знаниями перед Брюсом. Но Ольга Андреевна помнила только слова жесточайших романсов своей молодости и несколько исторических событий — войну 12-го года, Полтавское сражение, татарское иго.

— Иван Грозный был извергом, — повествовала она. — А Петру Великому поставили знаменитый памятник на Сенатской площади. Он прорубил окно в Европу. Наполеон взял Москву, и москвичи ее сожгли. Была такая песня "Горел, пылал пожар московский, дым расстилался по реке".

Она также рассказывала о том, что Пушкина убили на дуэли, а Толстой, написавший "Войну и мир", шил сапоги и пахал, несмотря на свой графский титул. Ксения попробовала прочесть роман безумного графа, но и война, и мир навели на нее скуку.

— Ты виновата, что я не получила образования, — сердилась Ксения.

— Но ты сама не хотела учиться, деточка, — тихо возражала Ольга Андреевна.

Немногие рассказы Ксении о русской культуре не были интересны Брюсу; он был британцем и убежден в том, что правительство и правосудие Англии были лучшими в мире и что английский солдат, "томми", непобедим; лишь шотландский горец превосходил "томми" доблестью. О других нациях Брюс отзывался пренебрежительно: это были лягушатники, макаронники и гунны. Второклассное отребье, русские особенно. Русские не способны управлять своей страной и уважают только силу.

Ксения пробовала защищать Россию, но боязнь рассердить Брюса заставила ее согласиться с его доводами. Ему нельзя было признаться в ее лже-царском происхождении, служившем ей защитой от жизни; понятия Брюса о морали были бы шокированы открытием того, что мать Ксении была в молодости кокеткой.

Выходя однажды из кинематографа с Брюсом, Ксения встретила ван Бюрена.

— А! Красавица моя! — закричал он, раскрывая ей объятия. — Как поживаешь?

Ксения небрежно кивнула ему и поспешила вперед, а ван Бюрен остался стоять на тротуаре с одурелым видом.

— Кто это? — спросил Брюс. — Один из моих предшественников?

— Ничуть! — вспыхнула Ксения. — Он наш клиент, приходит к нам в контору. По моей службе я знакома с многими дельцами.

— Успокойся, — засмеялся Брюс. — Я не Отелло. Не смогу ли я продать страховой полис кому-нибудь из твоих бывших кавалеров?

Брюс был циничен и слишком самодоволен, чтобы ревновать. От ревности страдала Ксения, и предметом ее была маленькая дочь Брюса; она жила в Гонг-Конге и писала ему письма детским, круглым почерком.

— Моя Салли получила приз за правописание, — хвастался он.

На фотографии у нее были глаза шотландского терьера, как и у Брюса. Почему эта девочка жива, а их с Брюсом ребенок уничтожен?

— Я хочу от тебя сына, — как-то прошептала она между ласк. — Почему нам нельзя иметь ребенка?

Брюс нетерпеливо оттолкнул ее.

— Перестань дурить! Перестань, иначе я никогда до тебя не дотронусь!

Рот его принял жестокое выражение. Выскочив из постели, он сел в кресло и закурил. Ксения заплакала.

— Довольно, я не терплю сцен, — раздраженно говорил Брюс. — Я сошелся с тобой не для того, чтобы ты предъявляла на меня права. Это становится несносным. Оденься, и мы поедем в клуб. Может быть, коктейль приведет тебя в порядок.

В клубе находились приятели Брюса: Реджи, неприметный человечек с головой огурцом, и рыжий Джинджер, краснолицый, с красными, как клешни омара, руками. Брюс заказал джин, и все заговорили о матче в крикет и чья команда победит. Реджи исподтишка глазел на Ксению.

"Пялится, словно на мне узоры, — думала она. — И в самом деле, ведь я хороша! Как я могла забыть о том, что я хороша?"

Ей все еще было горько от обиды Брюса. Не вызвать ли его ревность и вскружить голову этому длинноногому дураку?

И пересев от Брюса к Реджи, Ксения призвала на помощь все свое кокетство: она чокнулась с Реджи, близко и вкрадчиво глядя ему в глаза. Реджи приосанился и, осмелев, пожал ей под столом ногу. Томно прищурясь, Ксения как бы нечаянно склонила голову к его плечу, лукаво и нежно улыбаясь. От натянутых нервов и от равнодушного лица Брюса, говорившего с Джинджером, бравата ее поднималась.

— До дна? — предложил Реджи.

— До дна, Реджи, душка! Душка значит по-русски дарлинг. О, Реджи, по-моему, вы шалун! Вы опасны! Реджи, Реджи, вы опять жмете мне ногу? Ах, это не вы, это Брюс решил за мной поухаживать! Душка Брюс!

— Замолчи! — огрызнулся Брюс. — Ты ведешь себя, как дура.

— Сам ты дурак! И невежа! — и она показала Брюсу язык.

— Перестаньте ругаться и поедemте ко мне обедать, — вступил Джинджер. — Моя жена уехала на курорт, и я один в доме.

Бравада Ксении исчезла: она озлилась. Этот рыжий кре-тин приглашает ее в дом потому, что его супруга изволила уехать. Хорошо же, она и Джинджера сведет с ума!

"Довольно с меня этой британской спеси. — кипела она. — И вообще: кто они такие? захудалые клерки! Мой отец их бы в конюшню не пустил! Все они свиньи! И Брюс тоже свинья. Вот возьму и развяжусь с ним! Он не один свет в окошке! Я заставлю его страдать и буду над ним глумиться так же, как он глумится надо мной!"

Ксения уселась в машину вместе с Реджи, на заднее сидение; Джинджер сел за руль, а Брюс поехал отдельно. Она прижалась к плечу Реджи, и тот ее обнял за талию.

— Разве вы не собственность Брюса? — пробормотал он.

— Собственность Брюса? Какой вздор! Я не принадлежу никому! У меня русская душа, широкая, как степь! Я живу по своей воле!

Прислуга Джинджера спала и обещанного обеда в доме не оказалось, но он принес из кухни ветчину, холодную курицу, хлеб и достал бутылки виски и джина. Ксения, уже сильно опьянев в клубе, курила непрерывно, отчего хмель оказывал на нее еще большее действие. Заметив, что она сунула окуроч в блюдо с ветчиной, Брюс подставил ей пепельницу в форме мопса и сказал со злым смехом:

— Посмотрите, не похожа ли Ксения на этого мопса?

— Ну, ну, Брюс, — вмешался Реджи. — Оставь бедную девочку в покое.

— Ничего, ничего, — перебила его Ксения. — Я понимаю шутки и не сержусь, когда надо мной смеются. Реджи! Брюс! Джинджер! За ваше здоровье!

— Давайте танцевать, — предложил Джинджер, включая радио.

Ксения сперва танцевала с Реджи, не обладавшим чувством ритма, потом с Джинджером; ему мешали его косолапые ноги, он наступал на них и спотыкался. Ксения, отбившись от него, подбежала к Брюсу и, смеясь, бросилась ему на шею. Он грубо отшвырнул ее, и Ксения, пошатнувшись, едва не упала, но Джинджер подхватил ее и, подняв, стал крутить над головой.

— Оставьте меня, — кричала она. — Оставьте, я вам покажу живую картину!

Запыхавшийся Джинджер поставил ее на пол, и Ксения, сорвав с себя платье, предстала перед ними, надменная и торжествующая в своей наготе.

— Венера Милосская! — ахнул Реджи.

— Молчание... молчание... как сказал Шекспир, — отчеканил Брюс.

Что касается Джинджера, он колотил себя по коленкам и хохотал.

— Что? Видели? — коснеющим языком лепетала Ксения, надевая платье. — Я богиня, слышите? Да, я богиня, а вы — ничтожные клерки! Джинджер, дайте мне шампанского! Я хочу купаться в шампанском! Я буду плавать в шампанском, как рыбка! Что в этом смешного? Да, я форель, я богиня любви, да, да! Хорошо, Брюс, вези меня домой! Вези меня на ложе роз и фиалок!

Втолкнув ее в дрожки на шинах, Брюс молча включил мотор. Лицо его было каменным, но Ксения продолжала свою полупьяную болтовню голосом маленькой девочки:

— Куда ты меня везешь, душка? Я не хочу ехать домой! Поедем к тебе. Нет я не пьяна, я счастлива! Почему ты злишься? Ты ревнуешь? Я тебя обожаю! Ты мой божок, мой уютный бэби!

— Замолчи! — крикнул Брюс. — Тебя можно избить, как собаку, и ты опять приползешь обратно!

Она кинулась на него всем телом, обвила его обеими руками.

— Как ты мог! Как ты мог! — повторяла она в отчаянии.

Брюс резко отпихнул ее и взглянул ей прямо в лицо.

— Моя жена и Салли приезжают ко мне из Гонг-Конга через три недели. Мы решили начать новую жизнь. Поняла?

* * *

Для нее ничего больше не оставалось, как пить. Она приходила из конторы домой с бутылкой джина, запиралась у себя в комнате и пила. Она больше не заботилась о своей внешности: ее лицо и глаза опухли, от нее пахло перегаром. Она пропускала служебные дни, и жалование не оплачивало домашних расходов: пришлось продать бриллиантовое кольцо. Когда ее уволили, она заложила норковую шубку и все остальные подарки и пила беспробудно, не обращая внимания на мольбы и слезы Ольги Андреевны.

— Ты губишь себя, — рыдала мать. — Ксаночка, дитя мое, не один мужчина не стоит таких страданий!

— Ничего, Лиля, наплевать! Мы обе хороши, и ты, и я. Этот красавец, великий князь, он всему виной! Ах, так это не был великий князь Дмитрий, а кто-то другой? К черту их обоих! Все они свиньи — и великие князья, и клерки! Они любят играть в куклы! В такие же куклы, какие ты чинишь! Они играют в куклы за спиной законных жен. Куклу всегда можно выбросить, а жена, жена — уважаемая дама! У нее не вырвут ребенка из утробы! Выпьем, Лиля! Выпьем за жен и мужей, будь они прокляты! И выпьем за форелей! За форелей, Лиля, за камелий, лореток и шлюх! За нас, Лиля!

В одно утро, после того, как ее всю ночь рвало, измученная пьянством, сама не своя, дошедшая до последнего отчаяния, Ксения подумала, что она пропала, что жить незачем и лучше уничтожиться, освободиться от душевной боли и от позора своего унижения. У нее был пузырек с вероналом. Взяв его, она прокралась на кухню за стаканом воды, чтобы принять таблетки. Ольга Андреевна, тоже измученная бессонной ночью, дремала. На лицо ее откуда-то падал свет. Ксения подняла глаза. Свет падал от лампадки, зажженной перед иконой. И вдруг Ксения увидела — или ей померещилось — что по лику Богоматери катятся слезы.

— Она плачет! Она плачет! — и отшвырнув пузырек с вероналом, Ксения с ужасом кинулась в комнату и упала на постель.

Нет, она не смеет умереть и бросить несчастную, беспомощную старуху, еще более жалкую, чем она, обречь ее на нищенство и на верную гибель.

— Подайте, Христа ради, ей, — вспомнила она строчку каких-то стихов, в детстве читанных ей матерью.

Лучше принять любую казнь, любое терзание, чем погубить единственное близкое ей существо, любящее ее так смиренно и беззаветно.

Она встала и заглянула на кухню. На лице Богоматери не было видно слез.

— Что ты, Ксаночка? — проснулась Ольга Андреевна, почувствовавшая присутствие дочери.

— Ничего, Лиля. Мне лучше. Спи.

Через несколько дней Ксения вытрезвилась и, осмотрев свой гардероб, нашла случайно не проданное ею пальто из чернобурых лис.

— Это пальтишко бросается в глаза, — сказала она Ольге Андреевне. — Я его надену и пойду наниматься партнершей для танцев.

— Что же, деточка, — вздохнула Ольга Андреевна, немного успокоенная тем, что видела дочь трезвой. — Я слышала, будто у девушек из кабаре большие возможности. Они часто выходят замуж. Конечно, ты хотела другого устройства, но разве мы всегда получаем то, что хотим?

Ксения вздохнула: Лиля была неисправима в своем исповедании веры отставной форели.

Вскоре Ксения поступила в кабаре на улице Чу-Пао-Сан, вблизи гавани и публичных домов, известной в Шанхае как "Кровавый переулок". Это кабаре посещали главным образом матросы: французы с красными помпонами на беретах, англичане и шумные американцы. Иногда в "Кровавом переулке" происходили драки между матросами — носы и зубы разбивались в кровь, но побоища заканчивались мировой сражавшихся.

Внешность Ксении не помогла ее популярности; она ка-

залась здесь лишней и видевшей лучшие дни, что ни в ком не вызывало сочувствия. Матросы редко приглашали ее танцевать, заработок ее был ничтожен, и она перешла на работу в знаменитое "Кафе Венус". Оно находилось в китайской части города, почти все партнерши для танцев были китаянки. В узких платьях с разрезом до колена, тонкие и узкобедрые, причесанные так гладко, что их черные волосы лоснились, как лакированные, они сидели вокруг зала в ожидании клиентов.

"Кафе Венус" привлекало американских морских пехотинцев, завязанных танцоров, и они шли туда по вечерам берегового отпуска. В шанхайском свете было принято приезжать в "Кафе Венус" после двух часов ночи, чтобы посмотреть на танцующих морских пехотинцев, славящихся изяществом движений и скользивших глиссадами со своими дамами. В "Кафе Венус" не было программы выступлений, и только Чанг, очень смысленный и шустрый для своих десяти лет, ходивший между столиками с лотком сигарет, иногда пел под оркестр джазовые песенки, уморительно коверкая английские слова. Чанг также сводничал для клиентов. Через несколько дней после устройства Ксении в "Кафе Венус" Чанг обратился к ней с обычным предложением:

— Мисси, с вами хочет познакомиться американский матрос. Вы дадите мне десять процентов "кámшо"?

"Ну что ж, рано или поздно нужно начинать", — подумала Ксения и направилась к столику, где за бутылкой пива сидел матрос с высоко взбитым белокурым коком.

В этот вечер "Кафе Венус" было переполнено матросами; очевидно, морские пехотинцы не имели берегового отпуска и остались на кораблях.

— Здорово, сестрица, — не вставая с места, приветствовал Ксению матрос. — Я поджидал тебя всю мою жизнь.

Нужно привыкать и к американскому остроумию, и к пиву. Из оркестра послышались залихватские звуки танца "трясучка", только что вывезенного матросами из Америки. Партнер Ксении вывел ее на паркет. Она никогда не танцевала

"Камшо" — комиссионные (англо-кит. жаргон).

"трясучки", зато матрос оказался прекрасно осведомленным в искусстве новой пляски. Неожданным ударом кулака он толкнул Ксению вперед, как резиновый мяч; ошеломленная, она упала, и тут матрос обрушился на нее, схватил, отшвырнул на другой конец зала, где она плашмя свалилась на спину, а матрос, трясясь всем телом, выкидывая по сторонам ноги, появился возле, поднял ее, плюхнул себе на плечи и, продолжая трястись, запрыгал вверх и вниз, а потом, хохоча, скинул Ксению на пол.

Объятая ужасом, оглушенная грохотом оркестра, задыхаясь, растрепанная, в скомканном платье, обессиленная, потерявшая последнее достоинство, она, пошатываясь, стояла посреди ревуших, трясущихся и кривляющихся орангутангов или людоедов, плясавших под грохот барабанов перед костром с жертвой. Ужас и отчаяние толкнули ее бежать отсюда куда угодно, на улицу, на набережную реки Вампу, в доки... Бросив матроса, она пробилась сквозь лежащую и орущую толпу к выходу и вдруг окаменела: в "Кафе Венус", смеясь и разговаривая, входили дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах: свет пришел развлечься. У одной из дам было надменное лицо и монокль в глазу. Спутник дамы внезапно отпрянул от нее и очутился возле Ксении. Красноватые брыластые щеки, рабы глаза... Потерянная возможность ее жизни! Подумать только, она могла быть миссис Маллори!

— Вы... здесь... — выговорил он, заикаясь. — Графиня Тарновская...

Лицо Ксении исказила ненавистная усмешка:

— Графиня Тарновская? Нет... — и позорное для женщины слово хлестнуло Маллори по лицу.

И как в бреду безумия, дрожа, она выбежала в черную шанхайскую ночь.

Надежда Мальцева

ВАНЬКА МОКРЫЙ*

Е. В.

Пусть расставанья точную науку
кто хочет учит, за главой главу.
Мой верный куст, скорее, дай мне руку,
пусть я беспечна и не так живу, —
во многом верен тот, кто верен в малом,
и ты горишь и тянешься ко мне,
и мне в твоём цветенье дымно-алом,
как пламени — в горящей Купине.

И знаю я, что слово расставанье
грозит огнем лишь тем, кто опалим,
и дьявола гримаса обезьянья
сулит разлуку смерти только им.
Любимого любимый не забудет,
неопалимый светит им маяк,
да будет так, да будет так, да будет!
И знаю я, что будет только так,

и только так — в последний час вигилий
сквозь медь и воск, под возгласы сивилл
веди меня, зеленый мой Вергилий,
туда, где кровь впадает в хлорофилл,
где плоть опять преобразилась в Слово,
где никогда никто не одинок! —
и Пенелопы скудная основа,
и Одиссея золотой уток

соединились в покрывало встречи
взамен тугих лаэртвых пелен —
от радости язык лишился речи,
миг узнавания длится, он блажен,
и больше нет ни смерти, ни распада,
ни смысла в битве или ворожбе,
все — свет и ясность, и гадать не надо
ни о своей, ни о чужой судьбе.

1982

Илья Лапиров

* * *

С волейбольной площадки
Перед свежей росой
Я иду по дощатке, —
Длинноногий, босой.

Через сонный осинник,
Мимо поля в овсах
В майке выцветшей синей,
В темносиних трусах.

Мимо дачек дощатых
За зеленой горой
Золотой, предзакатной,
Предвоенной порой.

В небе ласточек сонмы.
Леса гул грозовой.
И качаются сосны
Над моей головой.

Тихий плес над Москвою
По-вечернему нем.

Нет еще за душою
Ни дилемм, ни проблем...

Я потом не поспею
К моему сентябрю.
Я еще повзрослею —
И в любви обгорю.

И не брошу на ветер
То, что честью зову.
И узнаю о свете,
На котором живу.

Я уверю в Слово.
Я познаю беду.
И полшара земного
По земле обойду...

Собираю я грузди
И жую корешок...
Мне еще не до грусти.
Мне еще хорошо.

Я еще малолетка —
Не зека, не солдат.
И случайные ветки
Под ногою хрустят...

Калифорния

Марина Кравцова

ПЕТЕРБУРГ

Опростился Петербург.
Что же взыщешь с Ленинграда.
— Кто тебе он, брат иль друг,
Или ноченьки отрада?

Как сказать тебе, ну, как?
Что ни скажешь, — все неверно.

Как опишешь ветер, мрак?..
Для меня он в жизни первый
Поцелуй дождя в ночи
Первой белой неделимой

Ни на черные плащи,
Ни на звезды мимо, мимо...

Петербург молитв и снов,
Грусти каменных титанов,
Что согнули у домов
Спины в трещинах и ранах.

Петербург — дрожанье губ
Влажных в сырости исконной,
И за выступом уступ
Черт лица в тумане сонных.

Был когда-то онемечен,
А сегодня опрошен —
Петербург — не только плечи,
Но и крылья у знамен.

Петербург — почти Париж,
Петербург — почти Европа.
Стоя на земле, — паришь,
Представляя — если... чтобы...

Сену спутаешь с Невой,
Задыхаясь, забывая,
Где ты, кто ты, что с тобой, —
Манит бездна голубая.

Пусть затянута в гранит,
Окольцована мостами, —
Только кажется, что спит
Эта бездна под ногами.

Рухнет грудью на ступени
Вместе с ветром и дождем
И Нева — уже кипенье, —
За волной волна столбом.

— Так неужто город люб!
А с тобой он как, сердешный?
По-мужски бывает груб,
По-мужски бывает нежным.

Петербург — широкий жест,
Петербург — крещеный трижды,
Ну, а значит, — трижды крест,
И под каждым выжат трижды.

Петербург — упругий звук.
Сердце с голосом до сплава,
От бесправия до права
Взмаха крыльев вместо рук.

3. 04. 96, Кёльн

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Августа Даманская

НА ЭКРАНЕ МОЕЙ ПАМЯТИ

Меценаты, подобные дальневосточным благожелателям русских писателей, имелись и в Париже. Но и меценатствовали, и благотворили они если и не в таком широком масштабе, как те, на Дальнем Востоке, то как-то культурнее, целесообразнее и планомернее.

"Последние новости", "Дни", газета, возглавлявшаяся Керенским, "Возрождение", где больше всего места занимали статьи полемического характера, корреспонденции из разных стран, дававшие оценку общего политического положения, не могли помещать и половины беллетристического, поэтического материала, получавшегося в редакциях этих газет.

Известный адвокат М. М. Винавер, чрезмерно большим состоянием не обладавший ни в России, ни в эмиграции, нашел, однако, возможным, ибо находил это нужным, уделить из своих личных средств значительную сумму на издание художественно-литературного еженедельника "Звено". Считая имя Милюкова более популярным в эмигрантской массе, скромный Винавер звание главного редактора журнала Милюкову и предоставил. Но журналом, выходившим с 5-го октября 1924 года

и скоро завоевавшим читательскую аудиторию руководил не Милюков, не Винавер, а молодой тогда помощник Винавера в его юридической работе Михаил Львович Кантор. Широко образованный, умный, одаренный безошибочным литературным чутьем, он сумел привлечь ценных сотрудников: зарекомендовавшего себя уже в России своей работой во "Всемирной литературе" А. Я. Левинсона, молодого, только-только начавшего писать Г. Адамовича и угадал в почти неизвестном Конст. Мочульском писателя, о творческих возможностях которого никто не догадывался... Впоследствии Мочульский развернулся в мастера историко-литературных монографий. Этот преждевременно сгоревший человек оставил труды о Вл. Соловьеве, Достоевском, А. Блоке, которым сужден, несомненно, долгий век.

В квартире М. М. Винавера раз в месяц читались доклады о старых русских писателях, о взаимодействии двух литератур — русской и французской. После доклада за длинным-длинным столом, уставленным вкусными сэндвичами и тортами, завязывался обмен мнений, литературные споры, никогда не переходившие за пределы культурной учтивости... Тон этим вечерам давали хозяева и руководители журнала "Звено".

В Париже выходил воскресший в эмиграции давний петербургский еженедельник "Иллюстрированная Россия". До революции в России он издавался А. Э. Каганом, Городецким и Котловкером. Они же создали в Петербурге единственную в своем роде газету "Копейка", ценою в копейку. В Париже "Иллюстрированная Россия" могла возродиться уже на средства Б. Гордона. Этот меценат поддерживал и русских актеров — чем и как это представлялось возможным. А в недавнем еще блестящей актрисе Е. Н. Рожиной-Инсаровой предоставил часть своей квартиры для "Салона Бриджа". *Salon de bridge* — тоже эмигрантское новшество — был тогда в моде среди эмигрантов. Такой картежный приют дал любителям бриджа и Феликс Юсупов, в доме которого на Мойке в Петербурге был, как известно, "упразднен" Распутин.

На средства осевших в Риге и в Ревеле русских эмигрантов, дельцов, людей культурных и знавших цену хорошей книге, стал выходить отлично иллюстрировавшийся еженедель-

ник "Перезвоны". Обслуживался он преимущественно писателями, жившими в Париже и в Берлине. Время от времени издательство выпускало в увеличенном размере номера, посвященные тому или другому русскому художнику, номера с богатыми цветными иллюстрациями.

Не было на широком пространстве русского эмигрантского рассеяния ни одного сколько-нибудь значительного проявления русского творчества — в области ли литературной, художественной, научной, музыкальной, в области ли чисто практического "делания", в области технических изобретений, — которое бы не приветствовалось, не отмечалось на страницах "Последних Новостей". Лучи справедливой оценки, дружеского поощрения и материальной поддержки шли от "Последних Новостей" в самые далекие, самые глухие углы русского рассеяния.

В мои поездки в Бельгию, Голландию, куда группы русских эмигрантов приглашали нас, парижских русских писателей, прочитать доклад на какую-нибудь "тему дня" или что-нибудь из своих произведений, мне неоднократно приходилось слышать признания: "Ждем не дождемся 12-ти часов дня, когда прибывают "Последние Новости". Приходилось наблюдать очереди перед газетными киосками в Брюсселе, в Антверпене в часы получения "Последних новостей". Это укрепляло в сотрудниках газеты сознание, что труд их находит отклик и в далеких читателях, и вместе с тем обязывало к бережному, "честному" отношению к своей работе. Далекие зарубежные читатели "Последних Новостей" писали и письма в редакцию, писали и сотрудникам: приятные и неприятные, лестные и ругательные.

К "Последним Новостям" прибегали за советом, за помощью не только читатели парижские, но и из далеких городов и даже стран. Случалась беда, несчастье в какой-нибудь эмигрантской семье — осведомленная об этом редакция "Последних Новостей" спешила откликнуться. На обращение к читателям помочь чем кто может чужому горю, немедленно стали получаться пожертвования. И обычно сумма пожертвований превосходила сумму, какая нужна была для облегчения чьего-то горя, для помещения больного в санаторию, на

уплату за квартиру, на снабжение теплой одеждой, углем, дровами нуждавшихся в такого рода помощи. И тогда контора "Последних Новостей", державшая читателей в курсе поступавших пожертвований, доводила до их сведения — "сбор прекращается".

Ежегодная "Неделя доброты" — тоже по почину "Последних Новостей" — стала чем-то вроде нравственного обязательства и для имущих, и даже для малоимущих эмигрантов. И сумма пожертвований, поступавших за эту "Неделю доброты" — она совпадала с предпасхальными днями — многим десяткам, многим сотням эмигрантов была бесценной поддержкой. Редакцией "Последних Новостей" вскоре после возникновения газеты приглашен был видный чиновник парижской префектуры для консультаций-советов эмигрантам по вопросам местожительства, по налоговым обязательствам, а также для указаний разных местностей в стране, где требовались рабочие руки и где легче было устроиться, чем в перенаселенной столице. Консультации были бесплатные: от вознаграждения отказался и консультант. Им оказался выросший в России, в Москве, сын французского врача, отлично говоривший по-русски, Владимир Александрович Парис. С большинством сотрудников он скоро подружился, и мы все полюбили его.

Для характеристики этого французского чиновника и его отношения к русским эмигрантам нельзя не привести такой эпизод: ближайшей помощницей администратора газеты В. Андреева-Могилевского была сестра известного в России и в Германии издателя С. А. Эфрона, высококультурная Марья Абрамовна Шайкевич. Будучи еврейкой, она с занятием Парижа гитлеровцами вынуждена была нашить на свою верхнюю выходную одежду желтую звезду. Как-то на улице встретил ее В. А. Парис, не видевший ее до того несколько месяцев. Опешил, обнял за плечи и, плача, прижался горевшим от стыда лицом к ее плечу: "На моей родине. Во Франции. В Париже. С желтой звездой..."

Летом 1928 г. и "Последние Новости", и "Дни" предложили мне давать им статьи о выставке печати в Кельне, о предполагавшемся скором открытии которой писали все газеты мира.

Излишне рассказывать, как я ухватилась за это предложение. Собралась я в таком спехе, что не догадалась даже списаться с каким-нибудь отелем или пансионом и удержать для себя комнату. Но благодаря исключительным организаторским способностям немцев-устроителей выставки всякого рода затруднения для приезжих журналистов были заблаговременно устранены. В самый час моего приезда в Кельн я из огромных афиш на вокзале узнала о существовании осведомительного бюро при синдикате прессы. При вручении мне адресов свободных комнат были вручены также приглашения на первых два банкета в честь журналистов: на банкет от германской печати и на банкет от города Кельна.

На первом банкете я благодаря счастливой для меня случайности оказалась рядом с давно знакомым и симпатичным мне журналистом Николаем Моисеевичем Волковысским. За узкими длинными столами, расставленными подковой, великолепно сервированными, было столько лиц — мужских и женских, столько типов — разбегались глаза — и удержали они, закрепили в памяти только моих визави, на которых указал мне Волковысский. Это были Альберт Нейман — главный редактор венской "Neu Freie Presse", и сидевшая рядом с ним Анжелика Балабанова. Альберт Нейман — с живописной пышноволосой головой, с одухотворенным узким лицом и умными смеющимися глазами. Анжелика Балабанова — в прошлом эгерия Муссолини и близкий ему человек. Будучи образованнее, культурнее его, она многому научила его и руководила им на первых порах его политической революционной деятельности. Небольшого роста, худенькая, очень скромно одетая, скорее некрасивая, она нигде не могла бы привлечь к себе внимание, если бы не ее близость в прошлом к Муссолини. Только глаза были у нее мягкие, очень темные, почти черные и светившиеся внимательно и тихо.

Дамам подносили изящные коробки конфет. Распорядителю трудно было перегнуться через стол, чтобы вручить такую коробку и мне, и я получила ее из рук Балабановой, взявшей коробку для меня и потом уж для себя. Могла ли предположить тогда, что получу от нее и другую коробку, но совершенно иных размеров и при небанальных обстоятель-

ствах. Это случилось восемнадцать лет спустя. В 1946 году. После второй мировой войны, после печальной памяти лет оккупации... Я жила опять в Париже, где так еще трудна была жизнь, так много было недостатков и где большинство русских эмигрантов могли существовать только благодаря продовольственным и вещевым посылкам из Америки. Получала их и я. От Литературного Фонда, от друзей, от разных культурных организаций, руководители которых были мне не знакомы.

Помню, день клонился к закату. Я сидела за своей машинкой и что-то спешно постукивала, когда громкий звонок оторвал меня от работы. Посылка. Большая, тяжелая. Из Нью-Йорка. Отправитель: Анжелика Балабанова. Я несколько раз прочитала адрес, дабы убедиться, действительно ли мне эта посылка. От Анжелики Балабановой? Почему? И как она могла узнать обо мне и мой адрес? Содержимое посылки было мне большой радостью: так внимательно, по-женски было все подобрано, и полезное, необходимое, и приятное, утешное. Лишь несколько недель спустя узнала я, что Балабанова от знакомых русских социалистов узнавала адреса нуждавшихся в помощи русских эмигрантов, принадлежавших к тому же литературному клану, и посылала им бесценные для них подарки из своих личных скромных средств. Благодаря ее за посылку, я напомнила ей про банкет в Кельне на выставке печати в 1928 и то, что она сидела рядом с А. Нейманом, против меня...

Больше на выставке я ее не встречала. Осмотр павильонов наполнял дни с утра до вечера. Выставка была изумительная и столь поучительная. Как создается газета, история печатного слова, путь, какой в течение веков проходили письма, как рождалась книга. Меня, конечно, больше всего интересовал русский павильон. Он открылся позже других. И так как дни моего пребывания в Кельне были ограничены, я решила выждать кого-нибудь у входа в не совсем еще убранный внутри павильон и попросить разрешения осмотреть его. План мой удался мне. Увидев торопливо подходившего к дверям русского павильона молодого человека очень делового, озабоченного вида, я подошла к нему и изложила свою просьбу —

он недоверчиво и удивленно меня оглядел и сказал, что должен кого-то спросить из тех, что уже находились в помещении павильона. Прошло пять минут, и ко мне вышел И. И. Ионов, который был секретарем Госиздата, когда я до своего отъезда из Петербурга переводила для Госиздата Ромена Роллана. Небольшого роста, плотный, смуглый, с копной черных вьющихся волос, похожих на сбитую в ком тонкую проволоку, он являл собой ярко выраженный семитический тип. И резкую противоположность своей белокурой, голубоглазой, розовощекой, белозубой жене. Поповной была она в девичестве, из новгородской, кажется, губернии, в замужестве — преданной, но властной женой, партийной коммунисткой и страстной матерью своего, пятилетнего тогда, большевика — вылитого портрета отца... Обоих я знала еще в Петербурге и очень ценила их расположение ко мне. Не ко мне одной, впрочем. Гонорары за переводы для Госиздата выплачивали Ионовы, и все мы, переводчики и переводчицы, не могли не оценить их готовности быть нам полезными.

Ионов ввел меня в павильон. Показал мне все, что я могла и должна была использовать для своих корреспонденций, и, прощаясь со мной, приглашал придти опять, что я и сделала (очень уж интересен и живописен был павильон), и надавал мне столько русских прелестно изданных, изящно переплетенных книг, что я едва могла донести их домой. Когда я пришла на третий день, Иопова не было в павильоне, и две дамы давали объяснения посетителям на отличном немецком языке. Когда одна из них освободилась, я подошла к ней и спросила: "Неужели все, что вы рассказывали этому иностранцу, отвечает действительности? Неужели все так хорошо, так уж хорошо?" Она вспыхнула и в свою очередь спросила: "А кто вы такая?" Я назвала себя. Она протянула мне руку и назвала себя: Фрумкина. Имя было мне знакомо. Жена известного уже тогда и близкого к центральной власти большевика.

— В Италии бывали? — продолжала она. — И в Бельгии — тоже, кажется. Пойдите в их павильоны и послушайте, как они там свой товар выхваляют. Выставочный павильон — это лавка, где выставлены продукты страны. Что же нам, хулить

или хвалить свой товар? Возвращаться в Россию не собираетесь?

— Нет.

— Почему? На чужбине лучше?

Мы отошли в угол, чтобы не мешать ее сотруднице давать объяснения другим посетителям, и разговорились. И так хорошо, так душевно развернулась наша беседа партийной большевички с эмигранткой, сотрудницей антибольшевицких газет, что на прощание она, большевичка, могла сообщить эмигрантке, что у нее две девочки и что она купила для них прелестные панталончики и вязаные кофточки.

По моем возвращении в Париж эсеры в редакции газеты Керенского "Дни" подтрунивали надо мною.

— Чем это вас так обворожила Розочка Фрумкина... Интересно было бы знать, как она приняла бы вас не на выставке в Кельне, а в Петербурге или в Москве.

* * *

К русским эмигрантам отношение во Франции было совершенно отличное от отношений французов к эмигрантам из других стран.

Отчасти в силу давних воспоминаний: русские богатые бары, русские имущие люди, русские студенты были знакомыми — и не только парижанам — разновидностями русской нации. Русские студенты, студентки — и значительный процент их были евреи, для французов — русские, подданные далекой России — учились в университетах и высших технических школах Бордо, Монпелье, издавна славившемся медицинским факультетом и лучшими во всей Франции врачами-специалистами. Немало русских учащихся было и в Марселе, Нанси, Страсбурге. Много русских студенток повыходили замуж за французов — больше всего за своих профессоров медицинских факультетов. Знакомству французов с русскими способствовали отчасти франко-русские союзы, обмен официальными визитами между представителями Франции и России. Французская масса, обыватели в своем быте с внешней

политикой своих правительств не считались, мало, за недосугом, следили за нею. Но помимо их интересов, так или иначе на отношении их к русским отражалось благоволение к России министров иностранных дел. Затем хлынули во Францию волны русского искусства. И русский балет, и русская опера. Шаляпин, Дягилев, Анна Павлова для десятков тысяч русских являли собою магов, открывавших своим соотечественникам доступ в самые замкнутые души французских шовинистов и ксенофобов.

Наконец первая мировая война 1914-1918 — когда оказались союзниками русские и французы, сражались бок-о-бок, гибли, отлеживались месяцами в одних госпиталях — одни в русских, другие во французских. Завязывались не только знакомства, но и дружеские отношения. Возникали уже по инициативе высших военных властей "союзы комбаттантов", помощью которых пользовались и пользуются поныне русские воины, сражавшиеся, получавшие ранения на территории Франции или в рядах ее армий.

Многие французы могли позднее читать в "Мемуарах" маршала Жоффра хотя бы такие строки: "Русские оказали нам поддержку, которой оправдали возлагавшиеся на них мною ожидания. Никогда не должно угасать в нас чувство благодарности к русским, героическая армия которых и искусство их вождей вторично спасли нам нашу родину" (т. I, с. 265).

Они могли читать и в книге Черфилльса (с. 284): "Бесценное содействие русских войск, героическое их сопротивление никогда не будут забыты нами".

Массовая русская эмиграция, хлынувшая во Францию после переворота, могла бы смутить французского обывателя. Но часть французского общества — фабриканты, дельцы, стоявшие во главе всяких промышленных предприятий — прежде всего учли возможность восполнения унесенных войною рабочих рук. Оно так и оказалось. Значительная часть русской эмигрантской массы заполнила собою поредевшие кадры заводских, фабричных рабочих. И это был дешево оплачивавшийся труд. Когда выяснилась нужда в большом количестве рабочих, французские агенты стали вербовать рабочих в Польше и в наиболее пострадавших от войны итальянских

провинциях. Среднего достатка французы, хозяева какого-нибудь скромного, но доходного предприятия, располагавшие комфортабельными, хотя бы и небольшими квартирами в Париже, клочком земли, дачкой в какой-нибудь приморской или горной местности, устроившие свою жизнь ладно, прочно, знавшие цену франку, пристойно и умело делавшие сбережения, интересовавшиеся политикой, процессом международных отношений и критиковавшие — осторожно, тактично — мероприятия своего правительства, приглядывались с любопытством и даже благожелательством к новым, столь новым для них людям. И чрезвычайно характерен для уверенно считавшего себя культурным гражданином свободной и высокой культуры страны француз рассказ одного моего знакомого о встрече с одним таким французом.

Тщетные поиски заработка, неудачи одна за другой, жаркий летний день, усталость привели его однажды к посулившей ему отдых широкой скамье под густой листвой какого-то дерева, свешивавшейся через невысокую ограду. Едва он присел, за оградой залаяла собака. И на лай ее к ажурным воротам и калитке рядом подошел хорошо одетый, приятной добродушной внешности человек и спросил, что ему угодно. Он ответил, что ему ничего не угодно, но что очень устал и позволил себе вот присесть на скамью. Похвалил живописность местности. — Хорошо у вас тут... Хозяин усадьбы согласился — да, действительно, хорошо, — открыл калитку и присел рядом с незнакомцем. По выражению его лица нетрудно было догадаться, что он старается определить социальное происхождение последнего. Кто такой? Откуда? По-французски говорит отлично, но иностранец. Ясно, как день.

— Тут, в городе, живете? — и, не выждав ответа, добавил. — Турист, вижу.

— Как вам сказать, — начал мой знакомый и представился, — эмигрант. Русский эмигрант. Вольцев моя фамилия*.

Назвал себя и хозяин виллы: — Деваль. По образованию химик. Но типографское дело... типография на одной из близ-

Имена собственные — изменены (прим. автора).

ких к центру парижских улиц. А здесь отдыхает, когда очень уже устает от Парижа. — А вы по образованию, — позвольте спросить...

— Юрист. Но это уже в прошлом. В далеком прошлом.

— Что же мы здесь. Пойдем ко мне в сад. Стаканчик вина выпьем. У меня не то чтобы уже очень такое. Но все-таки.

Вольцев был так утомлен и подавлен неудачами последних дней, что не размышляя и не возражая пошел за Девалем в сад, где недалеко от дома стоял под широкой липой круглый каменный стол.

Деваль побежал за дом и через две минуты вернулся с бутылкой вина и двумя красивыми стаканами.

— А какая же все-таки счастливая случайность привела вас к калитке моей виллы? — полюбопытствовал он.

— Я сегодня только из Марселя приехал. Работал там в одной конторе. Она закрылась. А в Экс я поехал по приглашению на съемку, но... — Деваль прервал его: — Но разве вы кинематографический артист? Мне послышалось, вы сказали — юрист.

— Да, я был юристом... там, дома. А здесь, чем придется... Слыхали, верно, как мы все, русские эмигранты...

Деваль подлил ему и себе вина.

— Да, да, конечно. И как много интересного вы мне можете рассказать.

Получив ответы на свои вопросы о Распутине, царице, Ленине, о царских бриллиантах, волжских стерлядях, икре, о русской водке, о Толстом, Деваль участливо спросил: — Но ценности свои вы сумели вывезти из России?

Вольцев ответил, что ему нечего было вывозить — у него никаких ценностей не было.

— Как же вы жили? А семья была?

— Была и теперь есть. Жена, легкие у нее слабые, — в Ницце, уроки музыки дает, и два мальчика, в Чехословакии в русской гимназии учатся.

Деваль слушал с явно упавшим в нем интересом.

— Но отчего, собственно, вы уехали из России? Вы монархист?

Вольцев энергично и отрицательно помотал головой.

— И не анархист? — продолжал француз. — Адвокаты ведь

и теперь, вероятно, в России нужны, и дети тоже в школах учатся, и для кинематографических съемок, и там тоже люди нужны. Зачем вы уехали? Предпочли так вот, — оглядел Вольцева с головы до ног и его небольшой холщовый мешок за плечом, и бело-серые от пыли башмаки на искривленных каблуках, — по большим дорогам...

Вольцев чувствовал, как кровь прилила, отлила от его лица, хотел встать, уйти, но тело ныло от усталости, ступни точно приросли к земле, и клонило ко сну от крепкого на пустой желудок вина.

— Долго объяснять... И я страшно устал, — мог он только сказать. — Но я вам в другой раз все охотно расскажу. Вот если бы вы мне соснуть где-нибудь дали.

Француз даже вздрогнул, привстал, опять сел.

— Хотите развести меня с моей женой. Если она узнает, что в этом доме ночевал чужой человек, она... она... Никогда... Но позвольте вам предложить — вот на ночлег в каком-нибудь отеле. — Он вынул из жилетного кармана две смятых двадцатифранковых бумажки и положил их перед незванным гостем.

— И вы взяли их? — решила я спросить.

— Я встал, неловко откланялся и пошел к калитке. И этот Деваль побежал за мной... сунул обе бумажки в карман моей куртки, заверяя, что он от чистого сердца и что когда смогу... и что он не сомневается в моей корректности. Я и вернул ему эти сорок франков — но лишь шесть месяцев спустя и получил в ответ сухое подтверждение получения долга.

О том, как мало знали французы о нас, о России, может сказать еще такая сценка, действующим лицом которой была я сама и 16-летний хозяйский сын в одном пансионе в Савоие, где я отдыхала после болезни.

Послала его ко мне мать — что-то испортилось в моей настольной лампе. Я перестала читать и с интересом смотрела, как он ловко работал маленькими инструментиками, которые брал из висевшей у его пояса почти элегантной кожаной сумки. Я молчала — и он молчал. Ему скоро надоело молчать. Он взглянул в окно, на позолоченные солнцем снежные шапки гор и не то осведомительно, не то вопросительно молвил:

— Красота какая... А...

Я согласилась — да, очень хорошо.

Он помолчал немного и спросил:

— А в России горы есть?

— Конечно, есть. Кавказ, Крым, Урал, Алтай...

— Да-да... И высокие? Настоящие горы? Или вот такие, — он подержал в воздухе ладони на высоте полутора-двух метров от пола.

— Нет, нет, не такие маленькие. Настоящие горы. Эль-брус, Арарат — выше Монблана, — невольно загорячилась я.

Юноша недоверчиво слушал, удивленно поднял лоб в морщинки.

— И море есть?

— И море есть. И не одно.

Рене с электрическим шнуром в одной руке, с ножиком в другой круто повернулся ко мне:

— Какие же такие?..

— Ну, Черное, Каспийское, Балтийское, Ледовитый океан.

— Гм... И реки тоже? Большие реки?

Я не могла не рассмеяться.

— Разве в школе вас географии не учили? Волга, Ока, Кама, Дон, Днепр, Днестр... всех не перечесать.

— Да, да, вспоминаю. У нас такой фильм тут показывали... Так, так... Значит, большая она, ваша Россия. Больше Франции?

— Да, немного как будто больше. У вас нет карты Европы?

Он не ответив, продолжал хмуро работать и вдруг огорчился вопросом:

— Почему же вы здесь, а не у себя дома? От революции убежали?

— Это долго объяснять, — начала было я и, чувствуя, что краснею и что Рене торжествует, видя мое смущение, с деланным равнодушием повторила. — Долго об этом... Как-нибудь в другой раз. Кончили?

Рене собрал свои инструментики, на мое "мерси" суховато ответил "Не за что..." и ушел.

Да, в самом деле? Почему мы здесь, когда у нас хорошо, и горы, и моря, и реки. Как было ему объяснить?

На ловца, как известно, зверь бежит. Несколько месяцев

спустя я, бродя по Провансу, попала в крошечный горный городок Англ. На площади в этом Англе — четыре аршина в длину, три в ширину, будто скатерть на двенадцать персон, стоял темно-зеленый от давности бронзовый бюст какого-то длинноусого, сердитого мужчины — Арман де Понмартен было ему имя.

Спустившись с гор, я не поленилась разузнать, кто такой этот Понмартен и почему такой сердитый. И узнала: писатель, автор нескольких романов, редактор-издатель нескольких многочитавшихся на юге Франции газет и романов, и почему-то очень не любил талантливого и остроумного критика Сен-Бева, и Сен-Бев не любил его. Но это не столь интересно было для меня, русской туристки, как то, что дед этого Понмартена, носивший еще графский титул, жил много лет в России в качестве французского эмигранта, бежавшего из Франции в 1791-ом году, и Суворов предлагал ему службу в русской армии. В Подольской губернии, на моей родине, где так хороши тополя, не хуже, если не лучше, провансальских кипарисов, в имении графини Потоцкой приютилась вся семья графа Понмартена. Чтобы отплатить за оказанное ему гостеприимство, он занялся режиссурой домашних спектаклей, в которых и сам участвовал в качестве актера. Широкое радушие, какое оказывалось в России французским эмигрантам, однако, тяготило щепетильного графа, и он высказал это однажды в разговоре с Суворовым. Будущий герой "Чертова моста" успокоил его таким ответом: "Ничего. Это гостеприимство в кредит. Будет время, когда русские эмигранты станут искать убежища во Франции. Расквитаемся".

Это не легенда наших дней. Эти вещие слова великого русского фельдмаршала приведены в биографии графа Понмартена — с датой 1864 г. — на обложке...

* * *

Русские стали открывать гастрономические лавки и рестораны. Французские лавочники-рестораторы не смотрели на них как на своих конкурентов. У русских была сначала исключительно своя русская клиентура. Постепенно интересы

русских лавочников и дельцов сливались с интересами французов, занимавшихся тем же делом. И у них скорее нашелся общий язык, чем у бывшего царского генерала с бедствующим русским художником или у бывшего царского губернатора с еврейским дантистом, ютившимся в такой же, как он, убогой квартирке в одном из самых неэлегантных кварталов Парижа.

Русские дамы открывали модные дома, и парижские большие модные дома даже не удостаивали видеть в них конкуренток. Эти русские дома обычно скоро прогорали, да и клиентура была у них преимущественно русская... Но для красивых, изящных русских девушек, молодых женщин известнейшие "Maisons de Haute Couture" охотно открывали малодоступные двери своих храмин. И многие русские манекенщицы, и первые продавщицы преуспевали на этом поприще.

* * *

В те далекие уже двадцатые годы русские эмигранты с острым интересом, с понятным волнением читали труды французских историков о французской эмиграции. О французских эмигрантах, хлынувших во все страны Европы — и отчасти в заокеанские — в самом начале, в разгаре и после Великой французской революции 1789 г. Искали у историков 19-го столетия, и у новейших (у Мадлэн, у Додэ — брата романиста), и в большом двухтомном труде Фердинанда Балденсперже (Ferdinand Baldensperger "Le mouvement des idées dans l'émigration française" — "Брожение, эволюция мысли во французской эмиграции"), сопоставлений, аналогий и делали из них утешительные выводы. Если и не очень старались авторы этих книг, то за них додумывали читатели. Так было, так будет.

Герцогини, виконты, князья, графини, бароны — носители громких исторических имен, очутившись за пределами своей родины точно так же, как русские графы, княгини, генеральши, адмиралы, сановники, продавали вывезенные бриллианты, фамильный жемчуг... Когда нечего было больше продавать, давали уроки французского языка, продавали свои

художественные вышивки, миниатюры, камеи. А там — реставрация, потом империя, и еще, и еще, и жизнь легкая, праздная, нарядная потекла в прежних руслах. Так было, так будет.

Мало было, увы, русских читателей таких утешительных, обнадеживающих книг, которые по своему интеллекту могли бы учитывать разницу этих огромных исторических процессов и разницу социальных условий, в которых оказались ушедшие или выброшенные из своей страны французы, а сто двадцать пять с лишком лет спустя — русские. Не было уже для русских эмигрантов великодушных монархов и монархинь, вроде Екатерины Второй, осыпавшей милостями, задаривавшей землями, всякими угодьями знатных французских эмигрантов, не было гостеприимных курфюрстов, где могло бы весело проводить время русское офицерство, как в свое время французская армия Кондэ в Кобленце, и не было уже ни в Италии, ни в Испании, ни в Португалии богатых монастырей, которые могли бы приютить русских эмигрантов, как в свое время широко раскрывали они двери своих затворов для французских единоверцев — католиков. И не было еще спроса на русских учителей, даже интереса не было к русскому языку — он возник много позднее. Тогда из французской массы — всего больше учителей, воспитателей пришлось на одну Россию. И "Monsieur l'Abbé, француз убогий", воспитывавший Онегина, и француз Дефорж из "Дубровского", и француз Бопре, воспитывавший Гринева, героя "Капитанской дочки", выбраны были Пушкиным из наводнивших Россию французских эмигрантов. И во всех дворянских усадьбах, по всей великой Руси появились гувернеры, "мадамы", и у них (а были среди этих эмигрантов, педагогов поневоле, много совершенно неподготовленных к педагогической работе) русское юношество училось французскому языку.

Русские эмигранты на интерес французов к русскому языку рассчитывать не могли. Очень скоро ясно стало, что, несмотря на единение Франции с Россией, несмотря на "союзы" государственного значения, несмотря на то, что во французских университетах уже десятки лет учились тысячи русских юношей и девушек, и несмотря на то, что верхи

французского общества успели уже оценить изысканность русской знати и содержатели фешенебельных отелей и ресторанов — щедрость русских гостей, средние, рядовые французы к русским эмигрантам, или, как называли их, "беженцам", относились первое время настороженно, и в любопытстве их к этой новой разновидности человеческой породы чувствовалась и опасливость, и сдержанность. Присмотреться раньше — а там уже видно будет, можно ли их звать к себе в дом. А дом, семья — для француза до этой последней мировой войны, начавшейся в 1939 году и опрокинувшей все устои, — были тем же, что для англичанина "мой дом — моя крепость".

Русские эмигранты вычитывали у французских писателей-историков утешительные упования на то, что и у нас будет то же. История, как известно, повторяется. И в наших русских городах улицы, названные именами большевистских вождей будут переименованы по-прежнему, по-старому, как это было во Франции, и нам будет возвращено все, что отнято было у нас, как возмещено было в свое время французам то, чего лишила их революция 1789 г. Русские эмигранты не вели счета своим годам на чужбине. И очень, очень мало было среди них людей, задумывавшихся над одним немаловажным обстоятельством, составлявшим существенную разницу между французской и русской эмиграцией. Якобинцы стояли у власти всего три года. И за эти три года французские эмигранты и преимущественно французская знать, культурные ее представители, очень многому научились у иностранцев, которых не знали раньше. Узнали, что можно обходиться без огромного штата прислуги, что на владельцах больших земельных угодий лежит обязанность заботиться о них, узнали на чужбине, что и в недрах их родной земли таятся возможности обогащения их родины, узнавали, что и во Франции мыслимы такие же заводы, фабрики, о которых они раньше не знали. Между феодальной знатью, между многочисленным привилегированным окружением французского двора и народной массой, обслуживавшей их, стояла глухая стена. Балденсперже в своем замечательном труде об эволюции идей во французской эмиграции рассказывает о том, как блиставшая красотой и

умом в парижском свете французская маркиза после трех лет, проведенных ею в Англии, вернувшись во Францию, пожелала впервые познакомиться со своими, несколько сокращенными уже, владениями, занялась сельским хозяйством и ввела много улучшений и в крестьянский быт, и в обработку земли. И примеру ее последовали другие землевладельцы. Так называемое "третье сословие" (*tiers état*) во Франции возникло после революции, и эта быстро организовывавшаяся буржуазия, богатевшая благодаря дешево приобретенным землям, угождая французской знати, могла создать и французскую промышленность, и в широком масштабе торговлю, и товарообмен с другими странами.

Русским эмигрантам, тем, что потеряли все, и наследственное, родовое, и благоприобретенное, нечему было учиться на чужбине. За ними был уже вековой опыт землепользования и строительства. И земства, и жертвенность, и хождение в народ, и — даром, что всего лишь в 1861 году отменено было крепостное право, — в гуманном обращении с низшими их по положению социальному, со слугами, они могли давать французам сто очков вперед.

Но русские эмигранты узнали что-то другое, поразившее и смутившее их неожиданностью. *Европа их не знала*, Франция не знала России. В те двадцатые годы сведения французов о России не шли дальше пресловутой "развесистой клюквы": водки, кнута, ну и, конечно, Распутина. На помощь русским эмигрантам пришло русское искусство. Французы, французская элита знала уже Павлову, Шаляпина, знала уже о Чайковском и Мусоргском по блестящим оперным спектаклям и концертам, организованным в 1913 году Дягилевым. Знал кое-кто уже и о юном тогда Сергее Лифаре, и о Нижинском. Но русское искусство лишь в двадцатые годы проникло в широкие слои населения Франции. Знаменитые русские артисты снабжали русских эмигрантов более ценными видами на жительство, более убедительными рекомендательными грамотами, чем всякие официальные учреждения, консульства и

комитеты, представленные именитыми американскими филантропами. Русские артисты, и не первоклассные, певцы, певицы, сыгравшиеся квартеты, танцоры и танцовщицы, в поисках заработков рассыпавшиеся по всем большим городам Франции, быстро завоевывали аудитории, почитателей и учеников. Русская музыка, русская интерпретация знакомых уже французам музыкальных произведений вносили в музыкальную жизнь страны что-то новое, волнующее, будоражившее, одних увлекавшее, других пугавшее страстностью, взмывающей удалью, остротою печали. Русская музыка, русская хореография с каждым месяцем все прочнее утверждали свое влияние. В одном, другом, третьем французском городе возникали школы — не танцев — а балетного искусства, и руководительницами их, реже руководителями, были исключительно русские балерины.

Знакомство с каким-нибудь — уже европейской или мировой известности — русским артистом, правдивый рассказ о чертах его личной жизни, о его удачах или драматическом эпизоде из его жизни сближали русского рассказчика, рассказчицу с едва знакомым французом или француженкой, зачарованными русским искусством, открывали двери в недоверчивые, надменные души французских меломанов.

Совсем по-иному складывалась жизнь писателей-эмигрантов. Эти не вывезли с собой ни сбережений, ни ценностей — только привычку писать, видеть свое имя в журналах, газетах, на обложках книг и еще — чувство достоинства и сознания, что они ничуть не хуже много издававшихся и много зарабатывавших французских коллег. Во Франции давно были известны, но отнюдь не широкой читательской массе, Толстой, Достоевский; и тот, и другой — до 1918—1920 гг. в плохих переводах. Тургенев, столько лет проживший во Франции, был известен не столько своими произведениями, сколько своей близостью к семье известной певицы Полины Виардо. Только очень малочисленная "элита", только верхи французской интеллигенции знали о Пушкине, Лермонтове, совсем мало о Некрасове, о Гончарове, о народнической литературе. Очень мало, словом, знали о том багаже, который привезли с собою и большие, и менее значительные русские писатели-

эмигранты, о том багаже, с которым они росли, духовно были крепко спаяны, который несли в себе, носили всюду с собою как не отделимое от них наследие. И казалось им — многим из них — что иностранцы, культурные французы не видят, не читают на их лицах, в их глазах, на их лбах гербов высокой духовной знатности.

Сближению русских писателей-эмигрантов с французскими писателями мешало и то, что они плохо, а то и совсем не говорили по-французски и внешне — одеждой, манерами, повадками, неуверенностью и наигранной неловкой развязностью — резко отличались от ладно-одетых, сдержанно-любезных, по привычке учтивых и осторожно-надменных французских коллег. Что мог "гордый взор иноплеменный" разглядеть в таком вахлаке, как Шмелев, в согбенном, близоруком, покашливающем, чудаковатом нарочитой чудаковатостью, скрывающей неугасимое горение духа — в этом "колдуне" А. М. Ремизове?

Больше успеха имели во Франции, в частности, в Париже в первые годы эмиграции политические деятели. Несколько аристократических салонов открыли перед ними свои малодоступные двери. И был тут не только снобизм, не только любопытство, но и несомненный расчет: эти недовольные, покинувшие свою родину люди искали поддержки у французов, и сочувствие им в конечном итоге должно было быть возмещено. Необъятная, богатая Россия, руководимая в будущем теми эмигрантами, на которых созывали гостей светские дамы, сулила также блестящие перспективы. Гастроли русских известных эмигрантов в парижских салонах были, впрочем, очень непродолжительны.

Русские художники скорее и легче других эмигрантов общались французской культуре. Язык красок, линий скоро оказался у них общим.

Интерес к русским писателям, который никогда не был очень высок, перенесен был скоро на нахлынувших из Германии писателей. Им оказано было много, много внимания. Чествования, банкеты и переводы книг. Не в широком, впрочем, масштабе. Во Франции более широкую арену имели германские драматурги, нежели беллетристы, и еще меньше

находили переводчиков поэты. Интерес к Томасу Манну подняло мировое его признание в виде Нобелевской премии. Как было и с Буниным. До получения Нобелевской премии французы знали из его произведений только "Господин из Сан-Франциско". Знали больше то, что писали о нем другие. И верили: хвалят, стало быть, есть за что. Большой французский писатель Андрэ Жид признавался, что он знает только одну эту повесть, что не мешало ему восхищаться Буниным, даже его плохим французским языком. Он понимал Бунина с полуслова и даже без слов. К русским писателям возник во Франции интерес лишь в самое последнее время и лишь потому, что возрос интерес к России.

У германских, австрийских писателей, носителей известных имен не могло быть тех материальных забот, какие выпали на долю и какие мешали работать и унижали русских эмигрантских писателей. У них — у Томаса Манна, у Генриха Манна, у Альфреда Керра, у Фейхтвангера, у Альфреда Даблина, у Франца Верфеля и нескольких других оказался "в изгнании" солидный резерв в лице крупных голландских издательств "Кверидо-Ферлаг" и "Аллерт де Ланге-Ферлаг" и двух-трех выходивших в Голландии немецких журналов. Если эти писатели и лишены были самой многочисленной родной аудитории, то все же положение их было неизмеримо лучше, чем положение русских писателей.

А там — понаехали во Францию испанцы. У каждого из испанских писателей, не принявших политического курса Франко, было уже в тридцатых годах больше читателей во Франции, чем у всех эмигрантских русских писателей вместе взятых. После английских писателей, давно имеющих во Франции большой круг читателей, наиболее популярные — это писатели испанские. Объясняется это, во-первых, общими границами — Восточные и Западные Пиренеи, — некоторым родством языков и главное, той силой притяжения, какую всегда представляла Испания для писателей и туристов. Испанские писатели были в Париже "как дома". В любом французском издательстве, в любом французском периодическом издании, по духу им близким. Богатейшие в мире испанские газеты, выходившие в Буэнос-Айресе, в Рио-де-Жанейро, как

"Пренса", "Национ", перебивали друг у друга сотрудничество испанцев-эмигрантов.

Они устраивались комфортабельно, снимали отличные квартиры, виллы, широко принимали — и никто из них не мог жаловаться на то, что "полынью пахнет хлеб чужой". Это была эмигрантская "знать" — и не было ей дела ни до русских эмигрантов, ни до русских писателей. И я не помню случая, когда бы со стороны какой-нибудь русской культурной группы была сделана попытка сближения с испанцами. В "Университетском городке" — *Cité Universitaire*, — раскинувшемся на самой близкой к столице окраине, на широкой территории этого поселка, состоящего из прелестных "домов наций", был у Испании свой дом, где в отличных условиях могли, как и в других такого рода домах, жить долгими месяцами и спокойно работать испанские писатели, ученые, художники... У русских писателей ни до, ни после революции своего такого "дома" в Париже не было.

Но вряд ли в других очутившихся вне родины эмигрантских группировках так быстро развилась приспособляемость к условиям чужеземной жизни и одновременно — взаимопомощь, как среди русских эмигрантов. Испанским писателям не было надобности, как и самым известным немецким писателям, устраивать вечера в свою пользу, которые были бесценным подспорьем в жизни русских писателей-эмигрантов. Какое это было каждый раз хлопотливое дело и какое горячее участие принимали в нем дамы-устроительницы... Съемка зала, распространение билетов. И я не помню такого вечера, который бы не проходил при переполненном зале. А в результате была возможность уплатить за квартиру, уплатить накопившиеся долги, приодеть себя, детей, у кого они были... Известные музыканты, певцы, драматические артисты охотно содействовали своим участием успеху таких вечеров. Только два русских писателя не "давали" таких вечеров в свою пользу: Алданов и Осоргин. Один раз выступил Шаляпин на таком вечере — это был последний из ежегодно устраивавшихся вечеров Дон-Аминадо. Шаляпин не пел, сказал только несколько слов о том, что видел на своем веку много фонтанов, но такого неиссякаемого фонтана остроумия, каким владел

Дон-Аминадо, не видел нигде. Не во фраке, не в былом своем великолепии, а просто в какой-то свободной куртке, и был не совсем здоров, и лицо его говорило об усталости, но голос звучал такой богатой, сочной полнотой, что было бы удивительно и странно, если бы его коротенькая речь не покрылась оглушительными аплодисментами.

Раз в год, накануне Нового года по старому стилю — и это называлось "под русский Новый год" — устраивались большие концерты, завершавшиеся балом, с лотереей и великолепным буфетом. Эти вечера — гвозди русского сезона — устраивались Союзом Русских Писателей и Журналистов, который почти до самой войны возглавлял Павел Николаевич Милюков. Под эти вечера снимались два этажа большого отеля "Лютеция". И русская эмиграция и талантами участвовавших артистов, и туалетами женщин представлена была великолепно... Эти ежегодные русские концерт-балы посещались иностранцами, гостившими в Париже, о них писали французские газеты. И в одной из них был забавный отчет, который не мог не использовать потом Дон-Аминадо. Репортер распространенной французской газеты, описывая великолепие бала, особое внимание уделил мундирам бывших царских генералов и адмиралов и красоте униженных бриллиантами кокошников и расшитых серебром и жемчугом сарафанов на обольстительных обладательницах "ам слав". И самое пикантное в этом отчете было то, что ни одного мундира и ни одного кокошника этот наблюдательный репортер видеть не мог.

Были еще возникавшие, распадавшиеся, опять возрождавшиеся скромные организации, имевшие целью помощь писателям, ученым и художникам. Одна из них, работавшая усердно и жертвенно, возглавлялась женой Бунина, Верой Николаевной (урожденной Муромцевой), и женой профессора Эльяшевича. Ежемесячное пособие в несколько сот франков, которое посылало "АМОР" — так называло себя это содружество — тоже являлось в то время бесценным.

В "Последних Новостях" уже на третий-четвертый год существования газеты создана была с общего согласия сотрудников "Касса взаимопомощи". От каждой статьи или от жалования, получавшегося некоторыми сотрудниками, отчис-

лялся какой-то, не помню точно, процент. Сотрудники могли брать из этой кассы отчислявшиеся от их гонораров небольшие суммы, пополнявшиеся в иных случаях авансами, и они бывали для нас спасительной поддержкой.

С разрешения администрации газеты, с сочувственного соизволения главного редактора возникла в стенах самой же редакции кантина для сотрудников, бессемейных или семьи которых жили за городом или в отдаленных от редакции кварталах. "Кантина", пожалуй, — неточное определение этой шеголеватой электрической плиты с тремя конфорками, с двумя духовками, приютившейся в крохотной комнате, когда-то служившей кухней прежним хозяевам этой квартиры. И по размерам она мало отвечала большой светлой квартире из восьми комнат на улице Тюрбиго, 51, где редакция "Последних Новостей" помещалась уже в 1931 г. Ведала кухней вдова милого талантливого поэта Потемкина, Любовь Дмитриевна Потемкина. Готовила превосходно, опрятно, аппетитно, и сотрудники получали из ее изящных рук завтрак за 10-15 франков, за который в самом скромном французском ресторане надо было платить 50-75 франков. Она же отпускала — и тоже за гроши — чай и кофе сотрудникам и очень обижалась, когда кто-либо из сотрудников не при деньгах отказывался брать у нее завтрак в долг. Впрочем, каким-то непогрешимым в известных взаимоотношениях чутьем товарищи обезденежавшего сотрудника приглашали его к своему покрытому клеенкой столику и оплачивали его завтрак. Никто из сотрудников "Последних Новостей" не уходил из редакции голодным.

Русская печать — ежедневная, периодическая — русские журналы, два-три русских издательства, русские книжные магазины были нашей городостью, нашим не только материальным, но и моральным оплотом.

При всех политических, идеологических расхождениях это все же был некий монолит, о котором узнавали, знали французы. Они видели вывески на зданиях, где помещались редакции, конторы русских газет и журналов и книжных магазинов. Автоматически рос контингент русских наборщи-

ков, и русские наборщики входили в синдикат французских наборщиков и подчинялись общему уставу.

И, наконец, русские были аккуратными налогоплательщиками. И едва ли не эта аккуратная налогоплательщность зачтена была русским как главная их добродетель. Уклонение от платежа налогов грозило, впрочем, такими неприятностями, такими осложнениями и без того сложного эмигрантского быта, что и малоимущие русские люди избегали нарушать закон.

Французы начинали считаться с нами. П. Н. Милкоков уборщицу, приходившую каждый день убирать редакционные комнаты, встречал так же учтиво, как встречал именитого посетителя. Его примеру невольно следовали и сотрудники, что располагало к нам простых людей. И скоро пошла слава, хорошая слава о русских эмигрантах. Француженки — уборщицы, горничные, кухарки, прачки — предпочитали служить русским семьям, чем французским.

* * *

Будни наши, очередная работа, заботы о близких, о себе, о своем здоровье, об улучшении, украшении квартиры, комнаты, усилия осуществить мечту о поездке к морю, в горы, стремление получить по доступной цене билет на концерт какой-нибудь музыкальной знаменитости, жертвенные подчас усилия обзавестись хорошим радиоаппаратом — чтобы после трудового дня, не выходя из своей квартиры или из своей комнаты, послушать хорошую музыку, последние политические новости, и редко удававшиеся старания попасть на послушную волну и поймать передачу из Москвы. Все это течение дня, смены дней и ночей, больших и маленьких радостей заслоняли перед нами, русскими эмигрантами, огромной важности и безмерно трудную для разрешения проблему: что мы, собственно, представляли собою во Франции, для Франции и для французов, и как страна в целом, как французы, в частности, парижане, жители больших городов, относятся к нам и почему, в сущности, нас терпят. Ибо — как никак — лишние рты <...>

Часть одного хотя бы парижского, скажем, 16-го квартала, вскоре после окончания войны заселившегося по закону взаимного притяжения русскими, может дать более или менее точное представление о русской в Париже эмиграции первых ее годов.

Большой отель на бульваре Экзельманс — второй дом от набережной Сены. Он состоит из больших и небольших комнат, к большинству из них примыкает уборная с умывальником, к нескольким — ванная комната с крохотной газовой печуркой. В отеле этом так много русских, осевших прочно, к скромной отельной обстановке прибавивших кое-какие свои вещи — свои одеяла, самовар, иконы, семейные или групповые, полковые или школьные, институтские фотографии, свои, из России вывезенные, чайники, коврики и запахи, запахи, неповторимые и мыслимые лишь в русских тесных квартирах — не бедных, но и не имущих людей, — что в этой массе обитателей совершенно не заметны и не слышны были часто, впрочем, менявшиеся французские, большей частью из провинции, наезжавшие постояльцы.

В этом отеле жил бывший предводитель киевского дворянства Сергей Сергеевич Уваров с красавицей женой, гречанкой по происхождению; двое детей их, юноша и девочка-подросток, жили не с ними, а в одном детском приюте со школой недалеко от Парижа. Этажом ниже — баронесса Нольде, в недавнем еще прошлом богатая витебская помещица, с дочерью. Известный балетный критик А. А. Плещеев, драматическая актриса Е. Н. Рощина-Инсарова, вдова известного в свое время в Петербурге банкира, Чаманская, еще одна семья Плещеевых, чета пензенских помещиков — муж и жена Панютины, сотрудница "Последних Новостей" (А. Даманская), сотрудник газеты "Возрождение" А. А. Гефтер, русская дантистка — без зубоврачебного кабинета, русский бывший военный врач — без права практики в чужой стране, еще трое бывших военных, носивших сильно подержанные военного покроя куртки-пальто без погонов и без металлических пуговиц. При встрече на лестнице друг другу отдавали честь по-военному. Русский художник, еще одна русская артистка, обладательница отличного голоса и больных легких...

В прошлом — один из самых богатых землевладельцев Киевской губернии и обладатель великолепного дома-дворца на Бибиковском бульваре, долголетний предводитель киевского дворянства, хлебосол, статный, красивый — Сергей Сергеевич Уваров, выброшенный за борт русской жизни, сумел сохранить только *неотъемлемое*: исключительное музыкальное дарование. Абсолютный слух, исключительную музыкальную память. Почему он не стал виртуозом, почему не завоевал широкой известности — можно было объяснить отчасти ленью, отчасти нерадивостью воспитывавших его людей к его дарованию и, вероятнее всего, тем, что служба в одном из самых аристократических гвардейских полков и связанная с этой службой веселая столичная жизнь, кутежи, балы, придворные парады были заманчивее учебы и упорного культивирования данного ему природой дара. На какие средства он жил в те эмигрантские годы, когда я познакомилась с ним? А было это не то в 1925, не то в 1926 году. Если это можно было называть жизнью: неряшливая, чтобы не сказать грязная, комната, поношенная одежда, заработок жены, служившей продавщицей в модном магазине на Елисейских полях и на супружескую верность давно махнувшей рукою как на совершенно ненадобную в условиях эмигрантской жизни добродетель. Он часами играл, и все на память, на расстроенном пианино в маленькой плохо освещенной гостиной отеля, играл превосходно, восхищал слушателей, и по лицу его видно было, что музыка для него — опиум, гашиш, источник забвения и часто способ утоления голода. Питался он плохо — жена целыми днями отсутствовала, по вечерам в гости уходила. Он не гнушался получать от других знакомых жильцов того же отеля остатки от их завтраков и обедов. Иногда его приглашали в качестве танцора в какой-нибудь знатный французский дом, где хозяева кем-то осведомлены были о его происхождении, о его прошлом. За такой вечер он получал 300 франков, из которых на следующий же день уплачивал самые неприятные долги — в табачную лавку, гарсону отеля, какому-нибудь настойчивому и недоверчивому кредитору. То ли он скрывал, что кое-что и читал, кое-что интересное на своем веку перевидал, то ли все перезабыл, но

разговорчив он не был и производил впечатление человека не очень умного, вернее, ограниченного. Но садился за пианино, клал на клавиатуру свои породистые руки, и лицо его преображалось... Одухотворялось, утончалось, и становилось жалко его до слез.

Мне приходилось иногда заходить в их комнату. Но дальше порога входить не решалась: отпугивала грязь, беспорядок и удушливый воздух редко, верно, проветривавшейся комнаты.

Я уезжала куда-то на несколько недель. Когда вернулась, мне сообщили: а нашего пианиста нет. Умер ночью, во сне. И жена его из отеля этого переехала в другой. Долго вдоветь, долго скорбеть ей поклонники ее не дали. Да и некогда было предаваться унынию: дети подрастали, дочь развивалась в стройную, не такую красивую, как мать, но все же очень привлекательную девушку. И надо было их устраивать. Как она их устроила — не знаю. Встречать ее больше не приходилось.

Баронесса Нольде — очень общительная, характера легкого, веселого — была одной из многих баронесс, графинь, княгинь, разрисовывавших тарелочки, косынки, скатерки, и была одной из немногих, находивших сбыт своим тарелочкам и косынкам. Беспорядок в ее комнате, которую она называла "ателье", стоял фантастический: чайные ложечки в мисочках с красками, пальцы перчаток купались в тех же мисочках, потом подвергались мытью и перекрашиванию... На краях тарелок с застывавшей едой алели, желтели, голубели, лиловели пятна красок, и так как окно ее комнаты выходило на крышу, то приходилось ей постоянно воевать с залезавшими к ней кошками, доедавшими ее убогие завтраки, вылизывавшими остатки манной каши на тарелке, лакавшими молоко из ею же разрисованной фарфоровой чашки... Спала она на узком диване, а за ширмой — ее дочь, высокая некрасивая, худощавая, плоскогрудая девушка, но всегда аккуратно и даже элегантно одетая, даже чересчур элегантная, молчаливая и надменная. Она, благодаря давним связям матери и давно умершего отца, барона Нольде, получила представительство большого парижского дома, специальностью которого было тончайшее и очень дорогое белье. Настойчивая, неугомонная в

ходьбе, она завоевала и клиенток в богатых светских домах, куда ее приглашали, а мать не приглашали. К удивлению хозяев и обитателей этого отеля, она выходила из своей неопрятной комнаты, когда отправлялась на званый вечер, в отличном вечернем платье — с чужого плеча, но умело приспособленном к ее фигуре, с глубоким декольте, с обнаженной чуть не до талии спиной... И так как она воспитывалась в Петербурге в аристократическом институте и отлично говорила по-французски, по-английски, то на одном таком званом вечере встретила богатого американца, которого сумела очаровать своими светскими манерами, своим титулом и тем, что хорошо рассказывала о великолепных царских и великокняжеских балах, на которых никогда не бывала... Американец был женат. В ожидании развода — получить его от жены-американки было мало шансов — уговорил пленившую его баронессу поехать с ним во Флоренцию, где у него была небольшая вилла. Поехали, и мать с собою прихватили, и американец окружил их заботами и комфортом. Но организм немолодой уже девушки, истощенный годами непосильного труда и недоеданием, не вынес обрушившихся на нее благ. Давно гнездившиеся в ней туберкулезные микробы пышно развились в Италии и полтора года спустя свели ее в могилу. Был слух, что американец кое-чем — не очень щедро — возместил матери ее переезд из Парижа в Италию и несбывшиеся надежды на спокойную старость. На дорогой памятник своей кратковременной возлюбленной, однако, не поспешил.

Драматическая актриса Е. Рощина-Инсарова, обительница того же отеля на бульваре Экзельманс, в свое время, до первой мировой войны, с успехом игравшая в петербургском Малом театре Суворина, в Москве — в театре Корша — и в крупных провинциальных центрах, в Париже оказалась "не у дел".

В труппе, уже в начале двадцатых годов возникшей в Париже, ей места не оказалось. Вероятнее всего, потому, что во главе этой скоро спевшейся труппы стояли артисты Московского Художественного театра М. Н. Германова, Г. М. Хмара и неожиданно расцвели, засверкали молодые дарования — Е. Н. Кедрова, Евгения Скован, и с ними у Е. Ро-

щиной, актрисой старой реалистической школы, не оказалось общего языка.

Рощина-Инсарова не растерялась. Стала давать уроки декламации и выразительного чтения. У нее был сын, вывезенная из России старая няня. На заработок от уроков жить нельзя было. Давний ее друг, близкий ей человек А. А. Плещеев, в России много содействовавший ее артистической карьере, в годы эмиграционные поддержкой быть ей не мог. К тому же он стал слепнуть и сам нуждался в заботах о себе.

Богатый эмигрант Б. Гордон, субсидировавший "Иллюстрированную Россию", внепартийный художественно-литературный еженедельник, покупавший не нужные ему картины художников, которым нужны были его деньги, Гордон этот выручил и Рощину-Инсарову: предоставил ей пользоваться его квартирой в вечерние часы для "Salon de bridge". В Париже неблагозвучному русскому определению "игорный дом", или еще хуже "игорный притон", нашлось облагораживающее его наименование "Salon de bridge". Это занятие кормило. После смерти Плещеева, скончавшегося на улице, на скамейке, на которую присел отдохнуть, от разрыва сердца, после отъезда Б. Гордона в Америку Рощина с подростком сыном, который себя прокормить не мог, пробивалась кое-как, благодаря имущим друзьям из эмигрантов, благодаря благотворительным русским организациям. С 1951 года она живет в "Доме Земгора", в так называемом "Доме для престарелых" в близком от Парижа городке-деревне Кормей ан-Паризи.

Этажом выше Рощиной, в том же отеле на бульваре Экзельманс жил бывший крупный пензенский помещик Панютин, как и Уваров, несколько лет подряд избиравшийся в предводители дворянства. Панютин — из рачительного и, как мне рассказывали, умелого сельского хозяина — в эмиграции открыл в себе новое дарование: оказался неплохим актером-комиком и мимистом, упорно ходил из одной кинематографической студии в другую, из конторы одного более или менее известного синеаста в другую... И добивался — с переменным, правда, успехом — того, что искал. Статистом в одном, другом, третьем фильме, изредка, где не требовалось правильное французское произношение, маленькая коми-

ческая роль. Жена, хорошенькая женщина, страстно и запальчиво осуждавшая всех виновников, всех политических деятелей, из-за которых пришлось ей бежать за границу, быстро выучила в одном парижском "Институте красоты" (Institut de beaute) эстетический массаж, маникюрное искусство, успешно искала, находила клиенток, ходила из дома в дом с ящиком или с маленьким чемоданчиком, наполненными щеточками, пилочками, кремами, красками... и ничего, жили, не голодали, не тужили и уверенно ждали: скоро, скоро большевистская власть будет свергнута, и все будет, как было... Панютин, бедняга, не дождался. Был разорван германской бомбой, бомбой тех самых немцев, от которых он ждал освобождения России от большевиков <...>

Два бывших офицера — эти в одной комнате жили. Полковые товарищи. Оба симпатичной наружности, всегда оживленные, оба ладно скроенные. Хозяева отеля к ним благоволили — за учтивость, опрятность и за то, что по-французски почти без акцента говорили. Платили за комнату неаккуратно, но их не притесняли. Верили их заверениям — подработают, заплатят. На чем и каким способом заработают, их из деликатности не спрашивали, а они в свои упования никого не посвящали. Но доверие хозяев не обманули. Оба стали выступать в "Прадо" — многопосещаемом кафе-баре на Елисейских полях — в оркестре балалаечников. И кассирша отеля, которой они раз дали даровой билет на их выступление, захлебываясь от восторга, рассказывала: "Нет, если бы вы видели, как они шикарны — в бархатных шароварах, в ярко-желтых косоворотках — и так хорошо, так весело. Так замечательно играют — я даже и не узнала их".

Обладательница в прошлом отличного сопрано — в настоящем обладательница больных легких — после нескольких лет бедования и недоедания нашла место кассирши в одном французском ресторане, где платили ей плохо, а кормили хорошо, и где она, несмотря на хорошее питание, худела и медленно угасала.

Еще два бывших офицера: один — бывший мелкопоместный помещик, другой — на военной службе специализировавшийся в починке мотоциклеток и автомобилей. Первый

скоро приобрел среди русских же эмигрантов все разраставшуюся клиентуру, которой поставлял два раза в неделю отменно свежие доброкачественные молочные продукты, за которыми мчался в парижские предместья и дальше, в Нормандию... Другой, товарищ — одну комнату вдвоем занимали, пристроился шофером. Этому и вовсе повезло, стал шибко зарабатывать, женился на француженке, но неудачно женился, запил, спился и при мне кончил свой век в больнице.

Две хорошеньких девушки, внучки очень степенного и несколько надменного вида адмиральши, то есть вдовы одного погибшего в морском бою адмирала, к умилению и отчасти завистливому удивлению других русских обитателей отеля, проявили не по летам энергию, настойчивость и нашли то, чего искали. То, что сулило им кров, независимость и возможность удовлетворять скромные потребности воспитавшей их в богатстве, в роскоши старой адмиральши. Одна принята была манекенщицей в большой модный дом, другая — помощницей к получившему право практики русскому дантисту-еврею. Дантист этот был холост, недурен собою, молод, учтив — и опасения адмиральши насчет возможности сближения между ним и ее внучкой, носительницей известного в России стародворянского имени, опасения эти не могли не сбыться. Дантист часто провожал свою миловидную помощницу домой и в подъезде долго прощался с нею. Так долго, что эпилог этих длительных прощаний был неизбежен. В конце концов и женился на ней, и внучка знатной адмиральши стала носить еврейскую фамилию.

А в отходивших от бульвара Экзельманс тихих, опрятных улицах и подальше, ближе к Булонскому лесу, жили русские эмигранты другой социальной породы. Не расовой, не духовной — именно социальной. Это были уже верхи русской эмиграции: дельцы, ломавшие большие прибыльные дела, синеасты, быстро в Париже завоевавшие известность талантливостью, находчивостью и умением привлекать нужных и даровитых сотрудников. И такие синеасты, как Кампанеец, Венгеров, без домогательства признания, без больших даже усилий приобщая свои имена к всепризнанным именам французских синеастов, все же в своей самостоятельной работе, к

своим самостоятельным постановкам старались привлекать возможно больше русских сотрудников. Русских художников, русских гримеров и гримерш, русских костюмерш, русских статистов и статисток. Богатевшие, преуспевавшие русские обитатели хороших квартир и даже особняков давали работу, заработок русским обитателям дешевых, скромных отелей, которые в недалеком и постепенно тускневшем в памяти прошлом жили в таких же нарядных, если не наряднее, квартирах и особняках.

Но слияния в один эмигрантский блок, единения между "верхами" и "низами" эмиграции не было, не могло быть. Ибо одни — искренне или самообманно — ни над какими превратностями судьбы не задумывавшиеся, брали от жизни в настоящем то, что она давала, и одни проявляли к другим, к людям, обойденным судьбою, к неудачникам либо полное равнодушие, или подлинное или не совсем искреннее сочувствие. Не вымышленным, а подлинным, из живой жизни вырезанным, как из большой картины чем-то заинтересовавшая нас деталь, живым примером много раз повторявшихся скачков удач и неудач, думается, лучше всего иллюстрируется взаимоотношение разных групп русской эмиграции.

Дни, когда в константинопольском ресторане "Мыс Доброй Надежды" богатые левантийцы, голландские скотоводы, американские магнаты платили сумасшедшие деньги за столики, за которыми подавали русские княгини, графини, вдовы павших на войне русских генералов, адмиралов — подлинные и самозванные — дни этой фантастической новизны и быстрых, угарных смен давно уже выдыхались в ларце воспоминаний, ну, скажем, Анны Павловны Игрек.

После Константинополя была Прага, уроки музыки, болезни детей, смерть одного из них, краткосрочный роман, давший радости мало, обиды много, охлаждение к ее урокам, новые знакомства, отчего-то не укреплявшиеся, размолвки со старыми знакомыми и опять примирения, объяснения, слезы, медленно, глухо, но успешно вытравлявшие из души все, что было ее благоуханием: отходчивость, незлобивость, нежность. А там Париж.

"Ну, разве можно сравнить", — писала она в Прагу, потому что обещала писать, таким облегчением было сердцу писать о том, чего не было. О том, что нашла место экономки у одного богатого промышленника, что под ее начальством кухарка, две горничных, и промышленник этот и его жена, люди очень культурные, очень деликатные, отвели ей одну из лучших комнат в своей огромной квартире, и вне тех немногих часов, какие она отдает хозяйству, она пользуется полной свободой. Писала еще, что, дорожа этим местом, она охотно выполняет единственное поставленное ей условие: не принимать у себя никого из своих родных и знакомых. Потому она и адреса своего никому не дает и даже к дочери своей за город ездит — "отличный пансион, где только дети из хороших семейств" — а к себе ее никогда не привозит.

Дописав такое письмо, Анна Павловна быстро запечатывала конверт и так же быстро наклеивала марку. Марка была залогом того, что не поддастся искушению вскрыть конверт, разорвать и написать другое письмо, правдивое, искреннее. О плохонькой комнате, о жесткой узкой кровати, о том, что несколько раз уже напоминала, что хотя бы матрац ей помягче и коврик какой-нибудь на каменный пол мансардной ее комнаты — и так ноги болят, и каждый раз хозяйка ее хмурится, говорит о "плохих временах", обещает что-нибудь придумать и заказывает обеды, завтраки, закуски, вина, птицу всякую, все дорогое и всего много... А чуть-чуть бы поменьше, чуть-чуть подешевле, и хватило бы и на матрац, и на коврик. Но об этом и о своей острой, жгучей ненависти к этим, ну, скажем, Зетам, которых она ненавидела за то, что служила им, а не они ей, она не писала, не говорила никому. Даже дочке своей Мусе, учившейся не в "отличном пансионе вместе с детьми из хороших семейств", а в скромном приюте для русских девочек, где она скучала, бледнела и при каждом свидании с матерью грозила ей самоубийством.

Принимали однажды важного нужного гостя, русского тоже, из Лондона. Анна Павловна в этот день превзошла себя. Гость восхищался пирожками и соусом, а вкусив ложечку орехового парфе, и вовсе в восторг пришел. И едва Анна Павловна закрыла за собою дверь столовой, до нее донеслось: "Это

она, княгиня наша... Искусница такая..." — И она не удержалась: осталась за дверью дослушивать и услышала: ее хозяйева Зеты, перебивая друг друга, осведомляли гостя: "Да — а... превратности судьбы... Когда-то ее повара, ее дом, известны были всей Москве".

Чем разряжалась горечь обиды, на чем отдыхала уязвленная судьбою душа такой Анны Павловны Игрек? Мечты о чуде, о возмездии, чаяния чуда, возможности мести. Чудо, вернее, первая половина чаемого чуда, свершилось раньше, чем ожидала его Анна Павловна Игрек в самых жарких своих мольбах о его свершении: Зеты разорились, и г-жа Зет перестала заказывать г-же Игрек дорогие обеды.

В то утро, когда г-жа Зет с заплаканными глазами говорила своей кухарке о миллионной концессии, какую получил ее супруг в Голландии, и что она пришлет ей жалованье за последних полтора месяца, лишь только они приедут в Амстердам, Анна Павловна знала уже твердо, что никаких миллионов Зеты не получают и недоплаченное жалованье не пришлют они из Амстердама, куда вовсе и не собирались, и не предчувствовало только ее сердце, очень огорченное потерей места, близости другого чуда.

В тот же день девочка ее Муся, посланная за какими-то покупками, попала под автомобиль, из-под которого вытащили ее окровавленной и без сознания. Это было действительно чудесное и чреватое неожиданными чудесами событие: раны оказались легкими, и собственник автомобиля, богатый бельгиец, которому почему-то важно было скрыть, зачем он очутился в этом пригороде и в тот день на этой дороге, сам вызвался поговорить с матерью раненой девочки и без вознаграждений дал ей чек на большую сумму денег.

А полтора года спустя Анна Павловна Игрек остановилась перед витриной новооткрывшегося русского гастрономического магазина. Маленький был это магазин, вернее, даже лавочка, но за окном лежали такие аппетитные булочки, бублики, маковки, какие любила Муся. Она вошла.

— Дайте мне, пожалуйста... — и осеклась: перед нею с замусоленной записной книжкой в руках стояла г-жа Зет.

Не та, которой она приносила в спальню кофе и поджаренные ломтики белого хлеба, не та, которой она служила

добросовестно и которую ненавидела, а другая — обрюзгшая, подурневшая, с неутаимой печальной заботой в глазах, но эта была она — мадам Зет.

— Анна Павловна... Неужели вы... Но как вы изменились... вот уж... Разбогатели...

И Анна Павловна ответила скромно, и голос ее звучал правдиво.

— Мы получили наследство... Из Прикарпатской Руси — от брата моего покойного мужа.

— А... — в горле г-жи Зет будто хрустнуло, треснуло что-то. Она отпустила ей бубликов, холодными пальцами дала сдачу и обратилась к новым покупателям. Две барышни, господин с мальчиком. — Пирожков, с мясом, с грибами... Еще тепленькие. А вам, миленький, тянушек, да?

Барышни смотрели вслед Анне Павловне Игрек. Ладная фигура, отлично сшитое платье.

И г-жа Зет, уловив их взгляд, зашептала: "Моя бывшая кухарка. Мои ботинки donaшивала. Чаевые от гостей наших получала. Миллионное, будто бы, наследство получила... Какие-то замки чешские... Вам сухариков? Сама, сама пекла... Но что вы на это скажете. В кухарках два года у меня жила..."

Этот близко мною наблюдавшийся случай, во все перипетии которого я была посвящена, с теми же вариантами, с участием тех или иных действующих лиц повторялся в эмигрантском быту несчетно много раз... "Первые" оказывались последними, а "последние", спустя год, два, три унижений и обид, оборачивались "первыми". И эти, и другие представляли собой значительную часть эмигрантской массы. С годами, по мере того как росли дети, учившиеся во французских школах, дети эти в большинстве своем приобщались интересам французской молодежи, интересам, которым чужды были их родители.

Вспоминаю такой случай. Заряженная какой-то большой "русской" политической новостью я поехала, взвинченная этой новостью, к Анне Ильиничне Андреевой, вдове Леонида Андреева. Меня удивила царившая в доме тишина. На мой стук в дверь ответа не последовало. Я открыла дверь в прихожую, другую дверь и растерянно остановилась на пороге. Комната была полна молодых людей, молодых девушек,

подростков. Все молчали и сосредоточенно, благоговейно — как слушают верующие молитву или проповедь — слушали голос спикера, сообщавшего детали разыгрывавшегося в это время теннисного матча на стадионе в Отей.

На меня замахали руками, зашикали. Не спрашивать, не говорить, не мешать. Между несколькими командами шла борьба за кубок Дейвиса. Ни А. И. Андреевой, ни мне не были знакомы имена теннисистов, о которых орало радио. Ее детям, товарищам, подругам ее детей они были знакомы. Им самим и досуга не было для тренировки, и не у всех была эта возможность обзаводиться хорошими ракетками, и доступ в спортивные команды немногим тоже был открыт, ибо не всем была доступна сумма членских взносов. Но с каким торжественным вниманием слушали они спикера и с каким ликованием подхватили сообщение о том, что кубок Дейвиса остался в этом году за Францией.

А год этот был насыщенный важными событиями, важными для отцов, для старших братьев, для наставников, для духовных, политических представителей русской эмиграции, так сокрушавшихся о материальных недостатках в быту русского юношества, так много чаяний на него возлагавших и ничего, ничего ровно не знавших о кубке Дейвиса. Постепенно обозначалась, ширилась между поколениями — межа...

Окончание в следующем номере

ИЗ БУМАГ В. Г. ЧЕРТКОВА И ЕГО СОВРЕМЕННИКОВ

**Вступление, публикация и примечания
А. Д. Романенко**

В истории русской литературы Владимир Григорьевич Чертков (1854-1936) остался по преимуществу как "ближайший друг и главный редактор первого полного собрания сочинений Л. Н. Толстого", как своего рода апостол и апологет новой веры. Это справедливо и верно, но в этом заключается лишь часть правды, ибо и сам по себе Чертков представлял собой достаточно незаурядное и сложное явление на небосклоне общественной жизни России рубежа XIX и XX веков.

Монументальное 90-томное собрание писаний Толстого, задуманное, начатое и в значительной своей степени при жизни осуществленное Чертковым стало воистину нерукотворным памятником не только великому писателю и мыслителю, но и его непоколебимо верующему и ревностному последователю, "оглашателю слова Божия". Это замечательное издание, как и вся предшествовавшая ему деятельность Черткова по пропаганде толстовского учения, самое неутомимое его подвижничество на толстовской ниве как бы отодвинули на второй и даже третий план, накрыли густой тенью его собственное творчество и его собственную деятельность, в особенности тот ее период, что развернулся после смерти Толстого сперва в императорской, а затем в советской России.

Густой тенью одет и человеческий образ Черткова, особенности его характера и интеллекта, по сей день вызывающие полярные, взаимоисключающие оценки — от восторженного преклонения до презрительного отрицания. Первую, оставшуюся по большому счету единственной, попытку рассказать собственно о Черткове, сделать первый шаг к воссозданию его личности на строго документальной основе, много десятилетий назад предпринял Михаил Васильевич Муратов (1892-1957), писатель, историк, исследователь русского сектантства, активно участвовавший в толстовских организациях начала 20-х гг. Опираясь на чертковский эпистолярный, Муратов создал интересную, недостаточно используемую даже современными исследователями книгу "Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке". М., 1934. Однако и в его книге рубежом стал 1910 год — год смерти Толстого.

Спустя почти полвека, также исходя из неизвестных дотоле документов, книгу о толстовцах написал русский прозаик М. А. Поповский "Русские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе" (Лондон, 1983). Поповский поведал миру о горьких судьбах российских учеников Толстого в советский период, посветив немало страниц и Черткову, его отношениям с "власть предержащими". Поповский "заглянул" в архив Черткова, который, к глубокому сожалению, по сей день остается почти неизученным и даже научно не описанным во всей его полноте. Между тем хранящихся там интереснейших документов вполне хватило бы на несколько томов "Литературного наследия".

Короче говоря, почти четверть века жизни Черткова и по сей день остается "за кадром", кроме, естественно, его редакторской работы.

Волевой, сильный, интеллектуально богато одаренный, по рождению и воспитанию принадлежавший к высшему слою родовой русской аристократии, Чертков пережил глубокий внутренний кризис, подлинно сумев стать из гвардейского Савла толстовским Павлом, причем вступил на этот путь самостоятельно, без опоры на учение нового Христа, каким сделался для него позже Толстой. Чертков был категоричен и строг в своих суждениях и действиях, неумолим и последователен в осуществлении своих решений, подчас не обращая внимания на личность своего сотрудника или собеседника. Если на его пути оказывался человек достаточно

сильный, как, например, Н. С. Лесков или позже В. В. Розанов, иначе, по-своему воспринимавший окружающий мир и питающие его идеи, неминуемо наступал конфликт.

Душевная близость к Толстому, единомыслие с ним, по глубокому убеждению Черткова, давали ему исключительное право на единственное представительство Толстого и перед современниками и перед потомками — хотя степень этой близости и единомыслия некоторыми проницательными наблюдателями, например, З. Н. Гиппиус, подвергалась сильному сомнению. Чертков требовал своего рода кальвинистской исключительности, и это стало одной из причин его тяжких, взаимонепримлемых отношений с семейством Толстого. Он был нетерпим и непримирим и оказывался жесток. Это отталкивало от него даже близких по духу людей, какой была, например, Александра Львовна Толстая. А ее брат Михаил писал: "Чертков был человек тщеславный, упрямый, лицемерный и сектантски тупой" ("Новый журнал", Н.-Й., кн. 95, 1969, с. 140).

Конфликта, по предопределению, невозможно было избежать, и, в известном смысле, жертвой его стал состарившийся одинокий Толстой, безусловно любивший и уважавший Черткова, хотя подчас, вероятно, тяготившийся его неистовостью. Толстой "н е в и д е л" Черткова, писала Гиппиус, а иные усматривали в Черткове злого гения и демона Толстого...

Однако сам Чертков верил, что именно он ведет борьбу за спасение и очищение Толстого — издавая его не известные русскому читателю сочинения, он открывает истинного Толстого, утверждает его учение. Возможно, так оно и было в какой-то, и немалой, степени: возникновение в России многочисленных толстовских по духу общин, коммун и обществ во многом, — разумеется, не единственно и не всегда, — может быть объяснено деятельностью Черткова, его лекциями, докладами, беседами, встречами во многих российских городах и всяях, его многообразной, находившей отклик издательской работой. Его душевная энергия и убежденность заражали и подчиняли себе, и у него было немало своих сторонников и последователей в самых широких кругах населения России: от высшего чиновничества до "нижайшего" крестьянства, от великоросса до иудея и кавказца, от студента до профессора. И он действительно стал апостолом толстовства как религиозно-нрав-

ственного внеисповедного учения.

Силу и влияние этого учения, как и практической деятельности Черткова, с присущим ей интуитивным умением распознавать врага оценила совсем юная советская власть, почти сразу же выработавшая по отношению к толстовству и его пророкам свою партийную позицию — от морального принуждения к физическому истреблению.

"...Уже с самого начала 1918 г., — вспоминал позже С. П. Постников (1883-1965), — большевики начали бороться с "интересом" к Толстому. Пишущему эти строки летом 1918 г. московская советская цензура не разрешила напечатать в народном журнале "Не могу молчать" Толстого* (а также "Рассказ о семи повешенных" Л. Андреева). Эти сочинения были признаны не соответствующими времени. Национализация же сочинений Толстого вообще приостановила издание частными лицами и учреждениями его сочинений" ("Дни", Париж, 1927, 5 ноября).

Чертков, как он сам неоднократно утверждал, податики чуждался и политикой не занимался. Он приветствовал февраль 1917 года — как приветствовала его почти вся Россия, усматривая в нем подлинное освобождение. Он сугубо практически воспринял Свободу — стал создавать газеты, журналы, общества, объединять и соединять своих сторонников по духу и "чающих движения воды". Свобода совести — понятие, отсутствовавшее в старой России — стала его лозунгом и целью. Но на смену достаточно терпимому Временному правительству быстро пришли не доступные каким-либо сомнениям и колебаниям большевики. И если их вождям, Ленину, Каменеву, потом даже Сталину и Рыкову, может быть, по своему льстило личное знакомство и сотрудничество с Чертковым, а последнее могло оказаться и полезным, то плебейская по своей нравственной сути "остальная" советская власть, как таковая, сразу же начисто отвергла всяких там непротивленцев и толстовцев. Каждый декрет советской власти первых послеоктябрьских лет заканчивался угрозой привлечения к суду ревтрибунала. К расстрелу,

* Спустя шестьдесят лет редакционная коллегия выпущенного к 150-летию рождения Толстого его популярного собрания сочинений в 22-х тт., М., 1978-1985 также исключила из него "Не могу молчать". Главный редактор — академик М. Б. Храпченко.

между прочим, приговорили в 1920 г. и Александру Львовну Толстую, заменив казнь тремя(!) годами заключения.

"Вскрывается животное отсутствие *совести*", — писала в своем "Петербургском дневнике" Зинаида Гиппиус.

Это было декретированное, подчеркнутое политическое насилие, которому Чертков 20-х гг. надеялся противопоставить высоко-нравственную моральную позицию. И он сам, и его друзья выступали против войны, против вооруженных междоусобиц в России, против расстрелов и насильственной мобилизации, против идеологической монополии, против лжи как орудия государственной власти.

Руководители советского государства поначалу если не дорожили, то во всяком случае проявляли интерес к сотрудничеству с российской интеллигенцией. Троцкий, Луначарский, Бонч-Бруевич, Покровский, Воровский, Ольминский, Бухарин, Каменев, Степанов-Скворцов, Фриче и др. — в сущности сами были частью этой интеллигенции, и именно через них — ирония судьбы — осуществлялось давление на нее советской власти. Подобно Горькому, Чертков пытался "инакомыслить" — об этом свидетельствуют и публикуемые документы. Однако аппарат прямого насилия преобладал и постепенно усиливался. Члены ВЧК, а затем ОГПУ в результате почти регулярных кадровых перетасовок становились членами коллегий разных "цивильных" наркоматов, издательств, комиссий. В секретариате ЦК во главе со Сталиным вырабатывались практические решения, которым "старые большевики" не могли противостоять, даже если бы и хотели, а хотели, если даже и понимали, тоже далеко не всегда. Исподволь утверждался "крутой" большевизм с его железной дисциплиной и истреблением, в частности, и толстовства как формы инакомыслия. Уже в 1923 г. был разослан подписанный Крупской циркуляр Наркомпроса об изъятии из библиотек религиозно-философских сочинений Толстого. Вскоре, правда, его отменили, но из-под ног Черткова это выбивало почву, автоматически делая его издания почти нелегальными.

И не случайно он оказался среди кандидатов на высылку за границу в 1922 г. По-видимому, высокие знакомства в Кремле помешали этому. А его помощников, одного за другим, без затей сажали. С самим Чертковым поступили иначе — его постепенно

вытесняли на стезю академического толстовского литературоведения и текстологии, что в значительной степени отвечало и его собственным интересам. Закрывая основанные им конфессиональные, политизированные общества, ему предоставляли относительную свободу в издании толстовских сочинений, тем более, что это как будто поднимало престиж СССР за границей. А сам Чертков как личность, как публицист и правозащитник, выхолащивался, затихал, постепенно лишаясь тех общественных площадок, с которых он мог выступать прежде. Да и годы брали свое...

И если в 1917-1922 гг. в журналах "Голос Толстого и Единение", "Истинная Свобода", "Обновление жизни" и др. он мог печатать свои статьи на такие, например, темы, как "О прекращении войны", "По поводу вскрытия мошей", "О смертной казни", "Кооперация и политика", "Духовные искания народа", "Интеллигенция и народ", "О терроре", "Церковь и политика" (эта последняя вышла отдельной брошюрой в 1919 г.), мог публиковать свои письма и воззвания (к англичанам, к враждующим русским людям, в защиту евреев и др.), то очень скоро он лишился этой возможности (публицистика Черткова начала 20-х гг. не собрана и не издана в полном объеме, оставаясь почти неизученной). Общества и коммуны закрывались, их печатные органы ликвидировались, и Чертков, несомненно, пользовавшийся при всей своей личностной и идеологической неоднозначности высоким общественным авторитетом, оказывался генералом без армии. Многие из его единомышленников, знавшие еще Толстого лично, покидали сцену: кто естественным путем, кому помогали уйти. Близился "Большой террор", и сотрудники Черткова по, например, Объединенному Совету Религиозных Общин и Групп, распущенному в 1922 г., первыми отправлялись или "в райские куши", или "в места не столь отдаленные", где уже встречали своих гонителей богоборцев-большевиков.

"...то, что осталось от толстовства в России, — писал Постников, — или сидит в тюрьме и ссылке, или принуждено молчать (книги под замком), или сведено на недостойное положение (печатание "Посредником" в своем юбилейном сборнике приветственных телеграмм от Крупской и Елизаровой, этически закрывших этот самый "Посредник" и изгнавших Толстого из библиотек). А если вспомнить о расстреле большевистской властью толстовцев, отказы-

вавшихся в свое время от участия в гражданской войне, то слова об изгнании Толстого совсем не покажутся преувеличением".

Тонкий политик и опытный царедворец, при всей своей прямоте и прямолинейности человек очень осторожный (это зорко подметила З. Гиппиус), Чертков отлично понимал важность контактов именно с первыми лицами в государстве, имевшими право решать, казнить или миловать. В конце концов, и Александр II и Александр III посещали дом Чертковых, вполне естественно и для него самого было в сложных ситуациях дальнейшего обращаться непосредственно к монарху (письма о Е. Н. Дрожжине и о князе Д. А. Хилкове, последнее вместе с А. М. Хирьяковым). Да и решение о его высылке в Англию в 1897 г., говорят, принимал лично император Николай II. Его обращения к Ленину, Дзержинскому и затем особенно, по-видимому, к Сталину сыграли свою роль, помогли осуществиться ПСС Толстого. Париж стоил мессы, и постепенно Чертков, не исключено, вполне осознанно, смирял свой общественный темперамент, усваивая правила игры. Это помогало ему вести куда более изнурительную, требовавшую ежедневного напряжения всех сил борьбу против "вторых и третьих лиц в государстве", против той партийной, ортодоксальной и непримиримой, куда более жестокой и невежественной, чем некоторые ее вожди, среды. В мае 1934 г. Чертков мог подписать свое письмо Сталину и Молотову словами: "почтительно преданный Вам"...

Можно много рассуждать о совокупности этих явных и менее очевидных фактов, настроений, действий, всех этих человеческих трагедий, но... как бы там ни было, Чертков победил, сумев настоять на издании ПСС, и Россия ныне, коль скоро ей это нужно, гордится исторической победой большого, созданного именно Чертковым коллектива единомышленников, русских интеллигентов, осуществивших издание "первого полного академического юбилейного собрания сочинений Л. Н. Толстого".

Об истории подготовки толстовского собрания сочинений в СССР уже писали с очевидным умалчиванием о многих фактах. Собственный же архив самого Черткова, как отмечал еще М. Поповский, по-прежнему почти не изучается и остается трудно доступным. Не издана, к примеру, большая часть переписки Черткова с Лесковым, не говоря уж об иных отечественных и иностранных корреспондентах.

Кстати сказать, именно от писем Лескова, участвуя в подготовке многострадального, начатого еще в конце 70-х гг. "лесковского" тома "Литературного наследства", я пришел к Черткову и обследовал, далеко не полностью, его материалы в двух крупнейших собраниях Москвы: фонд Черткова в Российском Государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, ф. 552) и фонд Бонч-Бруевича в Отделе рукописей Российской Государственной библиотеки (ОР РГБ, ф. 369). В первом из них сохранились среди прочего первоначальные рукописные варианты и копии его писем и заявлений, во втором — первые экземпляры и черновики документов, которые оседали у Бонч-Бруевича то ли по причине его профессиональных историко-литературных занятий, то ли адресаты передавали ему их по той же его должности хранителя литературных секретов. Не исключено, что и сам Чертков советовался с Бонч-Бруевичем перед отсылкой своих прошений по принадлежности, а тот некоторые из них не считал уместным и своевременным передавать властям, опуская в хранилище.

К непубликовавшимся архивным документам я добавил публичные воззвания и обращения, написанные и подписанные Чертковым (он, кстати сказать, отнюдь не стремился афишировать свое авторство), его письма в редакцию, которые были напечатаны лишь единожды в редких по нынешним временам московских журналах и впоследствии, насколько мне известно, не перепечатывались.

Глубокую благодарность приношу сотрудникам РГАЛИ, ОР РГБ, а также заведующей Рукописным отделом Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве Н. А. Калининой.

Александр Д. Романенко

**Помогите освобожденным борцам
за свободную совесть**

<Май 1917 г. >

В марте и апреле из московских и других тюрем освобождено много наших братьев, томившихся в XX веке в кан-

далах в каторжных тюрьмах и арестантских ротах за непоколебимую верность своим религиозным убеждениям.

Такие освобождения происходят и теперь в разных городах России, так как повсюду многие сотни людей томились за верность своему Богу, за верность Христу, любви и свободе.

Необходимо придти на помощь освобождаемым, выходящим в арестантской одежде, нередко почти раздетыми, часто больными самыми жестокими болезнями, нуждающимся в самой деятельной помощи для возвращения на родину, иным за тысячи верст.

Призываем все братские сердца помочь нам в этом деле. Пожертвования денежные, а также жертвования столь необходимым платьем, бельем, обувью адресовать:

1) в канцелярию Московского Вегетарианского Общества (Москва, Газетный пер., д. 12);

2) во 2-ую столовую того же Общества (Моховая, д. 26);

3) Москва. Лефортовский пер., д. 7, кв. 1 Анне Константиновне Чертковой.

И. Горбунов-Посадов, Е. Горбунова, И. Колосков, О. К. Толстая, И. Трегубов, А. Черткова, В. В. Чертков, В. Г. Чертков, К. Шохор-Троцкий

ПРИМЕЧАНИЯ

"Единение", М., 1917, № 1, июнь, с. 16.

1. Обращение подписали ближайшие друзья и последователи Толстого, общественные деятели, активно работавшие в первые послереволюционные годы в многочисленных организациях и обществах: "Посредник", Вегетарианском, Пироговском, "Всероссийский свободный кустарь", Свободного труда, "Народная трезвость" и др., позже ликвидированных советской властью.

Горбунов-Посадов Иван Иванович (1861-1940), писатель, педагог, в 1897-1934 гг. — руководитель издательства "Посредник". Хранящиеся в Москве (РГАЛИ, Музей Л. Н. Толстого и др.) обширные архивы ГП, мало и плохо изученные, содержат ценные материалы по истории литературы и общественной жизни.

Горбунова Елена Евгеньевна (ур. Короткова, 1878-1955), жена и сотрудница Г. П., работала в "Посреднике".

Колосков Иван Николаевич (1874-1932), общественный деятель, руководитель общины евангельских христиан-трезвенников, с 1907 г. — председатель коммуны "Трезвая жизнь" ("Народная трезвость"), в 1911 г. был отлучен от церкви, заключен в Бутырскую тюрьму; в 1919 г. — редактор журнала "Открытое слово", № 13. Участник III Всемирного конгресса баптистов в Стокгольме (лето 1923 г.).

Толстая Ольга Константиновна (ур. Дитерихс, 1872-1951), сестра жены Черткова, в 1899-1906 гг. жена Андрея Львовича Толстого, активно работавшая в толстовских организациях.

Трезубов Иван Михайлович (1858-1931), единомышленник Толстого, студент Московской духовной академии, исследователь и собиратель материалов по истории русского сектантства, в частности, духоборчества.

Черткова Анна Константиновна (ур. Дитерихс, 1859-1927), жена и ближайшая сотрудница Черткова.

Чертков Владимир Владимирович (1889-1964), сын Чертковых, работавший в толстовских организациях.

Шохор-Троцкий Константин Семенович (1892-1937), знакомый и последователь Толстого, историк литературы, впоследствии редактор его дневников, автор работ о нем; в 20-е гг. активно работал в толстовских обществах; в 1921 г. привлекался к суду по делу о "непротивленцах". Член Редакторского комитета ПСС.

II

Призыв к участникам Московской междоусобной борьбы¹

<28 октября 1917 г.>

Прекратите братоубийство!

Товарищи — братья!

Сплотившись в одну могучую душу, остановите взаимное братоубийство, начавшееся на наших улицах. В эти ужасные минуты, все вы, борющиеся между собой, к какой бы сто-

роне вы ни принадлежали, вы, люди всех партий и классов, — вспомните, что все вы — братья, сыны единого человечества.

Вспомните о том, что выше всех партий, что выше всей борьбы за власть с той или другой стороны. Вспомните о великом братстве всех людей, прекратите всякое человекоубийство, всякое пролитие крови, всякое насилие, от кого бы оно ни исходило.

Вас возбуждают и стравливают. Не поддавайтесь ничьему подстрекательству. Вы не псы и не волки. Вы — братья. Всем нам одинаково тяжело и трудно. Все вы одинаково стремитесь к счастью всего народа. Но не вооруженная борьба, а только соединение всех в одну человеческую семью может спасти братство, свободу и дать счастье всему народу, всей несчастной России и мир всему миру.

Друзья Л. Н. Толстого: И. И. Горбунов-Посадов,
В. Г. Чертков и др.

Москва

ПРИМЕЧАНИЯ

"Голос Толстого и единение", М., 1917, № 4, (октябрь), с. 12.

1. Воззвание было написано в разгар октябрьских (ноябрьских) боев 1917 г. в Москве.

III

А. М. Хирьяков (1) — В. Г. Черткову
Петроград, 31 марта 1918 г.

Дорогой Владимир Григорьевич!

Я собирался писать тебе еще в Москве, но не мог это сделать, так как хотелось сосредоточиться и спокойно обдумать то, что уже давно предполагал высказать тебе.

Я говорил Шохор-Троцкому о моем взгляде на твое отношение к предстоящему изданию произведений Толстого,

но Конст<антин> Сем<енович> не вполне точно передал тебе мои слова. Поэтому я их повторю.

Признавая твои права, данные тебе завещанием Льва Николаевича, я считаю, что при сложившемся положении дел, твоя нравственная обязанность не только не настаивать на осуществлении этих прав, но даже отказаться от них для того, чтобы скорее могли быть опубликованы все произведения Толстого, которые вот уже восемь лет бесполезно лежат под спудом. Ведь выхода только три: или, невзирая на упорство Софьи Андреевны, силою завладеть рукописями и издать их, или, признавая недопустимость прямого или замаскированного насилия, оставить рукописи неизданными на неопределенное число лет, или, наконец, войти в соглашение с Софьей Андреевной и таким образом издать рукописи. Мы и пошли этим третьим путем.

Твои отношения с Толстыми и в особенности с Софьей Андреевной таковы, что твое сколько-нибудь близкое участие в этом деле внесло бы обязательную разруху. Я думаю, что ты это и сам понимаешь.

Ты, может быть, скажешь: по какому праву я позволяю себе настаивать на том, чтобы ты отказался от своих прав?

Это право дает мне уважение к тебе. Если бы я имел дело с таким торговцем или промышленником, который всё измеряет аршином или весами, я не стал бы требовать от него какой-либо жертвы; потому что на все мои доводы он бы мне ответил только одно: это мое и потому я его никому отдавать не намерен.

К тебе предъявляются другие требования, другая мерка: не смотреть на свои права, как на принятую присягу, и поступиться ими, ради общего блага.

Хочется мне сказать тебе еще вот что.

Как-то в Петрограде я говорил тебе, что если астрономы, физики и другие ученые, желая производить самые тщательные наблюдения, проверяют свои инструменты, то во избежание ошибок весьма необходимо и каждому человеку стараться как можно тщательнее проверять самого себя, т. е. тот инструмент, посредством которого мы совершаем в этом мире возложенную на нас работу.

Ты тогда как-то небрежно отнесся к этим моим словам, и я считаю своим долгом снова напомнить тебе о них. Убедительно прошу тебя: подумай о себе, проверь самого себя, постарайся освободиться от преувеличенного мнения о себе и от презрительного отношения к другим людям, не согласным с тобою. Да и не только к ним, а вообще к людям. Тебе это незаметно, а со стороны оно бьет в глаза. Это презрение к людям было выражено в твоей лекции в Тенишевском зале. Это презрение сказалось в том, что, когда дама из соседней с моей квартиры пришла на костылях воспользоваться моим разрешением поговорить по телефону, ты ее прогнал, заявив, что телефон нужен тебе. Я потом извинялся перед нею. Это, конечно, мелочь. Но я упоминаю о ней, чтобы указать тебе на то, что эта мелочь показывает, что ты себя и свои дела считаешь сейчас настолько важнее других людей и дел, что можешь с ними совершенно не считаться. Подумай о себе. Проверь себя.

Ты сказал при нашем последнем свидании, что мы погубили главное дело всей твоей жизни. В моей комнате в Петрограде, где я сейчас пишу это письмо, висит портрет Льва Николаевича и под ним, вероятно, тобою выбранная подпись: "...работа над душой, над тем, чтобы делаться с каждым днем лучше и добрее, только эта одна работа настоящая, все же остальные видимые работы полезны только тогда, когда делается эта работа над невидимым, над душой".

И вот эта-то работа над душою у тебя находится сейчас в полном пренебрежении. Заботы о внешних делах отодвинули ее на задний план. Тебе, может быть, покажется странным и даже неприличным, что я, человек с анекдотами, пишу тебе такое письмо и стараюсь исправить тебя, живя сам самой обычной суетной жизнью. Но не все ли равно, в золотом или глиняном сосуде дают тебе воду, когда ты умираешь от жажды. Поэтому я и позволяю напомнить тебе о самом главном твоём деле жизни. Опомнись. Одумайся. Пересмотри свои отношения к людям и не сердись на меня за это письмо, потому что оно доказывает только мое самое доброе и внимательное к тебе отношение.

Мне обидно за тебя, за то лучшее, что есть в тебе. Я предъявляю к тебе большие требования, потому что верю в твои силы. Что ты можешь их выполнить.

Любящий тебя А. Хирьяков

ПРИМЕЧАНИЯ

РГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 2740, лл. 100-101. Машинопись.

1. Хирьяков Александр Модестович (1863-1942), писатель, журналист, единомышленник Толстого, часто бывавший в Ясной Поляне — письма Толстого к Хирьякову см. ПСС, тт. 66, 71, 76, 77, 79, 80, 81, 82. В начале 1890-х гг. сотрудник Черткова в издательстве "Посредник". Автор многих статей о Толстом, редактор некоторых изданий его сочинений. Близкий друг и сотрудник А. Л. Толстой. С 1923 г. в эмиграции: сперва в Париже, затем в Варшаве, где был, в частности, председателем Союза русских писателей и журналистов. Друг Лескова последних лет его жизни, автор воспоминаний о нем — см. нашу работу в "лесковском" томе "Литературного наследства" в Москве "Н. С. Лесков и семья А. М. и Е. Д. Хирьяковых".

Весельчак и жизнелюб, прекрасный рассказчик, обладавший большим жизненным опытом, Хирьяков пользовался дружеским расположением к нему и Толстого, и Лескова.

Конфликт между Чертковым и гр. С. А. Толстой, возникший еще при жизни писателя, еще более обострился после его смерти в связи с проблемой авторских прав на издание его сочинений. Часть рукописей, созданных до 1880 г., была положена Софьей Андреевной сперва в Исторический, затем в Румянцевский музей, и она защищала свои права. Чертков же, опираясь на завешание и распоряжения Толстого, претендовал на всё его наследие. Однако эта часть рукописей ему не была передана. Группа во главе с наследницей А. Л. Толстой достигла договоренности с Софьей Андреевной и сумела опубликовать часть неизвестных в России произведений Толстого.

IV

**Объединенный Совет Религиозных Общин и
Групп¹
Совету Народных Комиссаров**

<ноябрь 1918 г.>

Заявление

Ознакомившись с Приказом Революционного Военного Совета Республики от 22 октября 1918 г. (№ 130) об отношении к лицам, неприемлющим по своим религиозным убеждениям участия в военной службе, Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп постановил обратиться к Вам с нижеследующим заявлением:

Имея в виду как интересы представленных в Совете религиозных течений, так и вообще отстаивание принципа свободы совести, Объединенный Совет не может не усматривать в поименованном выше Приказе значительного стеснения свободы совести.

Так, в Приказе проводится обязательность санитарной службы для лиц, искренность убеждений которых будет доказана "пред соответствующим учреждением судебно-следственного характера". Между тем, нам известно по опыту прошлых лет, что среди отказывающихся от воинской повинности встречается много таких лиц, которые в силу своих религиозных убеждений не могут принимать какого бы то ни было участия в военной службе, хотя бы и санитарной, так или иначе связанной с делом ведения войны; среди этой категории лиц имеется еще значительный процент таких, которые считают для себя недопустимым исполнять и какие-либо принудительные работы, имеющие целью заменить воинскую повинность.

В виду того, что приказ не предусматривает отмеченных нами категорий лиц, Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп предвидит, что это обстоятельство может вызвать при проведении приказа в жизнь много конфликтов, в результате которых может быть создано никому не нужное

мученичество стойко стоящих за свои убеждения религиозных людей. При царском режиме, как известно, сотни таких людей были брошены в каторжные тюрьмы и дисциплинарные батальоны и десятки нашли себе там последний приют. После же свершившегося падения царского строя великодушный народ отворил и для мучеников за совесть двери темниц, и временное правительство объявило для таких лиц амнистию и намеревалось издать о них закон, основанный на признании полной свободы совести.

Советская власть, проводя в жизнь полное отделение церкви от государства и считаясь в то же время с искренними, честными религиозными взглядами отдельных лиц (как о том упоминается в Приказе), без сомнения, не пожелает налагать какие-либо стеснения или наказания на искренних религиозных людей, отказывающихся от всякого участия в делах, связанных с войною.

Вследствие этого Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп с своей стороны полагает, что к категории лиц, отрицающих какую бы то ни было войну и по совести отказывающихся от всякой военной службы, должен быть применен во всей полноте принцип абсолютной свободы совести в смысле совершенного их освобождения от противоречащего их совести участия в деле войны.

Полное освобождение от всякой военной службы следует распространить и на тех упомянутых выше отказывающихся, которые еще при царском режиме потерпели за это кары и большинство которых было амнистировано при Февральском перевороте. Советская власть, несомненно, не пожелает отнестись к этому разряду людей, своею жизнью столь наглядно доказавших свою самоотверженность, менее терпимо, нежели временное правительство.

Относительно упоминаемого в Приказе учреждения "судебно-следственного характера", перед которым отказывающиеся должны будут доказывать искренность своих убеждений, Объединенный Совет полагает, что именно он мог бы явиться учреждением наиболее осведомленным и компетентным в деле суждения об искренности таких лиц; именно Совету, органически связанному чрез входящих в него пред-

ставителей с главнейшими религиозными течениями, неприемлющими военного дела, могут быть доподлинно известны все необходимые данные для установления факта, что в каждом отдельном случае не имеет места недобросовестная, обманная ссылка на религиозные якобы убеждения.

Объединенный Совет, организованно выражающий мнение большинства внецерковных религиозных течений, имеет заявить, что он готов также принять участие в организации подобных Советов в некоторых провинциальных центрах, если это окажется необходимым.

Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп полагает, что настоящее его предложение может вполне удовлетворить как требованиям Правительства, так и интересам той веротерпимости, которую Правительство желает в данном случае обеспечить.

Председатель В. Чертков

Члены (подписи)

Секретарь В. Теппоне

ПРИМЕЧАНИЯ

"Голос Толстого и Единение", М., 1919, № 6 (12), (январь-март), с. 1920. В дальнейшем не перепечатывалось.

1. Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп был создан по инициативе Черткова в ноябре 1918 г. в Москве, после двух многолюдных собраний, с первоначальной целью "защиты свободы совести" и сохранения права своих членов на отказ от военной службы по религиозным убеждениям. В Совет вошли представители шести внецерковных групп: менониты, евангельские христиане, баптисты, адвентисты, трезвенники, члены Общества Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого. Внеисповедные течения представляли К. Д. Платонова и Чертков, избранный председателем при заместителях Шохор-Троцком и баптисте П. В. Павлове (1883-1936). Несмотря на вполне лояльное отношение этого объединения к советской власти и очевидное стремление к сотрудничеству с нею, большевики не сумели оценить истинный смысл намерений Объединенного Совета, не смогли привлечь его на свою сторону и почти сразу же восприняли его как антисоветскую и антиправительственную группировку. Уже к концу 1920 г. в Совнарком, отдельных комиссариатах и комиссиях сложилось крайне отрицательное отношение к Совету.

В марте 1921 г., почти одновременно с X съездом РКП(б), где выступал Красиков, и съездом сектантов, в Москве состоялся судебный процесс над "непротивленцами", по которому проходили Шохор-Троцкий, О. А. Дашкевич и др. (см. "Известия", 1921, 24 марта, № 63, с. 4, анонимная статья "Дело "непротивленцев"). Совет обвиняли в разжигании политической борьбы, объединении "враждебных рабоче-крестьянской республике "элементов" и "укрывательстве" дезертиров военного и трудового фронта". Имя Черткова в прессе не называлось, хотя по существу все обвинения касались непосредственно его как вдохновителя и руководителя. В тот раз, "отказываясь от применения наказания" к подсудимым, суд счел необходимым обратить внимание Наркомюста на деятельность Совета. В 1922 г. Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп был ликвидирован, а Чертков стал одним из кандидатов на высылку за границу.

V

**В. Г. Чертков — <Письмо общественности>
Об участии в Объединенном Совете
Религиозных Общин и Групп**

<Ноябрь 1918 г.>

Некоторые лица, сочувствующие тому жизнепониманию, органом которого служит настоящее издание¹, узнавши, что его редактор согласился принимать участие в Объединенном Совете Религиозных Общин и Групп, находящемся в сношениях с Советской властью, заключают из этого, что я "поступил на службу" к нынешнему правительству, нарушая этим самые элементарные требования того мировоззрения, которое на словах исповедую. Так как в области общественной деятельности желательно, когда это возможно, своевременно устранять возникающие недоразумения, то, преодолевая на этот раз свое естественное нежелание печатно распространяться о самом себе, решаюсь сказать несколько слов о моем участии в этом деле.

Прежде всего считаю нужным отметить, что Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп является учреждением, образовавшимся совершенно самостоятельно и не находящимся ни в малейшей ни прямой, ни косвенной зави-

симости от правительства. Роль Совета по отношению к правительству ограничивается посредничеством между отказывающимися от военной службы и Советскою властью, проявляющею желание относиться к таким лицам терпимо и гуманно, равно как и заступничеством за лиц и учреждения, так или иначе потерпевших от нарушения принципа свободы совести. В виду безусловной разумности и нравственной законности этой цели, лица, вошедшие в состав Объединенного Совета, не сочли себя вправе уклониться от этой, во многих отношениях обременительной для них обязанности, пока им возможно исполнять ее, не нарушая требования своей совести.

Здесь не место входить во все подробности и нравственные тонкости положения членов Объединенного Совета; могу только сказать за себя, что я вполне понимаю, насколько рискованны для человека, принципиально отрицающего государственную власть, всякие сношения с нею, хотя бы для самой благой цели, ибо они легко могут вовлечь его, зачастую незаметно для него самого, в такие поступки и положения, которые противоречат его убеждениям. Поэтому я живо сознаю необходимость быть в этом отношении постоянно настороже и продолжать свою деятельность в этой области лишь постольку, поскольку она действительно не втягивает меня ни в какие компромиссы с моей совестью.

Насколько я знаю, таково же отношение к этому вопросу и моих товарищей по Совету.

В. Чертков

ПРИМЕЧАНИЯ

"Голос Толстого и Единение", М., 1919, № 6 (12), (январь-март), с. 20.

1. Газета "Единение" (затем журнал "Голос Толстого и Единение") начала издаваться Чертковым в июне 1917 г. и существовала до начала 1921 г., всего вышло 15 №№, последний совместно с журналом "Истинная свобода". Публикуя малоизвестные статьи, письма и высказывания Толстого, Чертков и сам часто выступал с материалами по актуальным вопросам современного положения.

VI

**Общество Истинной Свободы
Совету Народных Комиссаров**

<Москва> 28 ноября 1918 г.

В Совет Народных Комиссаров

24 ноября в зале Политехнического Музея в присутствии двух тысяч человек состоялся вечер, организованный Обществом Истинной Свободы в память Льва Николаевича Толстого¹. На этом вечере из публики была подана записка с предложением ходатайствовать перед правительством об отмене смертного приговора С. М. Сухотину², пасынку дочери Толстого. Совет названного Общества, сочувствуя в принципе этому ходатайству, внес со своей стороны следующее предложение более общего характера.

Душа всего населяющего Россию народа уже давно истомилась ожиданием отмены смертной казни, этого варварского учреждения, наследия царизма и капитализма, позорящего обновленную Россию.

И это набоевшее горе вылилось на упомянутом собрании в единодушном протесте и одобрении предложения Совета. Заявление оратора о возбуждении, в память Л. Н. Толстого, ходатайства об отмене смертной казни в России было встречено таким дружным и воодушевленным выражением сочувствия, что не было никакого сомнения, что эти две тысячи представителей самых разнообразных кругов населения столицы и провинции не в силах долее терпеть этого постыдного учреждения.

Совет Общества Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого, выражая свою полную солидарность с пожеланием собрания, присоединяет свою горячую просьбу внять воплю набоевшей души русского народа и передает Совету Народных Комиссаров ходатайство 2000 российских граждан, собравшихся почтить память Льва Николаевича Толстого, отменой смертной казни в России.

Члены Совета Общества Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого: Н. Гусев, Вал. Булгаков, Федор Страхов, Ольга Дашкевич, М. Хорош, В. Жданов, Константин Шохор-Троцкий, М. Попова, Н. Елисеева, И. Горбунов-Посадов, Е. Горбунова, А. Черткова, В. Чертков, Иван Филиппов, Иван Трегубов, Иван Колосков, Алексей Сергеенко

ПРИМЕЧАНИЯ

"Голос Толстого и Единение", М., 1918, № 5 (11), декабрь, с. 16

1. Общество Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого было создано по инициативе и при ближайшем участии Черткова в Москве летом 1917 г. 27 июня состоялось его первое, учредительное, собрание, на котором был принят Устав и выбран Совет, куда вошли, в частности: Вал. Булгаков, Горбунов-Посадов, Ф. Х. Грауэрбергер, Дашкевич, Колосков, отец и сын Чертковы, с июля 1917 г. П. И. Бирюков, Сергеенко, Шохор-Троцкий и др. Насчитывавшее около 400 членов Общество развернуло большую работу по борьбе против войны и общественного насилия, в защиту прав человека и свободы совести, а также по разнообразной пропаганде толстовского учения. Жена и сын Черткова принимали активнейшее участие в деятельности Общества, он сам выступал как идеолог, публицист, лектор, правозащитник. Журнал "Голос Толстого и Единение" широко освещал работу Общества, особенно в провинции, публикуя документы и сочинения его членов, их переписку. В справочнике "Вся Москва" на 1922, 1923 гг. указан адрес Общества, обосновавшегося в помещении Московского Vegetарианского Общества, где также первую скрипку играл Чертков. Однако в выпуске на 1925 г. (М., 1924) Общество уже отсутствует.

В 1920-1921 гг. Общество издавало в Москве журнал "Истинная свобода" (вышло 8 номеров) под ред. Вал. Булгакова и Сергеенко.

Отделения Общества существовали также в Витебске, Киеве, Полтаве, Царицыне, Самаре, Сухуме, Сердобске, многих больших и малых населенных пунктах Российского государства (около пятидесяти), причем в некоторых из них издавались свои журналы ("Путь к свету", Царицын, 1919, №№ 1, 2; "Братство", Киев, 1919, №№ 1, 2). В Екатеринославе, Саратове, Орехово-Зуеве эти отделения были закрыты советской властью, а их работники арестованы.

2. *Сухотин Сергей Михайлович* (1887-1926), один из сыновей от первого брака М. С. Сухотина, мужа Татьяны Толстой; морской офицер, по-видимому, он все-таки был расстрелян, но несколько позже, после смерти Ленина.

VII

В защиту гонимых

<лето 1919 г.>

Ужасные вести несутся с юга России. Наряду с войной, наряду с насилием всякого рода, пустившим прочные корни в нашей жизни, вновь подымает свою голову, казалось бы, уже отживший вид насилия: национальная вражда. Одни люди преследуют других только потому, что те родились в другом народе, принадлежат к другому племени: русские и украинцы избивают беззащитное мирное еврейское население, не разбирая ни пола, ни возраста.

Этот человек еврей? Может быть, он ни в чем решительно не виноват, может быть, он лучше того, кто его бьет, но его бьют и убивают только потому, что он еврей. Эта женщина — еврейка? Она подвергается пыткам, надругательствам и издевательствам именно потому, что она еврейка. И этот ребенок, это невинное дитя — еврей? Пусть из глаз его глядит на нас сам Бог, мы ему камнем размоzzим голову! И так страдают и избиваются по разным городам и местечкам десятки, сотни и тысячи братьев-людей, избиваются только за то, что они имели несчастье родиться среди того народа, которому и без того выпало на долю слишком много страданий, но который ничем не хуже и не лучше всех других народов, который живет тою же жизнью, как и они, теми же общечеловеческими интересами, так же имеет и праведников и грешников в своей среде, как есть они и среди русских, и среди немцев, и среди поляков, и среди украинцев. Ибо нет ни одного такого народа, который состоял бы сплошь только из одних праведников или только из одних грешников.

Как же можно говорить, что не любишь целый народ? Как можно желать оставаться настолько слепым, бессердечным и лишенным всякого разума человеком, чтобы не понимать, что если ты в Гомеле или Житомире душишь какого-нибудь жалкого нищего- или богача-еврея только потому, что он еврей, ты тем самым в своей душе оплевываешь и

втаптываешь в грязь и светлый лик Христа, потому что Христос тоже был еврей. И если ты участвуешь в погроме, или вызываешь его, или сочувствуешь ему, то ты палач, еще более зловредный, чем те, которые убили Христа, потому что палачи Христа преследовали тот свет, который от него исходил и освещал их злые дела, а погромщик грабит и убивает какого-нибудь несчастного, жалкого, не ведомого ни ему, ни миру труженика-еврея не за какую-нибудь особенную вину, не по какому-нибудь особенному поводу, а только за одно его еврейское происхождение, которое для еврея ничуть не более преступно, чем для русского русское, для украинца украинское, для поляка польское происхождение.

Нет слов, чтобы передать весь ужас и всю преступность перед лицом единого для всего человечества нравственного закона поведения тех людей, которые участвуют в этом злом гонении на мирный, ни в чем не повинный в целом своем народ или потакают этому гонению.

Погромщики должны сознавать весь позор и всю тяжесть того нечеловеческого преступления, которое ложится на их плечи. Каждый несчастный заблудший русский, или украинский, или польский человек должен помнить, что в ту минуту, когда он опускает свою кровавую бессмысленно-жестокую руку на голову своей жертвы-еврея, — он тем самым не только становится во сто крат хуже и гаже самого дурного и гадкого в его глазах еврея, но, с его точки зрения, этим поступком своим покрывает несмываемым позором и весь свой русский, украинский или польский народ. А, следовательно, теряет уже право считать свой народ лучше или выше или чище еврейского народа.

Считать самого себя лучше всех — дурно и глупо. Это мы все знаем. Считать свою семью лучше всех других — это еще хуже и глупее, но мы часто не только не знаем этого, но видим в этом особенное достоинство. Считать свой народ лучше всех других — уже глупее всего, что только может быть. Но этого не только не считают дурным, но считают великой добродетелью... И как ни вредна гордость отдельных лиц, эта гордость народная еще во много раз вреднее. От нее гибли и гибнут миллионы и миллионы людей... Христос

открыл людям то, что разделение между своими и чужими народами есть обман и зло. И, познав это, христианин уже не может оправдывать, как он прежде делал, жестокие поступки против других народов тем, что другие народы хуже его народа. Христианин не может не знать, что благо его связано с благом всех людей мира. Он знает, что все люди — везде братья и потому равны, как две капли воды, потому что во всех живет один и тот же Дух Божий". Так говорил великий гений русского народа Лев Толстой. Да будет слово его свято!

Опомнитесь же, братья! Опомнитесь, братья-русские, поляки и украинцы и люди других народностей, живущих бок о бок с евреями! Вспомните стыд и совесть, вспомните об обязательном для вас как для христиан, Божеском законе любви ко всем людям, как к братьям, без различия национальностей! Не обвиняйте другие народы в ваших несчастьях. Не сваливайте все на евреев. Мы, русские, украинцы, поляки, сами не святые, сами плохо живем, сами сплошь да рядом бываем хуже самого худшего из евреев!

Христос сказал обвинявшим грешницу: "Кто из вас без греха, первый брось в нее камень". И никто не бросил, потому что совесть каждому сказала, что и он такой же грешник. Так же не можем мы судить и все еврейство за его вымышленные вины, да и за настоящие, потому что мы сами во многом живем нисколько не лучше.

Плохой жизни не уничтожишь тем, что перебежешь евреев или еще каких-нибудь врагов на стороне, плохая жизнь родится из сердца человека, из его злых помыслов и желаний: из зависти, гордости, корысти, тщеславия и других пороков. Вот с кем надо бы нам бороться, а вовсе не с евреями! И наоборот, когда вымажешь свои руки в братской человеческой крови, не бывать тебе счастливым, потому что в сердце твоём, почерневшем от злобы и ненависти, совет тогда прочное гнездо всякий грех и порок, который сначала ослепит тебя, а потом заведет в болото и погубит.

Перестанем же верить в насилие и надеяться на него, бросим перечислять чужие грехи, а оглянемся на самих себя и возьмемся за свои, — тогда мы увидим, что и рядом с

евреями мы проживем благополучно, и будут мир и братская любовь между нами!

Вал. Булгаков, И. Горбунов-Посадов, Алексей Сергеенко, В. Чертков, Федор Страхов, Ив. Трегубов, Ив. Колосков

ПРИМЕЧАНИЯ

"Истинная Свобода", М., 1920, № 1, апрель, сс. 22-23, хотя, по-видимому, впервые, в сокращенной версии и с некоторыми разночтениями, было напечатано в киевском журнале "Братство", 1919, № 1, сс. 4-5, где одновременно появилась статья-воззвание Горбунова-Посадова "Ко всем христианам", сс. 5-6, с протестом против еврейских погромов.

Написанное летом 1919 г. в разгар погромной антисемитской волны на юге России, на Украине и в Польше обращение было послано в редакции московских газет "Правда" и "Известия", однако не было ими напечатано (см. прим. к тексту в ж-ле "Истинная Свобода", с. 22). Следует напомнить, что примерно тогда же с яростным осуждением антисемитизма и избиений евреев выступили М. Горький. В. Короленко. С. Гусев-Оренбургский (см. "Книгу о еврейских погромах на Украине в 1919 г. Редакция и послесловие М. Горького". М., 1923).

VIII

В. Г. Чертков — СНК РСФСР

<12 августа 1919 г.>

В Совет Народный Комиссаров
Российской Федеративной Советской
Республики

В виду того, что Л. Н. Толстой еще в 1910 году составил завещание, по которому все оставшиеся после его смерти рукописи должны были перейти в мое распоряжение как его литературного душеприкащика для использования, согласно данным им мне лично указаниям, после чего, согласно его

же желанию, рукописи эти должны были быть возвращены его дочери Александре Львовне Толстой, — решаюсь обратиться к Совету Народных Комиссаров с просьбою об издании пояснения о том, что Декрет от 29 июля с. г. о национализации всех рукописей русских писателей, хранящихся в Государственных библиотеках и Музеях, не относится к рукописям, оставшимся после Л. Н. Толстого.

12 августа 1919 г.
Москва

В. Чертков

ПРИМЕЧАНИЯ

РГАЛИ, ф. 552 В. Г. Черткова, оп. 2, ед. хр. 27, лл. 1-5, док. 1, 2, оба экземпляра — машинопись; на л. 4 — автограф чернилами и карандашом дата: "3 (?) Апр. 19 г."; на 2-ом экз. подпись карандашом: "В. Чертков".

IX

В. Г. Чертков — В. И. Ленину

<15 октября 1919 г.>

Председателю Совета Оборона тов<аришу> Ленину
(Копии: Управляющему делами Совнаркома
тов<аришу> Бонч-Бруевичу, Председателю Москов-
ского Совета Раб<очих> и Кр<асно>-Арм<ейских>
Деп<утатов> тов<аришу> Каменеву и Военному
комиссару гор<ода> Москвы тов<аришу> Васильеву)

Постановлением Совета Оборона от 27 августа 1919 года¹ назначен поверочный сбор всем "военнообязанным" гражданам в возрасте от 18 до 40 лет. Неявка на проверочный сбор приравнена к злостному дезертирству и за нее установлена высшая мера наказания; помимо личной ответствен-

ности каждого не явившегося на сбор лица, подлежат строгой ответственности домовые комитеты, квартиронаниматели и должностные лица, в ведении которых проживают неявившиеся.

Ознакомившись с этим Постановлением Совета Оборонны и с приказом Военкома гор<ода> Москвы за № 512 (от 4 Октября), — Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп², действующий согласно Декрету Совнаркома об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям, постановил обратиться к Вам с нижеследующим заявлением и ходатайством.

Объединенный Совет, будучи близко и хорошо знаком с психологией и настроениями религиозных антимилитаристов, считает своею обязанностью предупредить Вас, что огромное большинство лиц, неприемлющих по религиозным мотивам военного дела, сочтет для себя, по своим искренним убеждениям, безусловно недопустимым и неприемлемым также и являться на поверочные сборные пункты. Многие из них не признавали и не признают для себя возможным являться в воинские присутствия для медицинского освидетельствования (за что еще при царском строе неоднократно подвергались преследованиям), в приемные комиссии или иные учреждения, связанные с делом воинской повинности.

Между тем лица эти никогда не скрываются и живут совершенно открыто, отнюдь не уклоняясь, но честно и добровольно отказываясь от воинской повинности; свое отношение к последней и документы, касающиеся ее, они, конечно, не скрывают от тех органов или должностных лиц, коим это нужно и интересно. Поэтому такие лица, разумеется не могут и не должны считаться "дезертирами", тем паче "злостными", и не должны подвергаться преследованиям и карам за цельное и последовательное проведение в жизнь своих взглядов.

В виду изложенного, полагая, что Советская власть, издавшая декрет от 4-го Января³, не захочет, освобождая одной

рукой, карать другою таких искренне-религиозных людей, — Объединенный Совет Религиозных Общин и Групп просит Вас признать возможным сделать для лиц, не могущих являться по религиозным мотивам на поверочный сбор, *изъятие* в том смысле, что такие лица не подлежат приравнению к дезертирам и наказанию за неявку. При этом Объединенный Совет просил бы сделать соответствующее срочное (телеграфное) циркулярное распоряжение, дабы предотвратить возможные случаи принятия против глубоко-религиозных и добросовестных людей непоправимых мер взыскания. Быть может, Вы сочли бы приемлемым циркулярно предложить о всех случаях неявки на поверочный сбор по религиозным мотивам, и конфликта<х> в связи с такими случаями, уведомлять Объединенный Совет, который со своей стороны, как всегда, например, дачей экспертизы, желал бы посильно прийти на помощь Правительству в его столкновениях по вопросу о воинской повинности с искренне-религиозными людьми.

М. П. Объед. Сов. рел.
общ. и групп

Председатель: В. Чертков
Члены: М. Тимошенко⁴
Кл. Платонова⁵
За Секретаря: О. Дашкевич⁶

С подлинным верно: Секретарь Объединенного Совета
религиозных общин и групп
Ник. Шубенской

ПРИМЕЧАНИЯ

ОР РГБ, ф. 369, В. Д. Бонч-Бруевича, картон 363, ед. хр. 31, лл. 1-3.

1. Постановление Совета Рабоче-Крестьянской Оборона "Об учете военнообязанных" от 27 августа 1919 г. — см. "Декреты...", т. VI, М., 1973, раздел II, № 25, сс. 392-393. Однако именно здесь нет речи о дезертирстве, об ответственности домкомов, о высшей мере наказания, о чем, впрочем, многократно говорится в других аналогичных документах того периода.

2. Настоящее письмо, по-видимому, было первым на эту тему, но то ли оно не было сразу отправлено, то ли не получено адресатом, задержанное Бонч-Бруевичем.

3. Текст декрета СНК "Об освобождении от воинской повинности по религиозным убеждениям" от 4 января 1919 г. был перепечатан в чертковских журналах, см. также "Декреты...", т. IV, М., 1968, № 131, сс. 282-284.

4. *Тимошенко Михаил Данилович* (ок. 1880-1938), баптист, проповедник, духовный писатель. В 1914 г. был арестован в Одессе и сослан в Зап. Сибирь. Член Объединенного Совета с момента его основания в 1918 г. В нач. 20-х гг. — член коллегии Всероссийского союза баптистов и правления его издательства, редактор журнала "Слово Истины". Автор книги "В Нарымский край. Воспоминания и впечатления ссыльного". М., 1917. Участник III Всемирного конгресса баптистов в Стокгольме (лето 1923 г.). Арестован в начале 30-х гг., обстоятельства его смерти неизвестны. Реабилитирован полностью. Подр. см. "История евангельских христиан-баптистов в СССР". М., 1989.

5. *Платонова Клавдия Дмитриевна* (1894-1973), член Объединенного Совета, представлявшая вместе с Чертковым "интересы внеисповедных течений". В 1916 г. судилась по делу 28 последователей Толстого, "непротивленцев", и была оправдана. Впоследствии — научный сотрудник "Дома Толстого" в Хамовниках, Москва.

6. *Дашкевич Ольга Андреевна* — член Совета Общества Истинной Свободы, активно работавшая, в частности, в области защиты осужденных по религиозным мотивам, а также во Всероссийском комитете помощи голодающим детям; позже — в Главной редакции по изданию ПСС Толстого. В марте 1921 г. предстала перед особой сессией Мосгубсовнарсуда по делу о "непротивленцах", см. прим. к док. IV наст. публ.

X

Бланк: Р. С. Ф. С. Р.

Народный комиссариат
по просвещению

13/XII 17043

В Госиздат
В издательство "Единение"
Лефортовский пер., д. № 7¹

**Постановление
Народного Комиссариата по Просвещению
от 14-го Декабря**
(Протокол Президиума Коллегии НКП № 50/60)

Слушали:

Постановили:

7. Ходатайство из<дательст>ва "Единение" о денационализации произведений Л. Н. Толстого

7. Ходатайство отклонить. Признать вполне удовлетвори<тельными> объяснения Госиздата по вопро<росу> издания произведений Л. Н. Тол<стого>.

Верно: /Секретарь Коллегии НКП
Н. Егорова

ПРИМЕЧАНИЯ

РГАЛИ, ф, 552, оп. 2, ед. хр. 27, док. 30, л. 84. Машинописная, синяя копия, поврежденная.

1. Слова "В издательство "Единение" и вписанный от руки красными чернилами почтовый адрес подчеркнуты красным карандашом.

Издательство "Единение" было создано Чертковым в июне 1917 г. главным образом для опубликования запрещенных прежде в России сочинений Толстого — им было выпущено несколько десятков брошюр. В нач. 20-х гг. ликвидировано.

Созданный постановлением ВЦИК от 20 мая 1919 г. Госиздат РСФСР объединил несколько партийных, государственных и кооперативных изда-

тельств, став по существу абсолютным монополистом, полиграфическим и идеологическим. Декреты СНК (в частности, от 27 мая 1919 г. "О порядке распределения бумаги"), отдававшие все бумажные ресурсы страны в ведение Главбума и утверждавшие монополию государства, закрепили безусловный жесткий контроль советской власти (см. "Декреты...", т. V, м., 1971, сс. 207-209, 242-244 и др., а также т. IV).

Тем не менее в мае 1920 г. по инициативе Чертковых состоялось объединение (на началах издательской автономии) "редакционно-издательских комиссий и фирм "Посредник", Московское Вегетарианское Общество, "Единение", "Трезвая жизнь" и Общество Истинной Свободы в память Л. Н. Толстого в "Издательское Общество Друзей Толстого" ("Голос Толстого и Единение", 1920, № 2 (14), с. 20).

XI

В. Г. Чертков — Ф. Э. Дзержинскому

<23 ноября 1920 г.>

Многоуважаемый Феликс Эдмундович,

Под арестом при Всероссийской Чрезвычайной Комиссии в настоящее время содержится так называемый "толстовец" Сергей Михайлович Попов¹, признанный непричастным к тому делу, по которому был случайно арестован, и до сих пор не освобожденный, по имеющимся сведениям, единственно потому, что когда его освобождали, он отказался подписаться на соответствующем официальном ордере.

Сергей Попов среди своих единомышленников отличается особенною последовательностью в своем образе жизни. Отказавшись от всякого привилегированного положения, он уже много лет занимается где придется упорным земледельческим трудом, в буквальном смысле собственноручным, предпочитая возделывать почву лопатой тому, чтобы заставлять животных пахать ее. При царском правительстве он неоднократно сидел в заключении за отсутствие документов и проч., причем с тем же, свойственным ему непреклонным упорством отказывался действовать по приказанию тюремного начальства, например, подписывать офи-

циальные бумаги и т. п., за что много терпел, стойко выдерживая и побои и всякие другие наказания.

Относиться к такому человеку, как к злостному преступнику, было бы вполне ошибочно. Он совершенно безобиден и безусловно искренен и добросовестен. И даже если считать, что он заблуждается в своих принципах, — совершенно непроизводительно принуждением стараться заставить его от них отказаться, ибо этим путем они только в нем укрепляются.

Друзья Сергея Попова просят о том, чтобы эти особенности его психологии были приняты в соображение и не были вменяемы ему как препятствие к его освобождению. К этой просьбе присоединяюсь и я, убежденный в том, что Вы не признаете желательным считаться в таких мелочах со столь честным, самоотверженным и полезным тружеником, каким является Сергей Попов.

С пожеланием Вам лично всего лучшего
уважающий Вас В. Чертков

23 ноября 1920 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ОР РГБ, ф. 369, картон 363, ед. хр 22.

1. *Попов Сергей Михайлович* (1887-1932), последователь Толстого, покинувший гимназию в 7 классе и отправившийся бродить по России. О нем см.: Булгаков В. Ф. "Л. Н. Толстой в последний год его жизни", М., 1960, сс. 198, 204-206. В марте 1916 года судился в числе 28 последователей Толстого и был приговорен к 1 месяцу заключения в "исправительном доме". Весной и летом 1920 г. Попов активно участвовал в многочисленных тогда публичных религиозных диспутах, отстаивая необходимость религии и "духовно-мистическое понимание Бога", полемизируя с Луначарским, М. А. Рейснером, В. А. Поссе (см. "Истинная Свобода", М., 1920, № 2, май, сс. 16-21. "Религиозные диспуты в Москве"). 25 ноября 1920 г., в день своего выхода из тюрьмы, где "он был продержан более месяца по недоразумению", Попов выступал на большом литературно-музыкальном вечере памяти Толстого в Москве ("Голос Толстого и Единение" — "Истинная Свобода", М., 1921, с. 26). По-видимому, данное письмо Черткова сыграло свою роль в освобождении Попова.

Спустя девять лет, в одной из своих лекций в Японии, вспоминая о гостях Ясной Поляны, А. Л. Толстая рассказывала:

"Среди посетителей и поклонников Толстого бывали очень интересные люди. Например, Сережа Попов, кроткий, добрый человек с ясными глазами. Он отказывался не только от собственности, но даже и от денег. Все его имущество заключалось в котомке. Бродя все время по деревням, он искал лишь случая помочь кому-нибудь в работе. Несколько раз его задерживали как бродягу, но он покорно сносил всякие преследования. Всем он говорил "ты", все у него были братья" ("Руль", Берлин, 1929, 11 декабря, № 2750, сс. 2-3. Николай Амурский. "А. Л. Толстая об отце", с. 2).

XII

В. Г. Чертков — В. И. Ленину

<23 января 1921 г.>

Многоуважаемый Владимир Ильич,

При нашем личном свидании¹ Вы проявили сочувственный интерес к делу издания писаний Л. Н. Толстого, которого я тогда, между прочим, коснулся. В настоящее время мои переговоры с теми представителями советской власти, с которыми мне, в конце концов, пришлось по этому поводу вступать в сношения, приняли оборот настолько неблагоприятный, что, по-видимому, одно только Ваше авторитетное вмешательство могло бы разрешить возникшее недоумение, грозящее привести к самым нежелательным во всех отношениях результатам.

Пока при этих переговорах я имел дело с т. Луначарским, действительно с искренним сочувствием относившимся к мысли об издании советской властью писаний Толстого и желавшего в этом деле принимать в соображение указания самого Толстого относительно способа редактирования его писаний, — до тех пор чувствовалось, что желательное соглашение вполне осуществимо. Но считаю необходимым сказать Вам откровенно, что в лице т. М. Н. Покровского² дело это все время встречало непреодолимые препятствия. Не знаю, какие именно побуждения им руководили — неприязнь ли к Толстому вообще или един-

ственно предубеждение против меня лично — знаю только, что благодаря его, по-видимому, влиянию на остальных членов Коллегии при Государственном Издательстве³, в котором он участвует, — последнее соглашение, состоявшееся между т. Луначарским и мною, было отменено, и мне предъявили новые условия, на которые я согласиться не имею нравственного права, так как они прямо нарушают указания, данные мне непосредственно самим Л. Н. Толстым.

Обстоятельства этого печального дела изложены в прилагаемом заявлении, в котором формулирована и моя просьба, осуществление которой является, по-видимому, единственным возможным выходом из создавшегося положения, одинаково совпадающим как с предсмертными указаниями Толстого, так и с действительными интересами советской власти.

Очень надеюсь, многоуважаемый Владимир Ильич, что ради памяти Л. Н. Толстого Вы не пожалеете труда лично ознакомиться с содержанием этого заявления и не откажете в Вашем содействии для благополучного разрешения возникшего недоразумения.

Искренно уважающий Вас
В. Чертков

ПРИМЕЧАНИЯ

РГАЛИ, ф. 552. оп. 2. ед. хр. 30, лл. 6, 6 об. В папке Черткова с надписью "Беловики" две версии со стилистической правкой и датой чернилами "1921 января 23".

1. Встреча Черткова с Лениным, организованная Бонч-Бруевичем, который на ней присутствовал, имела место утром 8 сентября 1920 г. Еще летом 1919 г. Ленин читал датированное октябрём письмо Черткова к англичанам, а в октябре того же года изучал другое его послание (от 27 октября, об издании ПСС Толстого и связанных с этим проблемах), персланное в Наркомпрос М. Н. Покровскому.

2. Отношения Черткова с Покровским, тогда замнаркома по просвещению, помимо принципиальных расхождений во взглядах и суждениях о Толстом, по-видимому, достаточно осложнились и в личном плане.

3. В состав Редакционной коллегии Госиздата, с 1921 г. под председательством Мецгерякова, в разное время тогда входили В. В. Воровский, И. И. Скворцов-Степанов, Е. Д. Преображенский, В. И. Невский, О. Ю. Шмидт и по отделам М. С. Ольминский, Н. К. Крупская, В. А. Карпинский, отец и сын Тимирязевы, В. П. Волгин и др. Естественно, преобладали "старые большевики", обеспечивавшие постоянный и жесткий идеологический и политический контроль. Взаимопонимания с Чертковым у большинства из них, по-видимому, не было, тем более, что проблема издания ПСС Толстого на том этапе осложнялась объявленной СНК национализацией и монополизацией, на что упирали издатели. См., напр., в книге: Динерштейн Е. А. Положившие первый камень. М., 1972, сс. 161-162, письмо заведующего Госиздатом Воровского Черткову (октябрь 1919 г.).

XIII

Заявление В. Г. Черткова для В. И. Ленина

<конец 1920 - январь 1921 г.>

По делу издания советской властью полного собрания всех писаний Л. Н. Толстого уже более двух лет велись переговоры между Народным комиссаром по просвещению и мною как тем лицом, которому Л. Н. Толстой поручил приготовление к печати оставшихся после его смерти бумаг и рукописей. При этом т. Луначарский, как и не могло быть иначе, относился с должным уважением к тем указаниям Л. Н. Толстого относительно способа редактирования еще ненапечатанных его писаний, которые были опубликованы при первом томе его Дневника¹, изданном несколько лет тому назад как в России, так и за границей на иностранных языках. Он также отнесся с полным доверием и ко мне как к уполномоченному Толстого по этому делу.

На этих основаниях между т. Луначарским и мною были два раза заключены договоры, в которых все подробности дела после продолжительного и внимательного обсуждения были обстоятельно установлены. Но после того оба раза произошло нечто совсем для меня непонятное и неожиданное. Соглашения, состоявшиеся непосредственно с Народным комиссаром по просвещению и скрепленные его

подписью, были дважды аннулированы представителями подведомственного ему Комиссариата.

Затем взамен состоявшихся с т. Луначарским договоров мне были сделаны уже не им, а другими лицами, представлявшими Государственное Издательство и относящимися к этому делу совершенно иначе, нежели он², некоторые предложения, безусловно для меня *неприемлемые, как нарушающие определенно выраженные и обязательные для меня указания Толстого*. Таким образом распалось дело издания *полного* собрания писаний Толстого советской властью при моем участии. В конце концов мы с Государственным Издательством приступили к обсуждению вопроса о выпуске, под моей редакцией, одних лишь неизданных *дневников и писем Толстого*. Но и тут в последнюю минуту Госиздат предъявил мне некоторые условия, *прямо нарушающие* указания Л. Н. Толстого и принять которые я *поэтому* не могу.

Между прочим, от меня потребовали передачи порученного мне Львом Николаевичем общего редактирования его писаний в назначенную Госиздатом коллегия³, в состав которой я входил бы лишь в качестве одного из трех ее членов. В подобном нарушении воли Толстого я, конечно, не считал себя вправе участвовать, тем более, что мне хорошо известны причины, побудившие его поручить именно мне одному редактирование его посмертных писаний.

Дело в том, что подготовка к печати неизданных еще писаний Толстого требует предварительного, самого тщательного рассмотрения всего оставшегося после него письменного матерьяла, среди которого, естественно, имеются и бумаги крайне интимного, личного или семейного характера. Понятно, что эту в высшей степени конфиденциальную работу Толстой мог поручить только такому близкому своему другу, которому он в этом отношении безусловно доверял. По причинам, которые он отчасти изложил в своих дневниках и письмах, он не считал удобным поручить эту работу не только никому из остальных своих друзей, но даже никому из самых близких семейных. Избрал он именно меня вследствие нашей с ним многолетней совместной работы над изданием его писаний, во время которой он успел убедиться

в том, что редактировать их я буду наиболее тщательным образом, с полным пониманием его собственного отношения к этим писаниям. Кроме того, назначив меня редактором, он обстоятельно мне лично сообщил самые точные указания относительно того, как он желал бы, чтобы эта подготовительная работа над его бумагами была исполнена. Наиболее же близкой ему из всех его детей, дочери своей Александре Львовне, он поручил содействовать мне в осуществлении порученной им мне задачи, — между прочим, тем, чтобы ограждать свободу моих действий от всяких посягательств со стороны остальных его семейных.

Понятно, что, обещав Льву Николаевичу исполнить с точным соблюдением его инструкций порученную им мне в высшей степени конфиденциальную и ответственную работу, *я не имею нравственного права передоверить кому бы то ни было те полномочия, которые он счел нужным предоставить мне одному*.

Работа эта над рукописями и бумагами Толстого производится со дня его смерти самым внимательным и тщательным образом целой группой сотрудников *под моей общей редакцией* и при участии А. Л. Толстой. К этому делу нами привлечены самые компетентные в настоящее время в России литературные силы по своим специальным познаниям и по своему редакционному опыту; а также и все личные друзья Льва Николаевича и его семейные, располагающие необходимой осведомленностью для составления той массы пояснительных справок и примечаний, которые бывают необходимы для издания дневников и корреспонденции умершего лица. Насколько обстоятельно и научно объективно производится эта сложная работа, можно судить хотя бы по появившимся уже (в 1916-17 гг.) в печати двум томам "Дневников Толстого", вызвавших единодушное

Для того, чтобы советская власть, издавая новые писания Толстого, могла быть уверена в точности текста, я в соглашениях, состоявшихся с т. Луначарским, включил пункт о доставлении ей возможности проверять редактируемый мною текст по подлинным рукописям Толстого. — *Прим. В. Г. Черткова.*

одобрение в редакционном отношении со стороны всех знатоков по такого рода литературным работам.

По сравнению с моими предшествовавшими договорами с т. Луначарским, я, по желанию Госиздата, отказался от всех тех пунктов, которые, хотя и представляли для меня серьезное практическое значение, но не содержали в себе ничего принципиального с моей точки зрения. Не считал я себя нравственно вправе согласиться лишь на те изменения, которые *прямо нарушали предсмертные распоряжения* Льва Николаевича. Тем не менее Госиздат в своем сообщении по этому поводу т. Луначарскому, совершенно игнорируя волю самого Толстого, отозвался о моем лояльном к ней отношении как к "ничем не оправдываемому домогательству"; сообщил о своем намерении "в ближайшее время организовать редакционную комиссию" и заговорил о "необходимости выяснить, где хранятся рукописи Л. Н. Толстого". Другими словами, Госиздат в своем нежелании согласовать свои действия с указаниями самого Толстого относительно способа редактирования его посмертных писаний готов перед лицом всего мира нарушить требования самого элементарного не только уважения, но просто приличия по отношению к памяти величайшего писателя нашего времени, воля которого в связи с его собственными писаниями дорога и священна для всего мыслящего русского народа, а также, как известно, пользуется неменьшим уважением и признанием и со стороны всего сознательного человечества, давно уже причислившего Толстого к числу мировых писателей.

Если в отличие от первоначального плана издания писаний Толстого, выработанного совместно с наиболее просвещенными представителями советской власти, в настоящее время коллегия при Госиздате в теперешнем ее составе не находится на высоте этой почетной задачи и готова приступить к этому делу с произвольного нарушения оставленных самим Толстым письменных указаний, — то, казалось бы, в интересах советской власти было бы не допускать такого неподобающего приема, могущего только компрометировать тех, на чью ответственность он, в конце концов, ляжет.

В виду изложенного позволяю себе просить о том, чтобы во имя всеобщего уважения к памяти Толстого не было допущено такое произвольное и грубое нарушение его предсмертных указаний относительно своих писаний небольшой группой лиц, слишком формально и нечутко относящихся к предстоящей советской власти деликатной задаче. Если советская власть вследствие позиции, принятой Госиздатом, не сочтет возможным принять участие в издании посмертных писаний Толстого на тех основаниях, которые были указаны самим автором, то прошу лишь о том, чтобы, по крайней мере, *не мешали бы тем, кому Л. Н. Толстой это поручил, т. е. мне, его дочери и нашим сотрудникам, довести до конца производимые нами в течение нескольких лет редакционные работы*⁴.

По мере изготовления к печати каждого тома мы намерены издавать его по-русски за границей; причем и Государственное Издательство могло бы для своего будущего издания использовать, если пожелает, нашу редакционную работу, тем более, что других столь же компетентных сотрудников в этой области оно, конечно, не в состоянии было бы найти. Притом и издавать Толстого в России в требуемом количестве пока еще невозможно вследствие бумажного кризиса. Если же Госиздат, несмотря на все технические затруднения, пожелал бы теперь же, не откладывая, приступить к печатанию полного собрания писаний Толстого, то он мог бы начать с тех многочисленных томов, которые не подлежат значительной редакционной работе и которые уже печатались при жизни его.

Таким путем было бы, с одной стороны, соблюдено вытекающее из уважения к памяти Толстого согласование приемов издания посмертных его писаний с его собственными указаниями по этому предмету; а с другой — деятельность Госиздата по изданию Толстого не потерпела бы ни малейшего ущерба, и он получил бы возможность воспользоваться в свое время результатом редакционных трудов наиболее компетентных специалистов, привлеченных нами к этой работе. А когда в самой России настала бы возможность печатать Толстого в требуемом количестве, то

советская власть нашла бы в нашем заграничном издании уже вполне готовый материал.

ПРИМЕЧАНИЯ

РГАЛИ, ф. 552, оп. 2, ед. хр. 30, лл. 7-12. Машинописная копия на папиросной бумаге, без подписи.

1. "Дневник Льва Николаевича Толстого" был издан Чертковым в двух томах в 1916-1917 гг.

2. Т. е. Мещеряков, Покровский, Шмидт и др.

3. В назначенную Государственную редакционную комиссию по изданию ПСС Толстого поначалу должны были войти Воровский, Чертков и предлагавшийся последним П. И. Бирюков, однако отвергнутый — "предпочитается снестись по этому поводу с М. Горьким" (Динерштейн, сс. 161-162). Затем в нее входили: Луначарский (председатель), Покровский, Бонч-Бруевич, Каменев, Степанов-Скворцов, И. К. Луппол и М. А. Савельев, а спустя годы — Ф. М. Головенченко, В. С. Кружков, акад. А. М. Панкратова, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, А. К. Котов под председательством А. А. Фадеева.

4. Эти слова подчеркнуты в 1-ой версии заявления.

XIV

В. Г. Чертков — В. И. Ленину

<27 ноября 1922 г.>

Многоуважаемый Владимир Ильич,

При том личном свидании с Вами¹, которое Вы мне любезно предоставили несколько лет тому назад, Вы выразили Ваше сочувствие к приготавливаемому мною по поручению Л. Н. Толстого изданию его писаний и разрешили мне обратиться к Вам за содействием в этом деле, если окажется надобность.

В настоящее время такая надобность действительно представилась, как Вы увидите из прилагаемой краткой записки, если потрудитесь ее прочесть. Хотя многие из представителей высшей советской власти вполне сочувствуют выражаемой мной точке зрения, тем не менее некоторые держатся другого мнения. А потому для благоприятного разрешения этого вопроса крайне важна Ваша авторитетная поддержка.

Изложить причины, почему я не имею возможности, не изменяя моему обещанию Л. Н. Толстому, принять участие в какой-либо комбинации для издания его писаний независимо от освобождения их от монополии, я не стану письменно излагать для того, чтобы не обременять Вашего внимания. Но если бы Вы нашли это нужным, то во всякое время рад был бы лично переговорить об этом с Вами.

С пожеланием Вам всего наилучшего
уважающий Вас

В. Чертков

ПРИМЕЧАНИЯ

РГАЛИ, ф. 552, оп. 2, ед. хр. 30, л. 2.

Бланк: Издательство "Единение и Редакция журнала "Голос Толстого и Единение" — Лефортовский пер., д. 7. Тел. 1-74-30 (исправлен чернилами — А. Р.). 27 ноября 1922. На конверте рукой Чертова чернилами: "Товарищу Владимиру Ильичу Ленину"; другим почерком карандашом: "Не послано 21/XI 22 г."

1. Т. е. 8 сентября 1920 г.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Генрих Иоффе

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В "НОВОМ ЖУРНАЛЕ"

Великое наше несчастье — неумеренность во власти. Не умеют наши люди ни в чем меры держать, не могут средним путем ходить, все по окраинам и пропастям блуждают.

Ю. Крижанич

БРАТЦЫ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?!

Обдумывая начало статьи о русской революции на страницах "Нового Журнала" и выбирая для этого материал, опубликованный там более, чем за полвека, я решил остановиться на, казалось бы, не слишком приметных воспоминаниях В. Кокошкина о его брате — Федоре Федоровиче Кокошкине.

Федор Кокошкин был одним из руководящих деятелей кадетской партии, по характеристике Р. Винавер — жены другого лидера кадетов М. Винавера — одним из "главных двигателей ее внутренней жизни" ("*Новый Журнал*", 1945, 10). Во Временном правительстве 1917 г. он занимал пост государственного контролера и как выдающийся профессор-юрист возглавлял комиссию по разработке закона о выборах в Учредительное собрание. Ф. Кокошкин, пожалуй, более, чем другие лидеры кадетов являл собой тип "народника", не в партийном,

а в том смысле, в каком дореволюционная русская интеллигенция испытывала чувство долга перед народом. После роспуска 1-ой Государственной Думы (июль 1906 г.), на судебном процессе депутатов, подписавших Выборгское воззвание (призыв к пассивному неповиновению властям), Ф. Кокошкин изложил свое политическое кредо. "Мы хотели сделать Россию сильной и процветающей. Мы знали, что для этого путь только один — поднять благосостояние низших трудящихся классов населения... Говорят, что всякая великая идея требует жертв; если мы должны быть этими жертвами, — мы готовы ими быть" (*"Новый Журнал"*, 1963, 74, сс. 207-208). Могли предполагать Федор Федорович Кокошкин, что его слова о готовности принести себя в жертву во имя процветания народа России сбудутся, но после революции?

В 20-х числах ноября 1917 г. Ленин подписал декрет под названием "Об аресте вождей гражданской войны против революции". Вождами гражданской войны (которую развязали сами большевики) и "врагами народа" для начала, естественно, были названы кадеты. Нескольких их руководящих деятелей тут же заключили в Петропавловскую крепость. Среди них находились Ф. Кокошкин и другой член ЦК кадетов, министр Временного правительства А. Шингарев. В 1901 г. он издал книгу "Вымирающая деревня". Ныне она почти забыта, а тогда — в начале века — этот крик о помощи крестьянству прозвучал на всю Россию. В камере Петропавловской крепости Шингарев вел дневник. 14 декабря — в годовщину восстания декабристов на Сенатской площади в 1825 г., от которых кадеты вели традицию русского революционного движения, Шингарев задавался вопросом: "Стоило ли делать революцию, если она привела к таким результатам?" И отвечал: "Рано или поздно начнется постройка новой государственности на единственно возможном и незыблемом фундаменте. Вот почему я приемлю революцию, и не только приемлю, но и приветствую, и не только приветствую, но и утверждаю: если бы мне предложили начать ее сначала, я, не колеблясь бы, сказал теперь: Начнем!" Какая вера в свои идеалы, в неизбежное исцеление общества даже через революционные потрясения!

5 января 1918 г. ленинцы расправились с созданным ими же Учредительным собранием. То, что произошло вслед за тем

в Петрограде, можно связать с бесцеремонностью и безнаказанностью, с которыми большевики разделились с "хозяином земли русской", мечтой многих поколений освободительного движения — Учредительным собранием. В. Розанов считал, что "революция есть ненавидение" (В. Розанов. *Мимолетное. "Новый Журнал"*, 1993, 190-191, с. 171). Он прав: в "массы" вливался такой пропагандистский яд классовой ненависти, что они, как писал доктор И. Манухин, накалялись до "кровомщения" (И. Манухин. *Воспоминания о 1917-1918 гг. "Новый Журнал"*, 1958, 54, с. 106). Доктор Манухин — особая личность 17-го года, требующая памяти. В дни, когда в Петрограде клочкотала классовая ненависть и злоба, он оказывал помощь арестованным как Временным, так затем и Советским правительством.

По свидетельству сестры Шингарева — А. И. Шингаревой, ожидалось скорое освобождение Кокошкина и Шингарева. Нарком юстиции, левый эсер И. Штейнберг, лично просмотрел их дела и не нашел материала для обвинения. Но 6 января оба — Кокошкин и Шингарев — по просьбе родных были переведены из Петропавловки в Мариинскую больницу. Здесь в ночь на 7-ое января они были зверски убиты группой матросов и солдат, которые, по некоторым данным, собирались затем двинуться в Петропавловскую крепость, чтобы перебить всех арестованных министров Временного правительства. Дальше начальника милицейского комиссариата 1-го городского района П. Михайлова и его заместителя П. Куликова следствие не пошло. Дело фактически было замято.

Но разве не ясно, что являлось причиной гибели Кокошкина и Шингарева? Член ЦК кадетской партии, один из светил русской адвокатуры В. Маклаков писал: "Посадила Кокошкина и убила его превозносимая им "народная воля" не в идеализированном, а в реальном виде своем. Народ пошел не за верой Кокошкина, а за злобными наущениями Ленина, не за правовым началом, а за призывом: "грабь!" (*"Новый Журнал"*, 1963, 74, с. 225).

Рассказывали: последнее, что успел сказать Кокошкин, его предсмертным криком были слова, обращенные к убийцам: "Братцы, что вы делаете?!" Пуля, направленная в рот,

оборвала этот крик. Но он слышится и сегодня. В нем — мольба, отчаяние, недоумение, ужас. Это — крик всей российской интеллигенции, на протяжении многих лет благословлявшей и призывавшей революцию, — эпитафия к трагическому финалу всей ее деятельности. "За победу зла в этом мире в первую очередь отвечают не его исполнители, а духовно зрячие служители добра", — писал Ф. Степун (*"Новый Журнал"*, 1966, 82, с. 253).

ВРЕМЕННО РОССИЯ СТАЛА БОЛЬНОЙ

Падение царизма, которое было воспринято чуть ли не как чудо, вызвало в довольно широких кругах российской общест-венности мощный прилив радужных надежд.

"Медовый месяц", "пасхальный перезвон" революции продолжался недолго. Веховский философ С. Франк в написанной им биографии П. Б. Струве вспоминает многозначительный эпизод. Когда в 1927 г. в Берлине, в связи с годовщиной Февраля, Франк напомнил Струве о его революционном ликовании 10 лет тому назад, Струве мрачно ответил: "Дурак был!" Через четыре десятилетия, в 1957 г., М. Вишняк в "Новом Журнале" напомнил об этом. "Февраль, — писал он, — благословляли все. Струве тогда считал его "чудом", которое "прожгло, очистило и просветило нас". Потом он назвал его "глупым делом", даже "самоубийством русского народа" (*"Новый Журнал"*, 1957, 48, с. 211). Как могли происходить столь резкие трансформации? Ведь такие люди, как Струве, не могут быть определены словом "перевертыши", ставшим таким модным в постперестроечные годы, когда вчерашние рьяные коммунисты на глазах публики театрально рвали или сжигали свои партбилеты. Для того, чтобы Струве перечеркнул свое революционное и даже лево-либеральное прошлое, должно было произойти что-то очень важное. Жизнь относительно быстро проявила уродливые черты лица революции. Р. Гуль в мемуарах "Я унес Россию" имел мужество написать: "Я скажу сейчас очень непопулярные вещи. Но непопулярности я не боюсь. В эти дни (речь идет о конце 1917 г. — Г. И.) я воз-

ненавидел всю Россию: от кремлевских псевдонимов до холоев-солдат, весь народ, допустивший в стране эту кровавую мерзость" (*"Новый Журнал"*, 1978, 131, с. 30). Это не было миомолетным мнением, вызванным раздражением или личными невзгодами. Еще в начале 40-х годов Р. Гуль опубликовал "Дневник разочарованного коммуниста" — одного из первых советских "невозвращенцев" Н. А. Орлова. В нем есть запись: "Россия, Россия! Какую безмерную мерзость выплюнула ты на поверхность!.. Да, вот страна, которая может служить только материалом" (*"Новый Журнал"*, 1961, 64, с. 163).

В 1991 г. в "Новом Журнале" был опубликован ценный источник, который, как любят выражаться историки, к сожалению, пока не вошел в научный оборот. Речь идет о дневнике В. Чеботаревой, охватывающем период с июля 1915 по январь 1918 г. 3 апреля 1917 г. она записала рассказ одной из своих коллег, который хорошо подтверждает старую истину: суть может быть и в деталях. Вот одна из таких деталей: "Вчера Марья Алексеевна была поражена массой скопившегося народа у решетки Александровского сада... Повинуясь стадному чувству, пошла и она... Николай Александрович (бывший царь. — Г. И.) с каким-то офицером рыл снег лопатой, спуская воду в канавку. Толпа стояла безмолвная и смотрела, как на редкого зверя в клетке. Зачем это?" (*"Новый Журнал"*, 1991, 182, с. 220). А через несколько дней писала: "Отношение простого народа, солдат (к царской семье. — Г. И.) враждебно-насмешливое. Утром пришла в первую палату. Все ходячие спешно одеваются. Куда? Говорят: "Сегодня Николашку-дурачка увозят, идем поглядеть. На мое замечание, что лежачего грех лгать, ответили: "А что он с нами сделал, что Русь из-за него переживает? Фронт-то он первый хотел открыть, да дальше Пскова наши его не пустили". И далее Чеботарева как бы с грустной усмешкой замечает: "А монархисты убеждены, что народ за него: слепые это люди..." (*"Новый Журнал"*, 1991, 182, с. 237). "Во что превращается Петербург? — записывала другая женщина — Т. Алексинская. — Днем на всех улицах идет продажа награбленных во время переворота вещей... Вечером в городе — драки, бесконечное количество пьяных. Солдаты взламывают винные склады и погребов лучших магазинов. Ви-

но и спирт текут рекой. То там, то здесь вспыхивают пожары. Тоска от безысходности положения, от этой дикой анархии" (*Т. Алексинская. 1917 год. — "Новый Журнал", 1968, 91, с. 194*).

Так же, как дневник В. Чеботаревой и записки Т. Алексинской, историки почти не используют уже упоминавшиеся мемуары И. Манухина. А ведь его взгляд приобретает особую ценность, когда он говорит о времени революционных потрясений. "Термин «революция», — писал он, — обозначал не только политическое событие огромного значения, но и перемену во множестве направлений русской жизни; даже годами утвержденный домашний уклад вдруг развалился и превратился в сумбур, взволнованную бестолочь, беспорядок, отражавший хаос, царивший тогда на улицах, в правительственных учреждениях и частных предприятиях" (*И. Манухин. Революция. — "Новый Журнал", 1963, 73, с. 184*). Р. Гуль тоже констатировал: "Россия оказалась в разгаре своего "окаянства", точно по "Бесам". "Все поехало с основ, как хотели Шигалев и Верховенский" (*Р. Гуль. Я унес Россию. — "Новый Журнал", 1978, 131, с. 17*). Это "съезжание" с основ непрерывно нарастало по мере "углубления" революции и расширения масштабов гражданской войны. Доктор И. Манухин вспоминал: "Годы 19-20-ый были периодом все нарастающего — из недели в неделю, из месяца в месяц — тягчайшего для нормального человека состояния какой-то моральной смертоносной духоты, которую даже трудно определить точным словом, разве что термином «нравственной асфиксии». Люди были поставлены в условия, когда со всех сторон их обступала смерть, либо физическая, либо духовная... Все делалось лживо, обманно, враждебно, озлобленно вокруг вас и безмерно-беспредельно незаконно" (*И. Манухин. Революция. — "Новый Журнал", 1963, 73, с. 196*).

Мы очень мало знаем о тех, кто стоял у истоков революции, кто готовил и ждал ее, но увидев "дело рук своих", нашел в себе силы открыто или для себя самого признать крах своих идеалов. В 1921 г. Ю. Мартов писал П. Аксельроду из Москвы о Вере Засулич, перед смертью проклявшей свое революционное прошлое. В "Новом Журнале" опубликованы фрагменты из воспоминаний "бабушки русской революции" Е.

Брешко-Брешковской. "Боже мой! — писала она. — На скольких людей, и больших и малых, насмотрелась я, сидя гостьей в Зимнем дворце. Не было среди них людей, горящих любовью к Родине..." Царил "психоз сил и страстей, поддерживаемый клеветой, ежедневным обманом и, наконец, водкой. Временно Россия стала больной, невменяемой. Старые грехи сверху отзывались грехами и корыстью снизу. Революция! Она поднимает с самых низовых, самых потаенных углов все отбросы, все темное, все порочное, и своим неудержимым порывом временно одолевает нормальное течение... Не было сколько-нибудь заметной личности, занимавшей какой-нибудь видный пост, которую не окружали бы стаи интриганов, людей карьеры, личной наживы... Мне опостылел этот город, как скопище измен и честолюбий, продавших Россию за чечевичную похлебку, каждый для себя" (*Е. Брешко-Брешковская. 1917-ый год. — "Новый Журнал", 1954, 38, сс. 202-203*).

МОГЛО СПАСТИ ПРИМИРЕНИЕ ВЛАСТИ С ЛИБЕРАЛИЗМОМ

В историографии (особенно, пожалуй, в западной) распространено мнение, согласно которому революционные потрясения в России по большей части являлись следствием отсутствия или запоздалости реформистских преобразований сверху (см., например, *рецензию М. Раева на книгу Р. Пайпса — "Новый Журнал", 1991, 182, с. 378*; см. также *Письма А. Кизеветтера М. Вишняку и др. — "Новый Журнал", 1988, 172-173, с. 507*). Такое мнение, во всяком случае, по отношению к России, представляется проблематичным. Многие факты показывают, что проведение реформ обычно приводило к обострению социальной напряженности и в результате к росту радикализма и экстремизма в наиболее активных слоях общества как слева, так и справа. В. А. Маклаков дал убедительное объяснение росту левого радикализма. Переход государства к реформам обычно рассматривался революционными и оппозиционными кругами как признак его слабости. Такой момент революционно настроенные элементы из среды

российской интеллигенции, твердо веровавшие в преобразующую силу политических перемен, считали наиболее подходящим для нанесения удара по ненавистному царскому режиму. Конечно, раздавались и трезвые, предупреждающие голоса. Были мыслители, утверждавшие, что модернизация и преобразование общества в России возможны лишь на началах духовного развития, что одни лишь политические трансформации мало к чему приведут (например, авторы сборника "Вехи"), но их не слушали, отказывались слушать. Революция казалась прямой, а главное — быстрой дорогой к парламентаризму или даже заветному социализму. Духовный прогресс требовал долгой, упорной, будничной работы. Разве это было приемлемо для российских революционеров, зараженных духом нетерпения? Как писал В. Маклаков, "зрелище боя, когда калечат друг друга... занимательней, чем наблюдение за больным человеком, который медленно поправляется". Жертвы? Они считались неизбежными, а цель должна была оправдывать средства.

Но у другой стороны — справа — реформистские преобразования вызывали недовольство и стимулировали сопротивление им. В этом лагере считалось, что реформы ломают исторический уклад, пробуждают разрушительные, анархические силы, грозящие самому существованию государства. В итоге — общественный раскол, усиление вражды, борьбы, которая приобретает собственный внутренний импульс и "захватывает" сама по себе.

Здесь мы подошли к одному из самых кардинальных вопросов новейшей русской истории: вопросу о причинах социального катаклизма, который пережила Россия в начале XX в., точнее сказать — к вопросу о возможности или невозможности его предотвращения. Два новожурнальных автора, на наш взгляд, высказали по этому поводу наиболее глубокие соображения. Это — В. Маклаков и бывший редактор журнала М. Карпович. Идеологически они близки друг другу (см. С. Зеньковский. *Вдумчивый историк (к 100-летию со дня рождения М. Карповича)*. — "Новый Журнал", 1987, 168-169, с. 406). Не случайно М. Карпович в своих "Комментариях" неоднократно обращается к трудам и мемуарам В. Маклакова.

То, что историческая власть в России — классическое "самодержавие" — утрачивала свои качества с точки зрения возможности рационального управления страной уже к середине XIX в., признавалось не только оппозицией, но сознавалось многими и в самих "верхах". Преобразования по созданию правового государства, способные высвободить новые силы, были необходимы. Путь этих преобразований, дающий возможность мирно, без кровавых потрясений модернизировать Россию, лежал, конечно, во взаимодействии власти и либеральной оппозиции. Но возможно ли было такое взаимодействие в российских условиях — вот вопрос вопросов. Лидер наиболее сильной либеральной партии — кадетов — П. Миллюков давал однозначно отрицательный ответ, а ответственность за это целиком возлагал на власть, и прежде всего на Николая II, слишком приверженного "самодержавному началу" и не желавшего союза с теми, кто стремился трансформировать самодержавие в конституционную монархию. Историки, конечно, не могут читать в сердцах, но ведь это факт, что после реформ Александра II следующий, не менее значительный шаг в процессе реформирования государственного строя России был сделан в царствование Николая II. Не случись революции, и вполне вероятно, что Николай II остался бы в истории как один из великих реформаторов. Но... *Vae victis* — горе побежденным.

О последнем русском царе написано много совершенно противоположного. Но такой заслуживающий уважения мемуарист, как протопресвитер армии и флота, отец Г. Шавельский, в годы войны близко наблюдавший царя, считает, что его характер действительно был "соткан из противоположностей". Открытость и доверчивость уживались в нем с подозрительностью и осторожностью. В нем был какой-то фаталистический оптимизм, вера в то, что само собой "все устроится, наладится и кончится благополучно" (*Г. Шавельский. Николай II в Ставке. — "Новый Журнал", 1953, 34, сс. 175, 176*). Эти качества полностью проявлялись в политике. Те государственные деятели, которые признавали необходимость реформ, еще при Александре II подчеркивали, что в случае перехода к ним необходимо соблюдение двух условий: постепенность

и последовательность. То же самое рекомендовал Николаю II С. Ю. Витте — инициатор знаменитого Манифеста 17 октября 1905 г. Как раз этого-то и не доставало политическому курсу Николая II.

Историк С. Пушкарев в рецензии на книгу Р. Мэсси "Николай и Александра" справедливо указал на то, что если слово "неограниченный" (монарх. — *Г. И.*) было выкинуто из текста "Основных законов" 1906 г., то слово "самодержавный" осталось, и эта двусмысленная формулировка как бы отражала те сомнения и колебания, которые сохранялись в душе носителя верховной власти и обнаруживались в его политике между революциями 1905 и 1917 гг. (*Сергей Пушкарев. Николай и Александра. — "Новый Журнал", 1968, 93, с. 306*). Оценка Николая II как политика в советской и российской историографии и публицистике претерпела поразительные изменения. В доперестроечные времена он "по-ленински" рассматривался не иначе, как "дурачок Романов". После крушения большевизма все чаще стали появляться оценки, идеализирующие трагически погибшего отрекшегося императора. В связи с этим уместно сослаться на разговор Р. Гуля с А. Гучковым. Гучков выразил недовольство П. Б. Струве за его статью, посвященную покойному императору: "Струве пишет о царе, как о необыкновенном человеке, разумном правителе и т. д., но Струве так же, как и я, прекрасно знает, что это неправда. Зачем? Такая неправда только вредна" (*"Новый Журнал", 1981, 144, с. 28*). Нельзя, однако, не учитывать личную неприязнь Гучкова к Николаю II, о которой было довольно широко известно. Пожалуй, ближе всего характеру и умунастроению Николая II соответствовал бы курс сохранения status quo. Но в то же время царь сознавал (и этому есть свидетельства), что в сложившейся в России ситуации это практически невозможно. Под давлением или по внутреннему почину Николай II все же шел в направлении конституционного изменения режима. Да, это движение сопровождалось отступлениями, колебаниями, задержками, но все же оно шло. Царь не раз заявлял, что развитие страны, обозначенное им в Манифесте 17 октября, не будет изменено. И действительно, несмотря на сильное давление правых, он не распустил Государственную думу, став-

шую важной частью государственного механизма России, и не ограничил ее законодательные права! Министр народного просвещения в 1915-1916 гг. граф П. Игнатъев в своих воспоминаниях писал, что, по его мнению, "лично Государь желал видеть дружную работу между администрацией и законодательными палатами" (*П. Игнатъев. Совет министров в 1915-16 гг. — "Новый Журнал", 1944, 8, с. 303*).

Г. Шавельский и многие другие мемуаристы считали, что отрицательное влияние на колеблющегося царя оказывали интриганы из ближайшего окружения (свиты), боявшиеся потерять привилегии, и особенно Александра Федоровна, твердо считавшая, что для России никакая другая власть, кроме самодержавия, не подходит. Такого влияния, по многим данным, отрицать нельзя. Но именно это обстоятельство требовало от либеральной оппозиции здравомыслящего и ответственного подхода к верховной власти. Разве можно было не учитывать, что императору даже психологически тягостно было отступать, в его понимании, до последней черты? И Александра Федоровна со своей точки зрения была права, когда в недоумении говорила графу П. Игнатъеву: "Государь не может уступить: дать немного — захотят большего. Где остановиться и что останется от власти Государя?" (*там же, с. 317*). Николай II считал, что либералы — западные политики на русской почве, что они плохо знают Россию и, получив власть, не удержат ее и откроют путь анархии. А ведь то, что требовали либералы (особенно в первых двух Думах) неизбежно вело к коренной ломке политических и социальных устоев государства. В отношении власти либералов Николай II оказался провидцем. В связи с этим нелишне процитировать воспоминания Д. С. Карпова — "Хроника распада". "Лента кинематографа обернулась, — писал он, — мелькавшие на сцене с выражением отчаяния на лице обреченные фигуры царя и царицы и придворных исчезли, и вдруг зрители остолбенели: вместо общественных деятелей — Гучковых и Милюковых — которые должны были заступить царя, обрисовалась на экране наглая рожа Пугачева и злобно оскаленные зубы" (*"Новый Журнал", 1979, 137, с. 117*).

Какому же политическому курсу следовала либеральная

оппозиция? Оценки ее действий различны. Мы уже упоминали точку зрения П. Милюкова, считавшего, что компромисс с властью невозможен из-за ее твердой приверженности "самодержавному началу", а уступки либералам — лицемерием и обманом. От власти он требовал немедленного и решительного произнесения слова "конституция". В. Маклаков думал иначе. Он считал, что задача либералов должна была заключаться в том, чтобы содействовать власти, государству, а не подрывать и не разрушать их. Он полагал, что либералы должны были искать сближения не с элементами, готовыми развязать революционную стихию, а с умеренными консерваторами, сознававшими необходимость постепенных перемен (С. Зеньковский. *Вдумчивый историк*. — *"Новый Журнал"*, 1987, 168-169). Необходимость компромисса между исторической властью и рожденной новой эпохой либерально-буржуазной оппозицией во имя предотвращения революционного катаклизма — такова была идея Маклакова. "Россию могло спасти только примирение исторической власти с либерализмом", — писал он. Он указывал и линию, на которой мог и должен был строиться и держаться этот компромисс: закон, право, обязательные как для власти (монарха), так и для оппозиции. Такой основой Маклаков считал Манифест 17 октября и утвержденные в соответствии с ним в 1906 г. "Основные законы". Эти законы "ограничили верховную власть, но и "представительству" дали противовес в лице исторической власти, от него не зависящей. В этом был путь к установлению правового порядка" (В. Маклаков. *Перед 2-ой Думой*. — *"Новый Журнал"*, 1946, 12, с. 197).

Увы, либералы (кадеты) в большинстве своем остались верны идее и заветам борьбы "до полной победы над властью" (там же, с. 201). Этот либеральный максимализм, сближавший его с максимализмом революционным, не мог не подействовать лично на царя. "Здесь, — писал Маклаков, — совершился перелом в его отношении к конституции. Не в его характере была смелость решений. Конституцию он не отменил. Но его доверие с тех пор перешло к тем, кто ее не признавал. По этому признаку стало определяться его отношение к людям... Государь не сознавал, какой уродливый

отбор он этим делал в своем окружении... Подонки приобретали такое влияние, что центральная власть перед ними оказывалась бессильной" (*там же*, с. 199). Эти "подонки", в сущности, и отправили на тот свет П. Столыпина, готового сотрудничать с оппозицией в случае проведения ею конструктивной политики.

Впоследствии, по крайней мере, некоторые либералы (хотя бы в лице того же Маклакова или, к примеру, А. Тырковой-Вильямс) признавали свою долю вины в том, что произошло с Россией в 17-ом году. Но правые, в том числе, конечно, правые "подонки", остались непреклонны и, обвиняя всех и вся, упорно отстаивали свою непогрешимость. На самом деле их ответственность за случившееся весьма существенна: они провоцировали худшие, наиболее экстремистские методы борьбы с властью. Правые тут сходились с левыми.

Конечно, взгляды Маклакова далеко не у всех вызывали одобрение, в том числе и среди эмигрантов — бывших либералов. Например, А. Кизеветтер в апреле 1929 г. писал М. Вишняку: "Рассуждения Маклакова очень неудовлетворительны... По его мнению, кадеты и примыкающие к ним должны были притупить свою оппозиционность, дабы сыграть роль буфера между властью и страной, но как можно упускать из виду, что тогдашняя власть ни о каких существенных и решительных реформах и слышать не хотела, а без таких реформ ничто не могло остановить тогда рокового хода событий..." Политику, содействующую тому, чтобы власть и оппозиционная общественность шли "рука об руку", Кизеветтер считал "чисто утопической фантастикой" (*Письма А. А. Кизеветтера М. Вишняку и др.* — "Новый Журнал", 1988, 172-173, с. 507, 511). Однако, такой глубокий мыслитель, как Ф. Степун, считал это мнение слишком категоричным. "Несчастье канунной России, — писал он, — заключалось в том, что в общественности и культуре цвела весна в то время, как в политике стояла злая осень. Власть *лихорадило* — она то в нерешительности отпускала поводья, то в страхе бессмысленно затягивала их" (Ф. Степун. *Россия накануне войны.* — "Новый Журнал", 1954, 36, с. 218).

Другие критики Маклакова указывали и на непродуктивность рассмотрения истории с точки зрения "если бы".

М. Карпович отвергал этот популярный среди историков взгляд. Он писал: "Вопреки распространенному убеждению в бесплодности таких рассуждений от "если бы", подобные гипотетические построения очень полезны, а может быть, даже и необходимы для правильного понимания исторических событий" (*"Новый Журнал"*, 1946, 12, с. 302). "Маклаков уверен, — пишет Карпович, — в дореволюционной России компромисс был возможен. Его оппоненты утверждали и продолжают утверждать обратное. В этом споре я в общем на стороне Маклакова... Самые основы маклаковской философии компромисса, продиктованной стремлением использовать все (до последней) возможности мирного, эволюционного прогресса, чтобы избежать войны и революции сохраняют в моих глазах свою ценность" (*М. Карпович. Комментарии. — "Новый Журнал"*, 1954, 37, с. 275).

Карпович считал "толки о поражении (курсив наш. — Г. И.) революции (1905 г. — Г. И.) преувеличенными и объективно необоснованными" (*М. Карпович. Комментарии. — "Новый Журнал"*, 1955, 43, с. 240). Вдумчивый историк Е. Ф. Максимович конкретно раскрывает этот важный нешаблонный тезис. Он убежден, что царский Манифест 17 октября означал "совершенно новый этап в политической жизни России" (*Е. Максимович. Эпоха Николая II. — "Новый Журнал"*, 1970, 98, с. 218). Кроме функционирования законодательной Государственной думы (которая отнюдь не представляла собой лишь "ширму" для самодержавия), свободной прессы и т. д., была реальная возможность включения либеральных политиков в кабинет С. Ю. Витте или П. А. Столыпина. Но, как пишет Максимович, "русская интеллигенция обнаружила специфические недостатки всякой интеллигенции, получившей уже вкус к политической деятельности, но силою обстоятельств к этой деятельности недопущенной. У такой интеллигенции неизбежно развивается любовь к безответственной критике, доктринерство, вера в спасительность универсальных схем и во всемогущество красивого, убедительного слова, оторванность от жизни, а в то же время постепенно атрофируется политическая воля, способность и умение действовать".

Развитие России между первой революцией (1905 г.) и

началом мировой войны в немалой степени подтверждает правоту точки зрения Маклакова, Карповича и др. "Нельзя было не видеть быстрого и в некоторых отношениях даже бурного роста общественных сил России накануне злосчастной войны 1914 г., — писал, например, Ф. Степун. — Еще 10-20 лет дружной, упорной работы, и Россия бесспорно вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между "необразованностью народа и народностью образования", в котором славянофилы правильно видели основной грех русской жизни". По убеждению Степуна, требовалось не так уж много времени, чтобы, наконец, "зарыть пропасть, вырытую Петром" (Ф. Степун. *Россия накануне войны*. — *"Новый Журнал"*, 1954, 36, с. 215). Но в России тогда все торопились. Революционеры жаждали свержения монархии. Либералы, стремясь упредить революционеров и воспользовавшись шаткостью власти, спешили утвердить западный парламентаризм.

РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ — В ТИРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Какая печаль в словах Г. Федотова, которого цитирует Е. Ф. Максимович: "Восьмилетие, протекшее между первой революцией и войной, во многих отношениях останется навсегда самым блестящим мгновением в жизни старой России. Точно оправившаяся от тяжелой болезни, страна торопилась жить, чувствуя, как скупы сочтены ее оставшиеся годы..." (Е. Ф. Максимович. *Эпоха Николая II*. — *"Новый Журнал"*, 1970, 98, с. 231. Максимович цитирует статью: Г. Федотов. *"Революция идет"*. — *"Современные записки"*, 1929, кн. XXXIX, с. 357). Но почему же так скупы были сочтены эти годы? Вспоминается афоризм Бердяева: "Русская трагедия... в вечной тирании организованной империалистической государственности над народной жизнью". По словам Максимовича, Столыпин называл "бредом сумасшедшего правительства активную, инициативную внешнюю политику, проводимую в период коренной перекладки всего фундамента имперского здания". Так думал не только он один. "Записки" быв-

шего министра внутренних дел П. Дурново (февраль 1914 г.) буквально расписали поэтапно неминуемое падение России в состояние социальной катастрофы в случае участия ее в европейской войне. "В случае неудач, — писал он, — ответственность целиком будет возложена на власть, правительство. Дума начнет против него яростную кампанию, сознательно или бессознательно провоцируя революционные выступления. Сразу же будут выдвинуты социалистические лозунги передела собственности. Победенная армия не только не сможет противостоять этим выступлениям, но и сама втянется в них. Оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдерживать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию..." Перед самой революцией, в ноябре 1916 г., Дурново подал царю вторую "Записку", в которой предупреждал против требования оппозиции ввести в военное время так называемое "ответственное министерство", т. е. правительство, назначенное не царем, а Думой, и подотчетное ей. "Это будет означать, — писал Дурново, — полный и окончательный разгром партий правых, постепенное поглощение партий промежуточных — центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов... Но кадетам грозила бы та же участь... А после? Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, — мужик-разбойник" (*Д. Анин. Русская революция и либерализм. — "Новый Журнал", 1965, 81, с. 244*). Дурново только не предвидел, что те же самые силы, которые выведут на политическую арену "мужика-разбойника", очень скоро загонят его обратно.

Марксистско-ленинские историки скажут, что причины войн (тем более мировых) коренятся в социально-экономических и геополитических глубинах. Вероятно, это так, но, как и любая политическая акция, вопрос о том, быть или не быть войне, в конечном счете решается людьми. Хорошо известны колебания Николая II в связи с необходимостью отдать приказ о всеобщей мобилизации летом 1914 г. Однако как в правящих (правых) кругах, так и в среде либеральной оппозиции (может быть, в еще большей степени) преобладали милитаристские

настроения. Правые рассчитывали на то, что победа в войне не только реабилитирует режим за все предшествующие поражения и неудачи, но и на волне шовинизма позволит вернуть многое из утраченного после 1905 г. Либералы, напротив, надеялись, что победа над Германией в союзе с демократиями Антанты будет содействовать дальнейшему продвижению конституционализма в России. В день объявления войны все фракции 4-ой Государственной думы (кроме социал-демократов) заявили о своей патриотической поддержке правительства. Однако уже относительно быстро выяснилось, что потребовавшиеся военные усилия вызвали слишком большое внутреннее напряжение. Вероятно, в значительной степени это так. Но разве в других странах война не вызвала напряжения всех сил? Разве Советский Союз в 1941-42 гг. находился в лучшем положении, чем Россия 1914-15 гг.? Не так уж много данных, свидетельствующих о том, что кризис, в котором оказалась царская Россия в годы 1-ой мировой войны, с неизбежностью вел ее к краху. У. Черчилль писал в "Мировом кризисе", что русский корабль пошел ко дну в тот момент, когда уже виднелся спасительный берег. Это так. Союзники России, пусть с трудом, с огромными потерями, дошли до гавани Победы. Почему же Россию постигла другая судьба? Ответ, видимо, следует искать и в том политическом курсе, которому следовала либеральная оппозиция, воспользовавшаяся разраставшимся кризисом. В тех странах, где различные политические силы на время войны откладывали свои споры и создавали коалиционные правительства, так или иначе удавалось преодолевать критические ситуации. Но в России лидеры оппозиции оказались политически близорукими. С лета 1915 г. они (прежде всего в Государственной думе) возобновили боевую кампанию против власти, открыто возлагая на нее всю вину за военные неудачи. Против правительства выдвигались поистине чудовищные обвинения. Явно раздувая масштабы "распутинщины", некоторые лидеры оппозиции пустили в оборот легенду, согласно которой "темные силы", свившие себе гнездо вокруг императрицы-"немки", тайно готовят сепаратный мир с Германией. Впоследствии историки тщательно и не раз проверяли эту тезу (например, С. П.

Мельгунов в фундаментальном исследовании "Легенда о сепаратном мире" и др.) и не нашли за ней *ничего*. По некоторым данным, источником слухов о связях императрицы Александры Федоровны с Германией был сам германский Генеральный штаб.

Распутин до сих пор привлекает внимание публицистов, литераторов (да и некоторых историков) как некий символ "натуральной" Руси, но настоящий анализ распутинского "феномена", пожалуй, все еще отсутствует. С этой точки зрения большой интерес вызывают опубликованные в "Новом Журнале" воспоминания обер-прокурора Синода А. Д. Самарина "Поездка в Барановичи" (там до осени 1915 г. находилась Ставка. — *Г. И.*). Министр двора граф В. Фредерикс, обеспокоенный компрометирующими царскую семью слухами, перед встречей Самарина с Николаем II просил затронуть тему о Распутине. Фредерикс рассказал, что все его попытки оканчивались неудачно. Царь прерывал разговор фразой: "Это дело семейное". Состоявшие в свите граф В. Орлов и граф В. Шереметьев тогда же говорили Самарину, что сам Николай II отнюдь не очарован "старцем". Так, после получения доклада генерала Джунковского о "художествах" Распутина в московском ресторане "Яр", царь, передавая доклад А. Вырубовой, якобы сказал: "Возьмите, прочитайте и полюбуйтесь на вашего кумира" (*"Новый Журнал"*, 1992, 187, с. 220).

На аудиенции у царя Самарин высказался за решительное удаление Распутина от двора. Произошел любопытный диалог:

— Послушайте, Самарин, — сказал царь, — ведь вы признаете ее величество и меня людьми верующими?

— Да, государь, не только я, но и вся Россия счастлива этим сознанием.

— Как же мы могли бы допустить возле себя человека, такого, каким вы изображаете Распутина? Ведь мы не дети.

— Государь, этот человек хитрый, несомненно, он при вас является не таким, каким его знает вся Россия... А между тем, близостью к вам, государь, он пользуется.

— Он у нас бывал, только редко... Можно было бы его удалить из Петербурга (*там же*, с. 220-225).

Любопытна запись в дневнике В. Чеботаревой, работавшей в царскосельском госпитале вместе с великими князьями — дочерьми царя. После убийства Распутина (декабрь 1916 г.) у старшей — Ольги — как-то вырвалась фраза: "Может быть, и надо было его убить, но не так ужасно" (*"Новый Журнал"*, 1991, 182, с. 207).

Действительно, Распутина не раз удаляли из столицы, но всякий раз он возвращался. Разгадка, видимо, лежит в словах Николая II: "Это дело семейное". Александра Федоровна, потрясенная неизлечимой болезнью наследника, хваталась за "тобольского Заратустру" как за последнюю соломинку, и, скорее всего, Николай II не хотел разрушать этой веры. Но он, по-видимому, не учитывал того обстоятельства, что дела семейные царей, особенно в накаленной атмосфере России, могут легко превратиться в дела государственные. Известно, что к трону Распутина "продвинули" правые, но полностью воспользовались этим левые. Из пребывания "старца" возле царской семьи они выжали максимум пропагандистского эффекта. Легенда о всесии Распутина сыграла в судьбе Романовых не менее роковую роль, чем легенда о сепаратном мире...

БОЖЕ, СПАСИ РОССИЮ!

То, что произошло в Петрограде в 20-х числах февраля 1917 г., никто — ни в правящих верхах, ни в либеральных, думских кругах, ни в довольно жалком революционном подполье, не расценил как начало революции. Казалось, вспыхнули *беспорядки* на почве продовольственных трудностей. Правы те, кто полагает, что 2-3 батальона легко могли покончить с этими беспорядками. В первые дни политические партии и группы ожидали, как им казалось, скорого и неминуемого "восстановления порядка" и даже "торжества реакции". Это потом уже, после крушения монархии, всем захотелось приписать "революционные заслуги" себе. Сталинистская историография с присущей большевикам непреклонностью вопреки очевидному утверждала, что это большевистская

партия руководила Февральской революцией! Умеренные социалисты — меньшевики и эсеры — с фактами в руках доказывали, что руководящий орган революционной демократии — Исполком Петроградского Совета — был создан ими. Не избежали политического соблазна и либеральные оппозиционеры, сразу после переворота также заявившие претензию на "руководящую роль" Государственной думы. Заслуживает внимания сообщение писателя А. Кондратьева (1876-1967). Почти 10 лет он работал в комиссиях по запросам Государственной думы, а в 1917 г. делопроизводителем канцелярии Временного Совета республики (Предпарламента). Кондратьев писал: "Самую революцию я мог наблюдать из-за своих рабочих столов в разных помещениях Таврического и Мариинского дворцов. Конечно, были среди оппозиционных и даже принимавших активное участие в революции политических деятелей люди, которые мне даже нравились, люди, которые теперь искренне жалеют о том, что совершили, но эти люди не в счет. Большинство остались верны себе, своим почти революционным, не зависящим от рассудка убеждениям. Знаю хорошо и что такое народное представительство, из которого люди предшествующих поколений склонны творить кумира" (*"Новый Журнал"*, 1990, 181, с. 150). А. Кондратьев приводит интересные сведения о подлинной роли Думы в дни, когда вопрос о власти еще не был решен. Он пишет, что, вопреки распространенной версии, Дума подчинилась царскому указу о роспуске. И это естественно: "Дума имела громадное правое большинство и на революцию не пошла бы". К тому же в городе шла стрельба, и депутаты спешно покидали Таврический дворец. Только небольшая группа думцев, находившаяся в Полуциркульном зале, "без всяких достаточных оснований" (голосований не было) объявила себя Временным комитетом Государственной думы. Это была та клетка, из которой через два дня выросла новая власть — Временное правительство.

Временный комитет был создан 27 февраля, в день, когда произошло то, что мало кто мог предвидеть. В одной из своих статей, опубликованной в альманахе "Мосты", Ф. Степун выразительно и образно описал случившееся. Шедший в рево-

люционной толпе рабочий попросил у казака, находившегося в конном строю, прикурить. "Казак нагнулся с седла, и революционер прикурив свою папироску". Этот вспыхнувший огонек и стал искрой того пожара, в котором очень скоро сгорит российская монархия, а затем демократия. Уникальное соединение рабочих шествий и митингов с солдатским бунтом в Петрограде круто изменило всю ситуацию. Оппозиционные и революционные элементы, видимо, если не поняли, то ощутили: наступил момент, когда их политические планы и вожеления могли осуществиться. Думские лидеры, члены Временного комитета Думы, начали оказывать все нарастающее давление на Ставку Верховного главнокомандующего и царя, склоняя его к отречению и созданию правительства, ответственного перед Думой. Остатки революционных партий и групп вышли из подполья, активизировались, заявив свои исключительные претензии на руководство "революционной демократией"...

Рассказ А. Кондратьева из письма к Амфитеатрову, который мы привели (сам по себе не открывающий почти ничего нового), интересен прежде всего тем, что он вскрывает одну из особенностей русской революции: несмотря на, казалось бы, демократическое половодье, заливавшее страну, поворотные, судьбоносные вехи в ходе ее (революции) определялись решениями небольших групп, попросту сказать, кучками людей, принимавшимися ими в тайне не только от так называемых народных масс, но даже и от тех партий, которые они представляли. Временный комитет Государственной думы не был избран Думой. Исполком Петроградского Совета тоже никто не избирал. Миссия А. Гучкова и В. Шульгина в Псков, имевшая целью добиться отречения царя, была строго секретной: о ней знали в Думе очень немногие. Визит 9 или 10 членов Временного комитета и Временного правительства к великому князю Михаилу Александровичу (на Миллионную, 12), которому Николай II 2 марта 1917 г. передал престол, также был совершен в строжайшей тайне.

Не следует забывать, что отречение Николая II еще не означало ликвидацию монархии в России. В Пскове Николай II сделал то, чего так долго жаждала либеральная оппозиция. Ведь в Манифесте об отречении говорилось: "Заповедуем

брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут *ими* (курсив наш — Г. И.) установлены, принося в том ненарушимую присягу". Манифест ставил последнюю точку в истории российского самодержавия, трансформируя его в конституционную, парламентскую монархию. Но то, что произошло потом, лишь подтверждает, что поезд для либеральных борцов с самодержавием уже ушел. Подняли голову силы, посчитавшие, что ситуация дает возможность продвигаться значительно дальше. Монархия была ликвидирована не отречением Николая II, а отказом великого князя Михаила Александровича принять престол до решения Учредительного собрания. Но разве этот отказ, как и отречение царя, был следствием общественного волеизъявления? Рассказ графини Л. Н. Воронцовой-Дашковой, записанный в конце 1936 г. Р. Гулем и позднее опубликованный в "Новом Журнале" — яркое свидетельство происшедшего. Воронцова-Дашкова однозначно утверждает, что Михаил колебался в вопросе о вступлении на престол. Только сильное давление, оказанное на него некоторыми присутствовавшими на Миллионной членами Временного комитета и Временного правительства, склонило его к отказу от принятия престола, что должно было сохранить преемственность власти (Л. Н. Воронцова-Дашкова. *Человек, отрекшийся от трона*. — "Новый Журнал", 1982, 147, с. 130-131). Впоследствии, как пишет Воронцова-Дашкова, Михаил рассказывал ей, что если бы он получил телеграмму Николая II, в которой сообщалось об отречении в его, Михаила, пользу, возможно, он принял бы другое решение. Но эта телеграмма была задержана и не дошла до адресата (*Недоставленная телеграмма*. — "Новый Журнал", 1982, 149, с. 274). Думается, что этому "если бы" можно верить, как и тому, что резкое обострение болезни великого князя (у него была язва желудка) тоже сыграло роль в принятии отрицательного решения. Боли по временам были настолько сильны, что Михаилу Александровичу было трудно говорить. Нет, не "улица" низложила Николая II и вынудила отказаться от престола Михаила. Это сделали лидеры Думы, высший генералитет.

Так или иначе, но как справедливо писал генерал А. Дрен-тельн, "отказ Михаила подкашивал всякую веру в грядущее, допуская другой образ правления на Руси" (*"Новый Журнал"*, 1990, 179, с. 230). Поле для яростной борьбы различных политических сил за власть в России было теперь открыто. И становятся понятными горькие слова начальника штаба Ставки генерала М. Алексеева, который, узнав от М. Родзянко об отказе Михаила принять престол, сказал: "Прибавить ничего не могу, кроме слов: Боже, спаси Россию!"

РАЗДВОЕННАЯ ДУША ФЕВРАЛЯ

Послефевральская эпоха выдвинула на политическую арену три ключевые личности: А. Керенского, Л. Корнилова и В. Ленина. Именно они олицетворяли и возглавляли те силы, от исхода борьбы которых зависело будущее России. Историки еще очень долго будут спорить, почему проиграли Керенский и Корнилов и выиграл Ленин. Этот вопрос подводит нас к коренной проблеме как прошлого России, так и ее настоящего: возможна ли в принципе демократия в такой стране, как Россия, со всеми ее историческими, геополитическими, национальными и прочими особенностями?

"Первая любовь" революции — Керенский очень быстро стал превращаться чуть ли не в главный предмет ненависти как левых, так и правых. В воспоминаниях Р. Гуля есть выразительный эпизод. Это было уже в Париже, в эмиграции. По улице своей бегающей походкой (в российской охранке его прозвищем было "Скорый") двигался Керенский. Его заметила какая-то русская дама, шедшая с девочкой. Указывая на Керенского, она громко сказала: "Смотри, Таня, этот человек погубил Россию" (Р. Гуль. *Я унес Россию*. — *"Новый Журнал"*, 1981, 144, с. 33).

Нам, современникам, очевидцам горбачевской перестройки (и ельцинского "переходного периода" к капитализму) теперь проще понять падение Керенского. Еще раз вспомним С. Ю. Витте, обуславливавшего переход к конституционному образу правления постепенностью и, что, может быть, еще

важнее, — последовательностью. Такая политика, безусловно, была связана с немалым риском, ибо она давала возможность консолидации противников реформ. Вот почему любой реформатор, особенно в России, должен был обладать большим мужеством, твердой волей и решительностью. Образцы таких реформаторов — Петр I, Александр II, и в немалой степени Столыпин. "Слабые" же реформаторы способны осуществлять реформаторский курс маневрированием и даже лавированием между противоборствующими политическими силами, что в конце концов приводит реформаторов к изоляции — результату недовольства как справа, так и слева. Так называемая центристская политика в период радикальных перемен, по-видимому, обречена. Вспомним горбачевское форосское сидение, история которого дает некоторые основания полагать, что реформатор Горбачев скорее всего находился в контакте с консерваторами, рассчитывая, видимо, с их помощью ослабить левый радикализм. Чем это закончилось — известно. Горбачев сложил с себя президентство. "Форосом" Керенского, как можно думать, мог стать Могилев, куда по приглашению верховного главнокомандующего генерала Корнилова — лидера правых — он должен был приехать для переговоров о "реконструкции" власти. Керенский не поехал в Могилев. Генерал Корнилов оказался решительнее маршала Язова и двинул войска на Петроград. Всю свою долгую жизнь Керенский отрицал наличие какого-либо сговора или соглашения с Корниловым. Однако есть немало данных, свидетельствующих о другом. С помощью Корнилова Керенский, по-видимому, рассчитывал "отсесть" большевизм и вообще левых в Петроградском Совете. Р. Гуль на этот счет приводит еще одно, кажется, не известное историкам, любопытное свидетельство. В Нью-Йорке он однажды обедал в ресторане с Керенским и неким А. Ф. Башкировым, в дни Временного правительства занимавшим высокий пост, связанный с вопросами снабжения (в США Башкиров разбогател). Как пишет Гуль, Башкиров, находясь в благодушном настроении, сказал: "А помните, Александр Федорович, как перед корниловскими днями вы мне отдали распоряжение приготовить фураж и продовольствие для идущей на Петроград Дикой

дивизии (Здесь допущена неточность. Известно, что в ходе переговоров с Корниловым о переброске войск к Петрограду Б. Савинков /тогда управлявший военным министерством/ от имени Керенского просил исключить из состава войсковых соединений Дикую дивизию. Корнилов согласился, но нарушил обещание. — Г. И.) и корниловских отрядов?" И Башкиров в связи с этим хотел что-то рассказать. Но лицо Керенского было передо мной. Оно изменилось почти в гнев, и на весь ресторан (Керенский вообще говорил громко), металлически отчеканивая каждое слово, проговорил: "Никогда никакого такого распоряжения я вам не отдавал!.." И Башкиров понял, что сделал "гаф". Разговор оборвался" (*Р. Гуль. Я унес Россию. — "Новый Журнал", 1981, 144, с. 42*). И. Церетели рассказывал Гулю, что во время восстания Корнилова Керенский остался совершенно один. "Меня все покинули, все," — говорил он в отчаянии (*Р. Гуль. Я унес Россию. — "Новый Журнал", 1981, 145, с. 44*).

Керенского тогда спасла "революционная демократия" — меньшевики, эсеры и... большевики, решившие, что из двух зол им надо выбрать меньшее. Но спасая Керенского от Корнилова, они уже готовились мостить дорогу в политическое небытие и ему. С разгромом корниловцев Керенский полностью утратил поддержку правых и центристских сил. Теперь его судьба фактически зависела от левых, от революционной демократии, в лагере которых он еще мог рассчитывать на умеренных — меньшевиков и эсеров. Увы, они сами оказались в труднейшем положении. Чтобы спасти демократический режим, все еще олицетворяемый Керенским, необходим был не менее полный разгром левого экстремизма — ленинцев, чем тот, который постиг корниловцев. Е. Брешко-Брешковская вспоминала, что она не раз советовала Керенскому: "Саша, возьми Ленина!" Он не решался: "все хотел по закону" (*"Новый Журнал", 1954, 38, с. 204*).

Думается, что не только приверженность Керенского закону сдерживала его. Парадокс положения, возможно, состоял в том, что большевики в определенной мере находились "под крылом"... меньшевиков и эсеров. Большинство их видело в ленинцах "ошибающихся товарищей", а главное, —

не без определенных оснований опасалось, что волна антибольшевизма в своем поступательном движении может "накрыть и их". Страшась контрреволюции справа, они проглядели ее слева. Р. Гуль рассказывает, как однажды в Нью-Йорке Керенский, показав напротив на дом, где жили некоторые бывшие меньшевики, сказал: "Ведь они, они меня погубили" (*Р. Гуль. Я унес Россию. — "Новый Журнал", 1981, 144, с. 34*). В известном смысле это верно. В критические дни октября 1917 г. меньшевистско-эсеровские лидеры ВЦИКа не оказали Керенскому прямой поддержки в попытке подавить вооруженное восстание большевиков. (В июле 1917 г. "умеренные социалисты" также заняли, по меньшей мере, сдержанную позицию в ходе ликвидации первой, нерешительной, попытки большевиков захватить власть.) Остроумно выразился П. Струве: "Меньшевики — это те же большевики, только в полбутылках". В сущности, к такому же выводу пришел и Г. Плеханов. "Опасны не ленинцы, — писал он, а полуленинцы... Посеешь полуленинство, пожнешь ленинство" (*Н. Валентинов. Трагедия Плеханова. — "Новый Журнал", 1948, 20, с. 272*).

Большевики впоследствии сполна "отплатили" меньшевикам и эсерам. Меньшевик М. Либер оказался пророком, когда сказал, что "судьба социалистов — быть расстрелянными своими же товарищами" (*Р. Гуль. Я унес Россию. — "Новый Журнал", 1981, 145, с. 35*).

Да, Керенский бесславно сошел с политической сцены. Демократия, которую он олицетворял, продержалась лишь 8 месяцев и была сметена большевистским переворотом. Вина в этом во многом лежит и на нем. Но в общей его оценке, по прошествии многих лет, должен все же преобладать положительный мотив. И, пожалуй, справедлив Р. Гуль, когда возражая Г. Плеханову, И. Церетели и др., отрицательно говорившим о Керенском, пишет: "Керенский никогда не был человеком зла, он был человеком добра". Близко знавший Керенского Ф. Степун приводит такие его слова: "Какая мука все видеть, все понимать, что надо делать, и сделать этого не сметь". Более точно определить раздвоенную душу Февраля (и его героя Керенского. — *Г. И.*) невозможно" (*там же, с. 47*).

Любопытный факт приводит Р. Гуль. Он пишет, что бывший эсер Н. Воронович рассказывал ему о крупной сумме денег, которую будто бы Керенский дал некой офицерской группе для организации побега Романовых из Тобольска. На вопрос Гуля Керенский ответил: "Не знаю, не знаю, ничего не могу сказать... После моей смерти мой архив будет опубликован". И. Церетели говорил Гулю, что "это вполне могло быть, это вполне в духе Керенского" (*там же*, с. 49).

Если Корнилова (правых) погубили внушаемый им страх возможной реакции и реставрации, а также плохой учет политической ситуации в стране, если Керенского (демократию) погубили непоследовательность, нерешительность, политика лавирования, превращавшаяся в политиканство, то что дало победу Ленину?

ФАНАТИК, НО ЯСНО ВИДИТ

В западной советологии в 60-70-х годах сформировалась значительная группа историков ("реформистов"), во многом разделявших концепцию, согласно которой триумф Ленина и большевиков обеспечила широкая народная поддержка. Однако это, ставшее уже почти стереотипным, утверждение трудно доказуемо, если доказуемо вообще. Даже признав, что в октябрьский период большевики имели на своей стороне большинство "масс" (хотя огромная Россия попросту не знала, что собственно происходило тогда в Петрограде), как объяснить их пребывание у власти, когда об этой пресловутой "массовой" поддержке уже не могло быть и речи? Нет, источник выигрыша в политической борьбе в 1917 г., а затем удержания за собой захваченной власти следует искать в ином. Этим источником прежде всего был сам Ленин и его партия. Троцкий прямо писал, что без Ленина Октябрьского переворота произойти не могло. Лучшего признания не найти.

Превосходил ли Ленин своих противников и оппонентов как политик? Вряд ли. В России начала века было много выдающихся деятелей разных направлений, по меньшей мере, не уступавших Ленину в понимании политических проблем и

превосходивших его во многом другом. Но если Ленин в чем-то превосходил их, то эта превосходство заключалось не столько в интеллекте, сколько в целеустремленности (Ленин был целиком и полностью погружен в революционную политику), в волевой решимости, уверенности в себе. Тут ему, кажется, не было равных. Уникальность волевой натуры Ленина была, пожалуй, в том, что фанатическая воля сочеталась в нем с политической гибкостью, способностью к неожиданным тактическим маневрам. Он мог легко отказаться от того, что проповедовал вчера — все зависело от *целесообразности и выгоды*. Ленин был в высшей степени политическим циником. Он и не скрывал этого. "Кому это выгодно?" — вот главный вопрос, который он требовал ставить, оценивая любую философскую доктрину, любой идеологический или политический тезис. Эти качества вводили его в такие идеологические и политические рамки, отсутствие которых не позволяло другим без интеллектуальных, а главное, нравственных "ограничителей" двигаться намеченным путем.

Г. Адамович писал о В. Маклакове, что он принадлежал к политикам "противоречивым, сложным, чрезмерно много видящим, слишком много понимающим, чтобы раз навсегда сделать выбор и идти по одной линии... У Маклакова не было шор, которые позволяли бы идти вперед, а часто и вести за собой людей" ("Новый Журнал", 1960, 59, с. 289). В разной степени таких "шор" не было ни у Милюкова, ни у Керенского, ни у Плеханова или Мартова... Но у Ленина они были. Художник Ю. Анненков в своих воспоминаниях сообщает деталь, штрих, который, может быть, и раскрывает главную черту характера Ленина как политика. Летом 1906 г. Ленин жил на даче в Куоккале (Финляндия). На отдыхе, раскачиваясь на качелях, Ленин со смехом говорил: "Какое вредное развлечение: вперед — назад, вперед — назад! Гораздо полезнее было бы: вперед — вперед, всегда вперед!" (Ю. Анненков. *Воспоминания о Ленине*. — "Новый Журнал", 1961, 65, с. 128). Решительность и воля, даже если они требовали жестокости, во все времена были высоко почитаемыми качествами государственного деятеля в России. М. Карпович в одном из своих

"Комментариев" заметил, что высшей похвалой для "русского уха" звучит фраза: "Он ни на какие компромиссы не пойдет!" (М. Карпович. *Комментарии*. — "Новый Журнал", 1954, 37, с. 275). Ленин ни на какие компромиссы не шел. Несогласных с ним он отвергал, подавлял, или они уходили сами. А. Д. Нагловский в воспоминаниях о Ленине (они, кажется, все еще малоизвестны) писал: "Ленин в своей "линии" был абсолютно твердокаменен... От своих положений он никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила *сламывала* (курсив наш. — Г. И.) под конец всех в партии" (А. Д. Нагловский. *Ленин*. — "Новый Журнал", 1967, 88, с. 176). Ленин являл собой исключительно цельную натуру. Она и превращала его в вождя. В партии все ощущали это, сознательно или подсознательно чувствовали, что без Ленина они — ничто (*там же*, с. 178). На протяжении 1917 г. Ленин несколько раз "сламывал" свою партию. Кто поддержал "Апрельские тезисы" Ленина сразу после его возвращения в Россию? Фактически никто, но уже через 2-3 недели они стали руководящей программой партии. Кто разделял взгляды Ленина в сентябре, когда он требовал, чтобы большевики покинули Демократическое совещание и начали подготовку к восстанию? Может быть, один Л. Троцкий. ЦК же постановил сжечь письма Ленина о восстании. И все-таки большевики порвали с детищем Демократического совещания — Предпарламентом, "встав на тропу войны". Многие ли вообще в середине октября безоговорочно разделяли требование свержения Временного правительства, которое чуть ли не маниакально "проталкивал" Ленин? Вопрос о вооруженном восстании обсуждался на заседаниях ЦК 10 и 16 октября (далеко не в полном составе), и из протоколов видно, что очень немногие чувствовали себя готовыми решиться на "штурм Зимнего". Ленинская резолюция о восстании была принята 11-12 (примерно половиной, остальные отсутствовали) членами ЦК под очевидным давлением Ленина. 10 человек 3 марта 1917 г. на Миллионной, дом 12 решили вопрос о судьбе монархии; примерно такое же число людей решило судьбу демократической власти. В первом случае главную роль сыграл А. Керенский, во втором — В. Ленин (под-

робнее см.: А. Авторханов. *ЦК против плана Ленина*. — *"Новый Журнал"*, 1970, 101, с. 210-211). И тогда, и теперь (9 октября) "широкие массы" попросту ничего не знали о происходившем.

М. Карпович писал, что победа Ленина и большевиков была победой "беззастенчивой демагогии над демократической коалицией... И победили "твердокаменные" революционеры авторитарного типа над людьми иного душевного склада и иного духа, духа свободы и терпимости" (М. Карпович. *Комментарии*. — *"Новый Журнал"*, 1951, 27, с. 310-311). Когда Сталин произнес свой "афоризм": "Мы — большевики — люди особого склада", — он был прав. Большевик Ю. Пятаков в минуту откровенности поведал Н. Валентинову о "секрете" большевистского духа. Это был поразительный рассказ. "В этом растаптывании так называемых объективных предпосылок, в смелости не считаться с ними, в этом призыве к творящей воле — решающим и определяющим фактором был и есть Ленин". Октябрь — чудо, но оно сотворено Лениным; другое его чудо — партия, "ей нет precedентов". Насилие — это наша идея, но если это нужно партии, мы готовы "выкинуть из мозга идеи, с которыми носились годами". "Да, — говорил Пятаков, — я буду считать черным то, что считал и что могло казаться белым, т. к. для меня нет жизни вне партии, вне согласия с ней. А раз все возможно — значит, все дозволено" (Н. Валентинов. *Пятаков о большевизме*. — *"Новый Журнал"*, 1958, 52, с. 151-154).

КОМУ ПОДВИНУТЬСЯ — ЛЕНИНУ ИЛИ ПЛЕТНЮ?

...Вечный вопрос: смирение или борьба? Страстная натура Ленина выбрала борьбу: борьбу в самых крайних ее формах. Кто знает, что стало началом? В одном из своих очерков о Ленине, опубликованных в "Новом Журнале", но уже ставших достоянием новейшей российской "ленинианы", Н. Валентинов рассказывает о встрече Марии Александровны Ульяновой с сыном Александром в тюрьме перед страшным решением его судьбы. Она говорила ему, что путь, избранный им —

террор — ужасен. "Что же делать, мама, — ответил Александр, — если в России других путей нет?" Если Ленин знал эти слова, он свято поверил в них. Вся его жизнь, как он сам писал Инессе Арманд, — одна боевая кампания за другой. В воспоминаниях А. Д. Нагловского есть деталь, по понятным причинам не отмеченная ни одним из мемуаристов, принадлежавших к советской историографической "монументалистике". Встреча Ленина 2 апреля 1917 г. на Финляндском вокзале в Петрограде — поворотный пункт его судьбы. Мощный и целеустремленный стоит он в свете прожекторов на броневике. Это символ, а вот реальность, зафиксированная памятью А. Нагловского. "Я смотрел на Ленина, — пишет Нагловский, — и думал: как он постарел! В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел в скромной квартирке в Женеве и в 1905 г. в Петербурге. Это был бледный, изношенный человек с печатью явной усталости" (А. Д. Нагловский. *Ленин. — "Новый Журнал", 1967, 88, с. 177*). Теперь, вернувшись в Россию, он все-таки нашел в себе силы для еще одного "рывка", еще одной, своей главной "боевой кампании". Он победил: его умом и его волей большевики взяли власть. Но произошло то, чего страшились и о чем предупреждали все его противники. "Обещая хлеб, — писал М. Вишняк, — большевизм дал голод. Суля дворцы, отмерил жилплощадь, возвещая мир, привел к войне. Рекомендуя "разбить государственную машину", создал неслыханный аппарат угнетения" (М. Вишняк. *Правда антибольшевизма. — "Новый Журнал", 1942, 2, с. 209-210*). В январе 1918 г. погибающий Ф. Ф. Кокошкин кричал своим убийцам: "Братцы! Что вы делаете?!" В этом предсмертном крике слышится отчаяние, но и просьба, мольба остановиться. Но "братцы" не ведали, что творили. Через год, в январе 1919 г. умирающий в голоде и холоде В. Розанов в одном из последних писем писал: "Полное отчаяние... Мы гибнем... Ради Бога, помощи. Ради Бога, спасите. Беда. Лютая беда. Ради Бога..." (цит. по: П. А. Берлин. *Русские мыслители и евреи. — "Новый Журнал", 1962, 70, с. 269*).

А. Д. Нагловский, в годы гражданской войны довольно

часто видевший Ленина, пишет: "Старый заговорщик, Ленин явно изнашивался. И тут действовала не одна *болезнь* (курсив наш. — Г. И.). Иногда глядя на усталое, часто кривящееся презрительной усмешкой лицо Ленина, либо выслушивающего доклады, либо отдающего распоряжения, казалось, что Ленин видит, какая человеческая мразь его окружает... "Фанатик-то он фанатик, а видит ясно, куда мы залезли," — говорил о Ленине Красин (*там же*, с. 182).

"Разочарованный коммунист" Н. Орлов в октябре 1921 г. записывал в дневнике: "Сам Ленин, не способный превратиться в своекорыстного жулика, будет скоро уничтожен и выброшен вон. Очищая свою придворную партию от всех демократически мыслящих и порядочных идеалистических элементов, оставляя своей лейб-гвардией низких карьеристов из бывших коммивояжеров и писцов, и тупых, на все озлобленных элементарных громил из остатков дегенеративного русского пролетариата, Ленин роет себе яму..."

Р. Гуль в мемуарах "Я унес Россию", рассказывая о берлинском издательстве "Скифы", вспоминает критика Е. Лундберга и его книгу "Записки писателя". В ней Лундберг ставил вопрос, юмористически выраженный, но исторически и философски очень глубокий: "Кому в истории русской революции придется подвинуться — Ленину или плетню?" (Р. Гуль. *Я унес Россию*. — "Новый Журнал", 1979, 134, с. 113). Когда-то, в начале своей деятельности, в книге "Что делать?" Ленин писал: дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию. "Организация революционеров" пришла к власти, приступила к "переворачиванию" крестьянской России. По существу, Лундберг задавал любимый ленинский вопрос: "кто кого" — ленинский большевизм "перевернет" Россию или она "перевернет" и отодвинет большевизм? Гуль рассказывает, что, по мнению Лундберга, "подвинуться" придется Ленину, хочет того он или нет. Гуль думал, что победил все-таки Ленин, а не "плетень". С этим трудно согласиться. Думается, что Лундберг оказался прав. Последние статьи Ленина (как и его знаменитое "Завещание") — уже плод растерянной, мятушейся мысли. В 1902 г. Ленин знал, *что делать*.

Теперь это знал Сталин... Уже сталинский, а затем и последующий большевизм был так перевернут, что от ленинских, октябрьских идей уже мало что осталось. Он глубоко впитал в себя шовинизм, бюрократическую государственность, великодержавную идею. — все худшее, что характеризовало старый российский режим. Г. Федотов писал: "Всякая великая революция, в каких бы универсальных идеях она ни родилась, завершается национализмом" (*"Новый Журнал"*, 1943, 5, с. 168). Этот "плетень" вынуждает революцию "подвинуться" (см. об этом также: П. А. Берлин. *Русификация интернационализма*. — *"Новый Журнал"*, 1946, 12). Наконец, в середине 80-х годов мы стали свидетелями крушения того, что все еще связывалось с большевизмом и называлось "развитым социализмом". Для чего же потребовалось это семидесятилетнее фантастическое "переворачивание" огромной страны, стоившее десятков миллионов жизней? И пришел ли конец страданиям и жертвоприношениям теперь, когда Россию снова "переворачивают"? В эмиграции российские мыслители думали о судьбе России после крушения большевизма. Ф. Степун отнюдь не оптимистично смотрел в будущее. "Становится невольно страшно за Россию, — писал он. — Сумеет ли она после падения большевистской власти так мудро сочетать твердость государственной воли с вдумчивым отношением к духовным и бытовым особенностям ведомых ею народов..?" (Ф. Степун. *В русской провинции*. — *"Новый Журнал"*, 1954, 37, с. 182). Для Г. Федотова вопроса, кажется, вообще не было. "Приближается час расплаты, — писал он в 1949 г., — и горька будет чаша, которую придется испить России за преступления ее властителей" (Г. Федотов. *Народ и власть*. — *"Новый Журнал"*, 1949, 21, с. 236). Намного раньше А. А. Кизеветтер писал М. Вишняку: "Мы все мечтаем, чтобы падение большевиков совершилось так, чтобы никакой расплаты за большевистское иго не получилось. Да разве это возможно?" (*Письма А. А. Кизеветтера*. — *"Новый Журнал"*, 1988, 172-173, с. 488).

* * *

Да разве это возможно?... История российской катастрофы в мыслях и чувствах тех, кто пережил ее, изложенная на страницах "Нового Журнала", прошла передо мной. Но закончить я бы хотел трагической мыслью А. И. Герцена, не видевшего того, что произошло, но предвидевшего многое. Ее привел М. Вишняк еще во 2-ой книге "Нового Журнала". "Странная вещь, что почти все наши грезы оканчиваются Сибирью или казнью и почти никогда не торжеством" (цит. по: М. Вишняк. *Правда антибольшевизма*. — "Новый Журнал", 1942, 2, с. 222).

ПОДПИСКА НА "РУССКУЮ МЫСЛЬ"

(В указанные цены входят
почтовые расходы)

	6 мес.	1 год
Обычной почтой:		
Франция:	280 F (56 \$)	450 F (90 \$)
Другие страны:	450 F (90 \$)	700 F (140 \$)

Авиапочтой:		
Европа и		
Сев. Африка:	500 F (100 \$)	800 F (160 \$)
Израиль, Иран:	580 F (116 \$)	850 F (170 \$)
Америка,		
Южная Африка:	620 F (124 \$)	950 F (190 \$)
Австралия,		
Япония:	720 F (144 \$)	1000 F (200 \$)

"La Pensée Russe", 217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris,
FRANCE

Зоя Юрьева

КОСМИЗМ ГОРОДА

Петербург известен как "призрачный город" по крайней мере с 40-х годов 19 столетия. Вячеслав Иванов назвал его "призрачной Пальмирой". Анциферов, на которого ссылаются Долгополов и другие критики, предложил целый ряд оценок отношения к Петербургу различных русских писателей и ученых, начиная с 18-го века. Анциферов включил и оценку Петербурга А. Белым, который изображает "кошмарную призрачность" Петербурга¹. Анциферов считал, что восприятие духа Петербурга у А. Белого самое интересное. "Этот математический город, линии которого имеют лишь условное бытие, сообщает своему населению свойственное ему самому полусуществование". "Петербург — сам призрак, бред и превращает в призраки своих граждан". "Петербургские улицы превращают в тени прохожих". "Этот беспокойный город падает на души, мучает их жестокосердной праздной мозговой игрой"².

Возникнув не по образцу других городов, а волей одного человека, Петербург стал средоточием мифических и космических сил и легенд и даже борьбы хаоса с космосом. "О, мощный Властелин судьбы,/ Не так ли Ты над самой бездной/ На высоте уздай железной/ Россию поднял на дыбы".

Группа специалистов по семиотике при университете в Тарту постулировала существование чрезвычайно интересного "петербургского текста", состоящего из целого ряда литературных произведений 19-го и 20-го века, которые обнаруживают

¹ Н. Анциферов. *Душа Петербурга*. Л., 1990.

² Там же. Сс. 178-179.

большое стилистическое и тематическое единство в трактовке города. Самое интересное, что В. Н. Топоров пишет о средоточии жизни над бездной, связанной с экзистенциальными и метафизическими проблемами³.

Петербург не оставляет сомнения в том, что жизнь проходит там над бездной и что Петербург — расположен над бездной. Проф. Лосев определяет хаос, ссылаясь на Орфея, как "принцип непрерывной беспредельности", как страшную "бездну". Бердяев называет Белого "художником астрального плана"⁴. "Петербург" — астральный роман, в котором все уже выходит за границы физической плоти этого мира и очерченной душевной жизни человека, все проваливается в бездну. "Бездна" часто выступает в романе Белого: "лестничные пери-ла повисали над бездной", "Александр Иванович тут над бездной стоял"⁵ (308). Бездна, безмерность раскрывается неожиданно перед героями "Петербурга". Петербург космичен.

Показательно, что одну из глав своей книжки *Теория и образный мир русского символизма* (М., 1989) Е. В. Ермилова назвала "Самовар над бездной". В этой главке приводятся, между прочим, нападки Белого на петербургских литераторов, сделавших бездну главным содержанием своей жизни. "В Петербурге привыкли модернисты ходить над бездной... Там ходят влюбляться над бездной, сидят в гостях над бездной, устраивают свою карьеру на бездне, ставят над бездной самовар?!"

Это можно рассматривать как пример автопародии, нередкой у Белого. Некоторые критики считают, что Петербург

³ Глава из готовящейся к печати книги *Творимый космос у Андрея Белого*.

⁴ Н. Бердяев. "Гносеологическое размышление об оккультизме", *Труды и дни*. 1916. Тетрадь восьмая.

⁵ А. Белый. *Петербург*. М., 1981. Дальнейшие ссылки на данное издание даны в тексте статьи в скобках.

под пером Белого "стал пародией творения"⁶. Быть может, с этим связано расширение сознания — о котором столько говорится в связи с Николаем Аполлоновичем и которое могло повлиять на облик Петербурга у Белого. Оно вызвало мировые безмерности, безграничности, туманные плоскости, неизъяснимости этого города, который был представлен в прологе как точка, но точка, соприкасавшаяся с огромным астральным миром и загробной сферой.

Н. Бердяев считает мир астральный промежуточным миром между духом и материей, который стирает границы, декристаллизует и человека, и окружающий его мир⁷. "Астральный роман" Белого погружает Петербург и его читателя в мировую космическую безмерность и пытается его бесконечностью, мировой глубиной, мглой, туманом, "теньями всех вещей".

"Обыватель озирался тоскливо: и глядел на проспект стерто-серым лицом: паркулировал он в бесконечность проспектов, преодолевая бесконечность — ...в бесконечном тоне таких же, как он... Из одной бесконечности убежал он в другую; ...здесь был край земли и конец бесконечности..." (с. 19).

Как возникает эта бесконечность? Белый — мифотворец с острым ощущением магичности и мифичности слова (Бахтин) предлагает нам миф о Летучем Голландце, который хотел "воздвигнуть обманом в Петербурге свои туманные земли и называть островами волну набегающих облаков". "Волна облаков" вместо островов неоднократно повторяется в *Петербурге* (сс. 3 и 26). Быть может, так выражается здесь "всенебесность земли" ("Мастерство Гоголя"), обитель эфира над покровом туч, "родина над облаками" ("Луг зеленый", с. 22).

По Каменецкому, небо и земля, которые были слиянны в

⁶ Robert A. Maguire and John E. Malmstad. "Petersburg" in *Andrey Bely, Spirit of Symbolism*, edited by John E. Malmstad. Cornell University Press, Ithaca and London, 1987.

⁷ Н. Бердяев. *Кризис искусства*. Москва, 1918.

начале, разделились, и все заполнило небо и воздух⁸. Как поэт эфира⁹ Белый "в волнах волнистого эфира читает летописи мира" ("Первое свидание"). Платон писал, что все является отражением неба. Россия же была для Белого небесной родиной. Облако играет в творчестве Белого и в *Петербурге* значительную роль. Оно закрывает то, что должно быть закрыто, открывает то, что надо открыть и явить. "Облак громный" может быть апокалиптичен и может предвещать грядущее Пришествие Христа. Облако может означать рождение, даже рождение самого Белого (см. *Записки чудака*, I) или смерть (см. смерть Королевы-Матери в I Симфонии). Облако может вырывать душу и тело ("тела ком духовеет облаком").

Оно — два конца бесконечности. Облако может также вести "в заоблачные двери иных пространств". Облако — это контакт с небом. Верхняя и нижняя сфера взаимопроникают друг друга.

Облака, туман, мгла, дым немало содействуют нереальной атмосфере *Петербурга*. Это какой-то теневой, быть может, вообще не существующий город. "Если же Петербург не столица, то — нет Петербурга. Это только кажется, что он существует" (с. 104). В *Эпопее* (IV, 1923, с. 237) Белый написал о Петербурге: "...чувствовал: Петербурга и нет; нет проспектов, нет тел; нет и душ; мировая пустота, космическое пространство..."

Петербург расположен где-то в неизмеримостях (с. 78). Его проспекты бесконечны и бескрайни (сс. 21, 22). Неизмеримости часто переходят в бездну или в мировое пространство (сс. 65, 92). Петербург у Белого истончается туманом, тьмою, мглой, водами, луной, дымом.

Как мы уже сказали, Петербург не только город-призрак, город-хаос, город-кошмар, город-утопия — самый "умышленный город", по Достоевскому, но город, превращающий

⁸ И. Г. Франк-Каменецкий. "К космической семантике камня" "металла" (*Сборник Н. Марру*).

⁹ З. Юрьева. "Космизация пейзажа у Андрея Белого", *Новый Журнал*, кн. 189. Нью-Йорк. 1992.

своих пешеходов в тени, сообщающий им полусуществование" (с. 604). В комментариях к I главе *Петербурга* Долгополов пронизательно отметил сходство в восприятии Белым Петербурга в романе и в томе мемуаров *Между двух революций*. В мемуарах говорится о "грязно-рыжем тумане", о "теневого пальто, котелках" и о "рое теней, не людей" (с. 652).

Тени в мемуарах Белого также окунуты в туман. "Рой теней" космичен (ср. "рой и строй" в *Котике Летаеве*). Тени могут также обозначать небытие или обратную сторону, изнанку более существенного. Тени, а их много в различных функциях в *Петербурге* — дереализуют город. Белый наделил их эфемерным бытием, так же как сообщил Аполлону Аполлоновичу "тенивое сознание". Феноменология тени еще не написана, но некоторые литературные школы очень в ней нуждаются. Белый предложил "тенивое прописание" и "тенивое паспорту", "при помощи которого можно столкнуться с тенью" (с. 297). Белый описывает также "тенивое лестницу", ведущую в жилище Дудкина (см. главу "Лестница", с. 243). "Вырвавшись, побежал..." (с. 245). Эта тенивая лестница обозначена сначала как "грозовая, сырая", на которой слышны "страшные, неизвестные звуки, все сплетенные из глухого стелания времени. Сверху Дудкин видел мглу, и грозовые рои... набегавшие на луну, и тень, которая все покрывала". Эта лестница располагает "бесконечной вереницей ступеней". На этой лестнице возникают черные очертания (читай: тени!), преследующие Дудкина. По этой лестнице подымается к Дудкину Медный всадник. Эта космическая лестница описана тут же как мирная и будничная, даже пахнувшая кошкой и усеянная яичной скорлупой... Контраст тенивой, грозной лестницы ("грозовой" часто у Белого эпитет для космических образов (*Котик Летаев*, *Глоссолалия* и др.)) с обыденной подчеркивает вторжение космического и потустороннего, которое так занимало Белого.

Чувство эфемерности бытия, отмеченное Н. Бердяевым у Белого, проявляется и в космических и некосмических чертах *Петербурга*, иногда переходящих одни в другие. Пребывание в мировой космической сфере не непрерывно. Хорошей иллю-

страцией является лестница, ведущая в каморку Дудкина, как бы связывающая нижнюю и верхнюю сферу, мировое пространство и петербургский двор.

Сама каморка Дудкина на Васильевском острове тоже показывает диалектику космического и некосмического. Васильевский остров в *Петербурге* является обиталищем не людей и не теней, а "носителей хаоса". Сам Дудкин, изолированный от других членов революционной организации, превратился в тень. Он ведет какое-то теневое существование. Его пустынная комната сопоставляется с пустынным мировым пространством (с. 303), а иногда и заменяет его. В главке "Почему это было" говорится о космических временах и о космических пространствах. Автор, говоря о Дудкине, предполагает даже, что "комната и была его телом, а он был лишь тенью". Невыразимый кошмар Дудкина прочитывается в конце концов как "лестница", комнатуха, чердак — мерзостно запущенное тело Александра Ивановича. Макрокосм и микрокосм оказываются почти метаболичны и аналогичны.

Не случайно, что в космической каморке Дудкина появляется Шишнарфнэ, превращающийся в ходе разговора в его голос... Это черт, которому не нужно "далеко ходить, чтобы застать Дудкина". Мировое пространство обнажается на чердаке Дудкина. Петербург, по Шишнарфнэ, то расплывается в бесконечностях и неизмеримостях, то всплывает, то исчезает и граничит с астральным космосом и с загробным миром. Шишнарфнэ как бы пытается вскрыть глубинную сущность Петербурга. У Петербурга, по его мнению, не три, а четыре измерения. Четвертое, если оно отмечено на картах, то только точкой, "ибо точка есть место касания плоскости этого бытия и шаровой поверхности громадного астрального космоса; так любая точка петербургских пространств во мгновение ока способна выкинуть жителя этого измерения, от которого не спасает стена..." (с. 298). Белый пробует вскрыть сущность Шишнарфнэ как галлюцинацию Дудкина. Он смешивает космизм с комизмом. Вывернув наизнанку имя персиянина, который воспринимается тоже как тень, в "Енфраншиш", Дудкин призывает его "из глубин же его самого" и получает в ответ: "Ты позвал меня... Ну вот я... Енфраншиш само теперь пришло за душой" (с. 299).

Другой эпизод, разыгрывающийся на лестнице и в каморке Дудкина еще более показателен для ее космичности. Это — появление Медного Всадника, который называет Дудкина "сынком", а адресует ему как Учителя. Комната — мировое пространство — кажется убогой. Но когда статуя космических размеров ("многосотпудовое объятие") появляется на трескающихся бревнах, чердачная комната "открывается в неизъяснимости" (с. 305). Эта статуя деструктивна (по определению Романа Якобсона в статье "Скульптурный миф Пушкина"). Она раскаляется под луной до 1000 градусов и становится опаляющей, красно-багровой, протекая на Дудкина пепелящим потоком. Белый рисует нам не только внешность статуи, но и ее "внутренний космический ландшафт", связанный с огнем (А. Белый, *На перевале*, с. 98). Космическое действие не только описано, но прямо названо: "Медный всадник металлами пролился в его жилы" (с. 307). Деструктивная статуя в космической каморке Дудкина направляет его возмущение и негодование против Липпанченко. Мифоносная тема, пересозданная и перекроенная Белым, соприкасается с космической. Белый динамизирует миф, космическое остранение статуи придает ей большую выразительность. В этом эпизоде "надземные" и не известные нам силы действуют почти открыто.

Каморку — мировое пространство Дудкина можно рассматривать как один из космических центров *Петербурга*. Диалектика каморки и мирового пространства не изложена Белым. "Все открывается в неизъяснимости". Тут играет роль и психика Дудкина, которого некоторые критики называют мистиком.

Другой центр космизма в *Петербурге* — карета Аполлона Аполлоновича. Эта карета — тоже часть мирового пространства. Она связана с космическими фантазиями сенатора. Он создает целую космологическую схему. Глядя в бескрайность туманов, он "вдруг расширился во все стороны и воспарил над каретой. Ему возмечталось, чтобы ему навстречу летели проспекты, чтобы вся сферическая поверхность планеты оказалась охваченной... домовыми кубами... чтобы вся... земля в

линейном космическом беге пересекала бы необъятность прямолинейным законом". Он хотел также, чтобы "сеть параллельных проспектов в мировые бы ширилась бездны! (с. 21). Карета Аполлона Аполлоновича в бескрайности туманов — как планетное тело, окруженное туманностями.

Прямолинейные петербургские проспекты напоминают сенатору "о течении времени между двух жизненных точек" (с. 20). Поездка в карете каждое утро отмеривает его время: кони часто символизируют время. Ежедневные путешествия в карете придают устойчивость и стабильность сенатору, в конце, после астрального путешествия, он превращается в ипостась Сатурна, бога времени, и сбрасывает сына, Николая Аполлоновича, в безмерность.

В карете Аполлон Аполлонович совершенно изолирован и часто предается созерцанию. Он высчитывает расстояние между стенками кареты и толпами людей, проходящих мимо. Иногда это только 4 вершка (с. 436), иногда — миллиарды верст (с. 25). Сенатор также высчитывает скорость света, доходящего с Сатурна (с. 435). Созерцая мимо текущие силуэты, Аполлон Аполлонович уподобляет их математическим точкам громадного небосвода, соединенного с пространствами нашими в математической точке.

"От уличной мрази его отграничивали перпендикулярные стенки, так он был отделен от протекающих людских толп" (с. 29). Черный куб кареты, "лакированный куб", разрезающий как стрела проспекты, о котором чаще говорится "летит". "...будто он, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людей и многоножки" (с. 25) — подводит нас к космичности кареты. В ней есть окно и зеркало. Окна в *Петербурге* часто — вырезы в вечность. Карета снабжена телефоном и телеграфом. Вид лакированной кареты, разрезающей туманный проспект, приводит к такому космическому образу: "если та лакированная карета полетит в тумане по слякоти, то она обогнет земной шар; и в исходной точке обратно примчится... победив и концы и начала прямолинейным движением". Не только карета проецируется на космос, но и мимо проходящие силуэты воспринимаются Аполлоном Аполлоно-

вичем как "игра теней в облаках" (с. 434)¹⁰. "Поток теневых силуэтов, пролетающих мимо окон кареты в зеленом тумане, образует грохочущую и ревушую теньевую цепь". "Этот поток распадался на отдельные звенья как бы планетных систем" (с. 435). Туманный поток теней воспринимался Аполлоном Аполлоновичем как "спокойная, там за бездной текущая весть" (с. 435). Андрей Белый уподобил "вечную карету" с ее круговращением — пользуясь определением Платона — планетному телу, описывающему свои небесные круги, определяемые гармонией сфер, по темной земле..."¹¹ Интересно припомнить, что одно из предполагаемых заглавий *Петербурга* было *Лакированная карета*.

Туманный поток теней не раз возникает на страницах *Петербурга*, как возникают и отдельные тени. Он часто связан с хаосом. Функции теней и хаоса в *Петербурге* часто являются проявлениями космизма: Белый любит пограничные и порубежные образы.

Кроме своих ежедневных выездов и наездов в провинцию сенатор совершает еще астральное путешествие, которое на поверку оказывается двойным сном или сном во сне. Тогда он оборачивается Сатурном и сбрасывает в безмерность своего сына, Николая Аполлоновича. Сын тоже отправляется в астральное путешествие, которое является для него обычным делом. Он переживает Страшный суд, суд этот описан путем "протекших сновидений" и пламенных циклов "в миллионногодиной волне": "не было ни Земли, ни Венеры, ни Марса, лишь бежали вокруг Солнца три туманных кольца" (с. 238). Белый бесстрашно рисует космический ландшафт: "и огромный Юпитер собирался стать миром... бежали туманности" (как кратко и конкретно!). Такой краткости и конк-

¹⁰ Котелок Морковина был определен Белым как "вечная темная тень". В стихотворении "Берлин" (Библ. плзта, с. 486) котелок уравнивается с небом... Взаимопроникновение разных сфер в образах Белого — одна из характерных черт его поэтики.

¹¹ Вячеслав Иванов. *Борозды и межи*. с. 342.

ретенности нет в космическом ландшафте *Петербурга*. Компоненты этого пейзажа трудно уловимы, зыбки, переменчивы.

Можно утверждать, что космический пейзаж Петербурга состоит из тумана, теней и хаоса. Именно эти компоненты придают призрачность Петербургу и обуславливают его "полусуществование" (Анциферов). В Петербурге все окружено и повито туманом, приводя на память космические туманности (см. карету ААА). Петербург полон тумана — различного цвета и интенсивности ("напр., небывальш", с. 652) — и туманных плоскостей. Эти последние проникают даже вовнутрь, представляя символическую тайнопись внутреннего опыта (Вяч. Иванов). Следующий отрывок из *Петербурга* (дополн. 461) прекрасно иллюстрирует туман в Петербурге, мозговую игру, бескрайние дали Петербурга и Невы, их призрачность и рой теней.

"Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты — мучитель жестокосердный; ты — непокойный призрак; ...бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали — повосстали призраки островов и домов..." (с. 55).

В этом отрывке и время остранено: "...где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века" (с. 55).

Тени могут быть окунуты в густой туман — по признанию самого Белого, они могут быть призраками, "призрачными человечками" (с. 466). Их основным признаком является, по Белому, "полная неуловимость" (с. 467). Не только Петербург может превращать пешеходов в тени, но и тени могут обращаться в тени тех, кто позволил им проникнуть в закоулки их душ (с. 466). Тени связываются Белым с мозговой игрой и с туманными плоскостями (сс. 460 и 200). Тени живут преимущественно на Васильевском острове и передвигаются свободно ч

Петербург. У них нет третьего измерения, в то время как у Петербурга — четыре! Тени могут предвосхищать неожиданные события и явления в романе (например, канун смерти Лип-

панченко). Дудкин именуется автором "своей собственной тенью", он изображен как тень, в то время как его тело — убогая комната. Белый мифологизирует тень Дудкина, как и тень Аполлона Аполлоновича, который в свои наезды в провинцию нападает на проходящих, в то время как тень его сидит в конторе.

Жителей Васильевского острова (не тени и не люди) Белый обозначает как "носителей хаоса", которые живут, "оседаая на грани двух друг другу чуждых миров" (с. 21). Хаос часто связан с водой, как первая потенция. Тень Аполлона Аполлоновича парит над "воющим хаосом" Васильевского острова. Хаос часто — изнанка космического. Без хаоса не может быть космоса. Хаос подстилает тени, а тени питают его. У них подобная подоплека: неуловимость, зыбкость, вкрадчивость, быстрое и неожиданное появление и исчезновение. Тени появляются как хаос; всюду хаос возникает в виде теней, черных контуров и очертаний, кусков мрака и копоты. Белый выразил философскую концепцию "всепорождающего и одновременно всеуничтожающего" хаоса (Лосев). Он часто раскрывается в *Петербурге*, близкий необъятному, безграничному, неизмеримому, неизъяснимому.

Кроме таких персонажей *Петербурга*, как Дудкин, сенатор и его сын, которые могли бы отнести свою "мозговую игру" за счет космических сил, в *Петербурге* появляется Космический Христос. Он — Свет¹². Но может ли Он разогнать всю тьму и хаос, разлагающие космический город при помощи бюрократии и революции? Петербург превращается в свое теневое подобие: Петербург в *Петербурге* остается таким, каким воплотил его Белый в свое блестящее творческое слово, способное создавать миры.

¹² Это, быть может, универсальное противопоставление, архетипная мифологема тьмы и света, пронизывающая все творчество Белого (да и Блока!). Примеры были бы слишком многочисленны.

Игорь Ефимов

ЗОЩЕНКО И КЛИО

Исторические отступления в «Голубой книге»

В январе 1934 года Чуковский записал в своем дневнике: "Видел Зошенку. Лицо сумасшедшее, самовлюбленное, холеное. "Ой, К[орней] И[ванович], какую я великолепную книгу пишу!.. Какие эпитафии! Какие цитаты!"¹

Речь шла о "Голубой книге", которая, действительно, наполнена цитатами из исторических книг — только переведенными на язык зошенковского персонажа-рассказчика.

Давно замечено, что герои и злодеи мировой истории, от Александра Македонского ("...но зачем же стулья ломать?") до Василия Чапаева и Иосифа Сталина, — почти такая же благодатная почва для произрастания анекдотов, как секс. Громкая вековая слава — и обыкновенный бранный человек; возвышенные порывы чувств — и простые плотские потребности; и там, и там неожиданное, оплошное, узнаваемое соскальзывание с высокого уровня на низкий и вызывает у нас то сладкое, "предсмеховое" замирание в солнечном сплетении, которое так напоминает катание на санках с горы. Неудивительно, что Зошенко, столь чуткий к стихии анекдота, с таким увлечением вырвался на простор мировой истории и устроил нам великолепное карнавальное катанье в "Голубой книге".

Можно взять почти любой эпизод и разглядеть в нем этот ход снижающего соскальзывания. Вот, например, как описаны отношения между Екатериной Великой и ее фаворитом Платоном Зубовым:

Интересно бы знать, как у них возник роман. Красавчик, вероятно, ужасно стеснялся на первых порах и робел, когда пожилая дама на него напирала. Естественно, робеешь: все-таки священная особа, так сказать, императрица всяя России и так далее, и вдруг, черт возьми, какие-то грубые дела!..

— Ну, обними же меня, дурачок! — говорила императрица.

— Прямо, ей-богу, не смею, ваше величество, — бормотал фаворит. — Имею, так сказать, робость и уважение к императорскому сану.

— Да забудь ты об этом. Ну, назови меня Екатерина Васильевна (или как там ее по батюшке)².

Екатерина Великая была объектом многих анекдотов еще до революции, и некоторые из них переключались в советские времена, так что их пересказывали потом в уборных даже школьники послевоенных времен. Конечно, Платон Зубов был недостаточно знаменит, из него настоящего смеха не получалось. Вместо него подставляли Пушкина, Лермонтова. Говоря языком Зощенко, "что-то такое, например, смутно вспоминается": Екатерина призывает Пушкина и просит дать поэтические определения различным частям человеческого тела. Поэт исполняет повеление, и Екатерина тут же составляет из этих литературных полуфабрикатов рифмованную инструкцию: "Ложись на поля Алтайские, берись за колокола китайские, хватай пику Язона, суй в пещеру Соломона". (Полный восторг — уроки, двойки, замечания на минуту забыты.)

Александр Жолковский в одной из своих статей отмечает, что у "Голубой книги" были предшественники не только в народном фольклоре, но и в русской классике: "История одного города" Салтыкова-Щедрина, "История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева" А. К. Толстого³. К этому перечню можно добавить еще "Сатирическое переложение Российской истории", написанное сотрудниками журнала "Сатирикон", выходившего в начале XX века под редакцией Аверченко. Эта книга тоже доставляла полузапретное удовольствие поколениям русских студентов, уставших

от героизации веков минувших. (Цитирую по памяти: "В борьбе с врагами славяне были очень смелы и искусны. Иногда они пускались на военную хитрость: убегали от противника в лес и уже больше оттуда не выходили".) Недаром и сам Зощенко в письме к Горькому, предваряющем "Голубую книгу", упоминает творчество сатириконцев⁴.

Письмо-посвящение Горькому — явный дипломатический ход, нацеленный на получение поддержки от сильных литературного мира. Но энтузиазм автора звучит искренне. Ибо историческая тематика манит Зощенко не только бескрайними возможностями пародирования и карнавализации. Он горит надеждой найти в истории корни человеческой порочности, которая его окружает. В преступлениях прошлого он надеется отыскать объяснение и оправдание преступлениям настоящего, а также пути их предотвращения. Он не лицемерит, когда пишет в предисловии, что "...голубой — это цвет надежды... И что бы об этой книге ни говорили, в ней больше радости и надежды, чем насмешки, меньше иронии, чем настоящей, сердечной любви и нежной привязанности к людям"⁵.

Как и любой великий сатирик, Зощенко остается скрытым моралистом во всех своих произведениях. Его персонажи все время апеллируют к слушателям, к "братцам", к "гражданам" в поисках — пусть порой нелепой и вывернутой — но *справедливости*. Желание поучать живет в нем с той же силой, что и желание потешать. Как Гоголь в "Театральном разъезде" выходит из-за колонны и пробует соединять искусство с откровенной проповедью, так и Зощенко в "Голубой книге" время от времени выглядывает из-за своей маски и пробует говорить с читателем напрямую. Но смысл этого обращения можно будет понять лишь после того, как мы научимся расшифровывать "костюмированный" язык рассказчика.

II

Юрий Щеглов, в своей статье "Энциклопедия некультурности", дает весьма тонкий анализ центрального зощен-

ковского персонажа. Его главное свойство — "неспособность ответить на культурный вызов"⁶. Сложное, богатое содержание человеческой психики, социальных отношений, искусства этот персонаж подменяет упрощенной схемой. "Зошенковский герой питает к культуре род любви-ненависти, он ее ругает, но не может оторвать от нее завистливых глаз. Он не только бесцеремонно переводит инокультуры на свой варварский язык, но и сам пытается говорить на их языках — разумеется, с комическими результатами"⁷.

Как общая разруха подсоветской жизни заставляла людей строить сараи из обломков фанеры, обрывков мешковины, кровельного железа, жердей, так и развал культуры приводил к тому, что в человеческую речь проникала мешанина из газетных оборотов, пустой тавтологии, простонародных словечек, старорежимной витиеватости.

"Главное, что нас в этом папе (Александре VI, Борджиа) поражает, — это его любовь к убийствам. И он вообще ни перед чем не останавливался в достижении поставленных идеалов"⁸.

Дается строчка из "Русской Правды", записанной в "Новгородской летописи": "Если убьют купчину немца в Новгороде, то за голову десять гривен". Далее следует комментарий: "Столь унижительно низкая цена за голову иностранного специалиста в дальнейшем, правда, была доведена до сорока гривен, и убийство интуристов, видимо, стало не всем по карману и не всем доступно, но все же цена была немного больше, чем удар чашей или рогом по отечественной морде"⁹.

Секретарь диктатора Суллы рассматривает принесенную ему голову, отрубленную у человека, которого нет в проскрипционных списках: "— Какая-то, видать, посторонняя голова... Не могу знать... Голова неизвестного происхождения, видать, отрезанная у какого-нибудь мужчины"¹⁰.

Легко, однако, заметить, как в этой жуткой мешанине стилей возникает новый своеобразный стиль, в котором есть красота и единство, как в лоскутном одеяле, как в коврике, сплетенном из разноцветного тряпья,

В повседневной жизни начитанному человеку порой приходится следить за собой, чтобы не обидеть малообразован-

ного собеседника своими чрезмерными познаниями. Так и Зощенко прилагает усилия, чтобы его учеба в Петербургской гимназии и Петербургском университете не отразилась на его речи, не оттолкнула от него массового читателя. Из цитируемых источников он называет только Светония, хотя приводимые эпизоды античной истории выдают знакомство и с Геродотом, и с Ливием, и с Плутархом, и с Тацитом. Немалое место занимают сцены из эпохи Кромвеля, детальность которых наводит на мысль, что Зощенко был знаком с отличной книгой историка Попова-Ленского о левеллерах, вышедшей как раз в 1928 году¹¹. Конечно, ссылаться на такой специальный, источник было бы бестактно — поэтому автор прибегает к стилистически нейтральному языку цифр и дат, чтобы все же не дать отождествить себя со своим малокультурным рассказчиком: указывает, например, сумму выкупа, уплаченного английским парламентом шотландцам за выдачу Карла Первого: четыреста тысяч фунтов стерлингов¹².

Даты рассыпаны в тексте довольно густо. За большинством из них автору, наверняка, приходилось нырять в энциклопедии. Ну, откуда нам знать, в каком году персидский царь Камбиз сватался к дочери египетского фараона? Геродот об этом не сообщает. Надо полагать, что для Зощенко это немаловажный момент, если он решает все же пометить рассказанную легенду хотя бы годом вступления Камбиза на престол: 529 г. до Р. Х.¹³ В другом месте ему мало привести точную дату аукциона, на котором преторианцы продавали римский престол (193 г. после Р. Х.); он еще указывает и продолжительность правления победившего претендента, Дидия Юлиана: всего 66 дней¹⁴.

Или еще: во вступлении к разделу "Любовь" он льстит своему читателю, делая вид, что не помнит точно слова знаменитого романа:

Что-то там такое вспоминается из Апухтина:

Сердце воскреснуло, снова любя,
Трам-та-ра-рам, там-там...
Все, что в душе дорогого, святого...

Трам-та-ра-рам...

Причем это написал далеко не мальчик лет восемнадцати. А это написал солидный дядя лет сорока восьми, очень невероятно толстый и несчастный в своей личной жизни¹⁵.

Спрашивается: если вы, уважаемый автор, так забывчивы, как вы можете помнить, что романс написан Апухтиным? И откуда взялись эти "сорок восемь лет"? А взяться они могли только в том случае, если Зошенко не поленился отыскать дату опубликования романса, 1886 год, и сопоставить ее с датой рождения Апухтина — 1840-ой¹⁶.

На всех этих примерах мы можем убедиться, что обращение с исторической тканью Зошенко строит на том же принципе, что и обращение с тканью словесной. Там — филигранная стилистика под маской грубого косноязычия; здесь — глубокая образованность и уважение к знанию, под маской нагловатого и простодушного бескультурия.

Достижимый эффект можно сравнить с эффектом клоунады, включаемой порой в выступления цирковых акробатов или балета на льду. Мы с восхищением следим за победным противоборством артистов с силой тяжести и скоростью скольжения. А потом появляется клоун и с замечательным мастерством имитирует поражения в этом противоборстве — спотыкается, падает, беспомощно болтает ногами. Тогда наше восхищение окрашивается еще и смехом.

Так же и у Зошенко. Речь его персонажей, стиль его рассказчика — это бесконечная цепь препотешных поражений в противоборстве со строем фразы и смыслом речи. Но имитируются эти поражения с таким мастерством, что мы испытываем эстетическое наслаждение.

В этом плане исторические отступления в "Голубой книге" демонстрируют нам художника в расцвете сил. Мы с радостью присоединяемся к оценке, данной в письме Горького: "В этой работе своеобразный талант Ваш обнаружен еще более уверенно и светло, чем в прежних"¹⁷. Хочется, чтобы Зошенко писал и писал дальше в том же стиле. Кажется: он

может черпать из бездонного колодца истории бесконечно, и все под его пером начнет сверкать, искриться, радовать, смешить.

Но чувствуется, что ему этого уже мало. Смех над гримасами мировой истории, над вековой порочностью человеческой природы дает ему обезболивающий эффект — но ненадолго. Убрать боль совсем он не может. И Зощенко начинает — подспудно и осторожно, для себя и для читателя — искать осмысления истории. Прав Жолковский, когда говорит, что "воплощая в своем жизненном и творческом пути магистральный миф русской литературы о поэте, вырастающем в гражданина, Зощенко желал, чтобы в нем видели не развлекателя, а учителя жизни. Есть множество свидетельств его мрачной серьезности и упоре на "невидимые миру слезы"¹⁸.

III

Во вступлении к разделу "Коварство" рассказчик пытается на своем "костюмированном" языке — объяснить, откуда взялись современные пороки:

Прошлая жизнь, согласно описанию историков, была уж очень, как бы сказать, отвратительно ужасная. То и дело правили какие-то кровавые царьки, какие-то в высшей степени, пес их знает, свирепые тираны, владетельные господа, герцоги, потомственные дворяне, бароны и так далее. И все они, конечно, делали со всей публикой, чего хотели. Отрезали языки... Сжигали на кострах... Кидали для потехи диким зверям и крокодилам...

И от всех этих дел публика, наверно, нравственно ослабла. И характеры у них отчасти испортились. У них, может, озлобился ум. И они стали ко всему приноравливаться, и с течением веков через это, может быть, произошли коварство, арапство, подхалимство, приспособленчество и так далее...¹⁹

Подобных сентенций рассыпано в тексте множество.

Вообще, материалистический, так называемый "научный", взгляд на мир, включающий веру в полное торжество причинно-следственных отношений и торжество физического начала над духовным, весьма по душе не только зошенковскому рассказчику, но и самому автору. "Окончательно выяснилось, что всякая мистика, всякая идеалистика, разная неземная любовь и так далее и тому подобное есть форменная брехня и ерундистика. И что в жизни действителен только настоящий материальный подход и ничего, к сожалению, больше"²⁰.

К рассуждениям о добре и зле оба — и Зошенко, и его маска — относятся пренебрежительно. "Мы, конечно, не строим свою философию на морали. Мы, любезный читатель, не делим жизнь и дела на добро и зло. И не говорим ах или ох. А мы нашу пресветлую жизнь делим более грубо: на хорошую и плохую... И мы имеем скромное мнение, что плохое произошло, пожалуй, даже не из-за денег, а из-за удивительной системы... распределения денег, которые проходили не через те руки, через которые им надлежало проходить"²¹. То есть, изменим систему — и человек вернется к свойственному ему состоянию доброты и довольства жизнью. В другом месте, вслед за перечислением печальных свойств сегодняшней "публики", даже дается краткая и решительная формулировка концепции Руссо о "естественном человеке": "Все эти и тому подобные явления чисто случайные, и они наносные на прекрасной и в высшей степени порядочной натуре человека"²².

Эксплуататоры и угнетатели осуждаются многократно и вполне искренне. "На вершине жизни в полном блеске и в сказочном великолепии болтались у них главным образом спекулянты и темные дельцы со своим коварством и хитростью... Кто больше спер, тот и царь. Кто больше выиграл или наспекулировал, тому полное почтение. Ну, что это такое? Ясно, что коварства чересчур много... Старый мир с его мешочниками, купцами и спекулянтами в дальнейшем, без сомнения, рассыплется в прах и в тартарары"²³.

Вера в светлое будущее выражается в оборотах уморительных, но невозможно отделаться от ощущения, что она автору дорога — даже когда в глубине души он не может

разделить ее. Как и всякий моралист, Зошенко должен был выстроить для себя картину мира. Такую картину, в которой его существование получало бы смысл и оправдание. И чтобы все зверства прошлого и настоящего в этой картине получали свое истолкование. И чтобы возникала надежда на победу над силами зла и ослабление человеческих страданий в будущем. Недаром и раздел, посвященный страданиям и взаимному мучительству людей, назван "Неудачи". Ибо неудачи — это что-то преодолимое, проходящее.

И все же нелегко верить в наступление прекрасных времен. Ход мировой истории не внушает большого оптимизма. Ничего не меняется. Раньше всюду валялись прокаженные, теперь — сифилитики. За ребро больше не подвешивают — просто расстреливают. Кнутом не стегают, зато бьют резиновой дубинкой. "Может быть, единственно научились шибче ездить по дорогам. И сами бредутся. И радио понимать умеют. И стали летать под самые небеса... А так, в смысле отношения друг к другу, все почти без особых перемен"²⁴.

Так откуда же взяться надежде?

IV

Можно сказать человеку: "Ты порочен и должен начать исправление мира с себя". Но ведь человек знает силу и глубину своей порочности. Вдруг он впадет тогда в отчаяние и начнет зверствовать с отчаяния? Не лучше ли сказать слабому и порочному человеку: "Ты зверствуешь не от порочности своей, а оттого, что тебя очень сильно мучили и обижали в прошлом". Может быть, тогда он с большей готовностью захочет исправляться?

После погромного постановления ЦК о журналах "Звезда" и "Ленинград" Зошенко написал Сталину письмо, в котором были такие строки: "Я происходил из дворянской семьи, но никогда у меня не было двух мнений — с кем мне идти — с народом или с помещиками. Я всегда шел с народом... Я стал писать с искренним желанием принести пользу

народу, осмеивая все то, что подлежало осмеянию в человеческом характере, сформированном прошлой жизнью"²⁵.

Зошенко имел все основания изумляться обрушенным на него карам и проклятьям. Что такого можно было отыскать в детском рассказике "Приключения обезьянки", который и напечатан-то был первоначально не в "Звезде", а в "Мурзилке"²⁶? На что тут можно было так неадекватно разгневаться? Разве не старался он всю жизнь быть настоящим советским писателем? Разве не ставил свою подпись даже под призывами "расстрелять всю фашистскую шайку"? Разве не писал в 1937 году в заметке "Суд сурово покарает преступников", что "границы между троцкистом, диверсантом и фашистом окончательно стерлись"²⁷?

Есть шкала, описывающая пирамиду социального неравенства: властитель, богач, труженик, обездоленный, раб. Зошенко рос в культурной русской семье, для которой главным моральным лозунгом было: власть имущие — носители зла, обездоленные — носители добра. Эта моральная позиция приобрела в России такую прочность, что из сознания образованного общества почти было вытеснено представление о другой шкале, о шкале культурного неравенства. А ведь эта другая шкала существует независимо от шкалы неравенства социального. Она по сути отменяет и разрушает ложную альтернативу, навязанную людям классовой идеологией: "быть с помещиками или с народом". Ибо сущность культуры — это открытость человеческой души богатству и сложности мира. А такая открытость может быть свойственна и самому обездоленному человеку, но и самому привилегированному. В любом социальном слое мы можем обнаружить людей, которые распределяются по разным ступеням культурной шкалы: художник, любомудр, книгочей, недоумок, хам.

Нехорошо смеяться над бедной одеждой человека, нехорошо презирать его за натруженные руки, за обветренное красное лицо — это мы усвоили. Но если мы слышим корявую речь, если наш собеседник считает, что Пушкин мог встречаться с Екатериной Великой, если он готов надкушенное пирожное положить обратно в вазу — о, тут нам не удержаться от презрительной усмешки. В лучшем случае мы попытаемся

заняться его перевоспитанием, отправим в вечернюю школу или на рабфак, как Правдин когда-то отправил Митрофанушку в военную службу. В худшем — закроем перед таким человеком двери и будем вешать телефонную трубку, как только собеседник скажет "понял" или "ето".

Зошенко тяготится культурным неравенством так же, как он тяготился неравенством общественным. Он уверяет нас и себя, что сатира его борется с остатками бескультурия. Но на самом деле суть его творчества совсем в другом: он берет звучащую вокруг него некультурную речь и чудодейственным прикосновением искусства превращает ее в феномен культуры. Не обойденного образованием простого человека учит он говорить по-другому — он себя и нас учит отыскивать в живой повседневной речи, столь нелепой и корявой на вид, свою эстетику, которой можно так же наслаждаться, как самым безупречным ораторским мастерством.

Думается, именно эту цель подсознательно преследовал писатель, когда решил опубликовать письма читателей к себе в виде отдельных сборников. Сколько прелести есть, например, в такой фразе: "Я для вас не известный Но будущий беспризорный гений юморист Сцены хочу поставить себя в известность и доказать от всех беспризорных что значит дитя с улицы"²⁸. В подобные перлы Зошенко должен был вчитываться с таким же наслаждением, с каким скульптор по дереву вглядывается в причудливые сучья в лесу и видит: одно-два касания резца — и готова танцующая фигура, странствующий рыцарь, вздыбившийся зверь.

"Много нужно глубины душевной, чтобы взять картину из презренной жизни и возвести ее в перл создания", — писал Гоголь. Зошенко обладал этой душевной глубиной. Он находился на вершине культурной шкалы — и готов был пустить туда всех. Он воображал, что богатством культуры можно поделиться так же, как делятся кровом, одеждой, едой. Он до поры отмахивался от невнятных недовольных выкриков, доносившихся с нижних ступеней. Своего антипода он хотел видеть скорее неотесанным бузотером, добродушным обалдуем, безобидным скандалистом.

Поэтому он и был так ошеломлен и испуган, когда ан-

типод показал свое настоящее лицо и рывкнул на него голосом всевластного Хама.

V

За что же победивший недоумок, который "раньше был ничем, а теперь стал всем", так прогневался на Зощенко?

Сохранились записи Всеволода Вишневского о встрече литераторов со Сталиным в начале августа 1946 года. Толчок к травле Зощенко и Ахматовой был дан именно на этой встрече. Озлобленность в словах Сталина слышна искренняя, но аргументация — формальна, стандартна: "Зощенко — проповедник безыдейности... Не написал ничего о войне... Не [советскому] обществу перестраиваться под Зощенко, а ему надо перестраиваться, а не перестроится, пускай убирается к чертям"²⁹. Жданов в своем докладе с гневом цитирует автобиографическую заметку Зощенко, опубликованную в 1922 году, в которой писатель иронизирует над идеологическими требованиями новой эпохи: "Требуется нынче от писателя идеология... Этакая, право, мне неприятность"³⁰. Но он не упоминает, что уже в этой ранней заметке, несколькими строчками спустя, Зощенко пишет: "По общему размаху мне ближе всего большевики. И большевичить с ними я согласен. Да и кому же быть большевиком, как не мне?.. Я в Бога не верю... Я не мистик... И Россию люблю мужицкую. И в этом мне с большевиками по пути"³¹.

На самом деле, опытный идеологический глаз советского редактора легко мог бы отыскать у Зощенко настоящую крамолу, пропущенную цензурой. Лев Лосев справедливо отмечает прием пародии внутри пародии в рассказах Зощенко о Ленине³². Там рыбак приносит пойманную рыбу "доброму дедушке Ленину", но пугается, когда рука вождя вдруг тянется к телефону. В рассказе "Интересный случай в гостях" ("Голубая книга") компания заспорила о международном положении и вошла в такой раж, что решила позвонить за разъяснением в Кремль. Но очень скоро собравшиеся опомнились, и их тоже охватывает панический страх по поводу собственной дерзости³³.

Возможно еще и такое объяснение "вины" писателя: победоносный хам узнавал в зощенковском персонаже себя и приходил в ярость. Действительно, сколько раз мы слушали речи и наставления советского начальства и усмехались про себя: "Говорят совсем, как у Зощенко". Вот тот же Всеволод Вишневский мечет громы и молнии против опального писателя, который злостно не замечает победную поступь социализма, и стенограмма безжалостно фиксирует "зощенковскую" оговорку: "В стране произошли грандиозные изменения. Страна в *девять раз удвоила* свой индустриальный потенциал"³⁴. Писательница Надежда Крамова в своих воспоминаниях рассказывает, что во время знаменитого доклада в Смольном "Жданов, распаляясь, нес отсебятину на привычном для него жаргоне... которой в утвержденном тексте быть не могло"³⁵. А когда, двадцать лет спустя, самый большой начальник, Хрущев, сам оказался в опале и заговорил в мемуарах своим голосом, не по бумажке, разве не узнали мы мгновенно эти смешные обороты, это беспомощное разъезжание и спотыкание слов?

"Когда мы смотрели эту трофейную картину [про пирата, уничтожившего своих сообщников по одному] и видели вероломство, так сказать, в какой-то степени, ну, это напоминало нам, значит, как исчезали люди, которые вокруг Сталина работали, и тут уже, как говорится, мы, ну, уже как-то чувство у нас подсказывало нам, что не таким ли способом вот эти люди, "враги народа", погибли, как вот эти гибли, преданные, близкие ему, хоть и бандиты, но и он же бандит, значит"³⁶.

Так или иначе, создается впечатление: "вина" Зощенко была так очевидна всем гонителям, что никто и не старался искать убедительные обоснования.

"Голубая книга" не упоминается ни в Постановлении, ни в докладе среди грехов Зощенко. Зато упоминается другое произведение, тоже насыщенное историей, правда, совсем недавней, — "Перед восходом солнца". Эта абсолютно серьезная книга занимает в творчестве Зощенко такое же место, как "Исповедь" в творчестве Толстого, как "Остров Сахалин" в творчестве Чехова. В ней писатель действительно "выдал" себя — то есть показал, как серьезно он смотрит на жизнь человека

в этом мире, как пристально вглядывается в две бездны, между которыми протекает наше существование: прошлое и будущее.

И вот этот-то серьезный взгляд за пределы мимолетного "сейчас" и был главной "виной" писателя.

Ибо прошлое и будущее — это царство культуры. Оно неподвластно тирании — и это вызывает в пособниках деспотизма слепую ярость.

Нужно вспомнить все огромные усилия по переписыванию мировой истории, все горы томов, объяснявшие прошлое в "правильном", марксистско-ленинском духе. Нужно вспомнить огромное "министерство Правды", вытравлявшее память о погибших, о репрессированных, о замолчавших. Нужно мысленно вообразить себе эту гигантскую — повыше и подлиннее Берлинской — стену, выстроенную всевластной коммунистической диктатурой вокруг узкой полоски "сегодня". И тогда станет понятно, какой преступной дерзостью выглядела попытка Зошенко выйти за эту стену — хоть в шутовском, хоть в серьезном обличи.

VI

Очень часто и зошенковские персонажи, и их жизненные прототипы хотят сделать "как лучше" — но делают это слишком рьяно. В "Голубой книге" есть рассказ "Страдания молодого Вертера", в котором юный блюститель порядка объясняет, что он хотел сделать с рассеянным велосипедистом, поехавшим в парке не по той дорожке: "Я ему, гадюке, хотел руку [палкой] перебить, чтоб он не мог ехать"³⁷. А вот пример из жизни, но окрашенный типично "зошенковской" интонацией: в годы гражданской войны мужественный Короленко пришел в местное Чeka и попытался внушить особо рьяной следовательнице, что пытаться людей нельзя. "Как нельзя? — не поверила та. — А если они, гады, не сознаются?" (описано в письме Короленко Горькому).

Один хочет, чтобы все ездили в парке по правильным дорожкам. Другая — чтобы все виноватые сознавались. Третий — чтобы во всем мире покончили с эксплуататорами и чтобы

главный бандит помягче обращался со своими подручными. Отличаются друг от друга они лишь средствами, которые есть у них в руках для достижения «лучшего»: палка, маузер, танк Т-34, атомная бомба. Зато они абсолютно схожи в одном: в ненависти к тому, кто покажет им, как недолговечны они в этом мире, как низко стоят они на шкале культуры, которая была до них и пребудет после.

Ибо богатство, власть, почести можно отнять у преуспевших, если у тебя есть пулемет "максим" и готовность убивать. Культуру не отнимешь. Оказавшись рядом с носителем культуры, хам впадает в растерянность и гнев. Особенно хам, вообразивший, что повязанный галстук, собственный автомобиль и диплом Института марксизма-ленинизма перенесли его с нижних ступеней пирамиды культурного неравенства на верхние.

Кары, обрушенные всевластным хамом на двух носителей культуры — Ахматову и Зощенко, — были одинаковы, вплоть до отнятия продовольственных карточек. Но трагедия Зощенко была глубже. Ибо его не только поносили и смешивали с грязью — при этом отвергались и все дары, которыми он хотел осчастливить культурную бедноту.

Он хотел радовать и смешить своего простодушного современника — из-за спины того вырос всеильный хам и запретил публикацию "безыдейных" произведений.

Он хотел показать всему миру, сколько человеческого прямодушия и искренности, сколько своеобразной лубочной и скоморошней прелести есть в смешном персонаже, пусть пока обделенном культурой, — но победный хам не желал этого видеть, он желал упиться презрением к той среде, из которой он, как ему казалось, вырвался "в князи".

Однако самое горькое разочарование было в том, что столь дорогое писателю истолкование мировой истории, отраженное в "Голубой книге" — цепь несправедливостей и обид, — было переиначено хамом по своему: "Ах, вот, значит, как они нас обижали! Ну так мы не только на них, но и на детках их отыграемся! Зачислим их в классово чуждые элементы и оставим им один только путь — в места не столь

отдаленные. А вы, культурные умники, будете нам в этом подпевать и подыскивать красивые оправдания".

Не один Зощенко попался в ловушку уравнилства, которую сострадательное сердце расставляет носителю культуры. Блок, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Брюсов и тысячи других русских интеллигентов интерпретировали революцию так же, как он. Расплата. За угнетение, страдания, несправедливость. Но прежде всего — за неравенство. В том числе и неравенство культурное. И если так, то надо с ним кончать любой ценой.

Однако весь опыт мировой истории, в том числе и эпизодов, включенных Зощенко в его "Голубую книгу", говорит о другом: как невозможно построить здание без верхних и нижних этажей, так невозможно построить и общество без неравенства социального. И уж тем более невозможно создать культуру, в которой все было бы равно, не было бы ни верха, ни низа.

Если власть имущий в обществе не готов нести груз ответственности и одиночества, на смену ему скоро придет бандит с маузером или "калашниковым".

Если художник не готов нести гнет своей исключительности, его место скоро займет всевластный хам с трактатом по языкознанию или красным цитатником.

Так было, так будет, и вряд ли кому-то по силам изменить этот порядок.

Единственное утешение — ненавидящий культуру тиран всегда будет жить с тоскливым предчувствием своего поражения в неподвластном ему будущем. Туда не долетят его пули и ракеты, не доедут "черные Маруси", не дотянется колющая проволока. Туда долетят только слова его жертв — таких беспомощных и жалких сегодня. А самого его отнесет обратно вниз, туда, где ему и положено быть на вечной шкале культуры: в жутковатый шарж, в сатирический роман, в тысячу и один анекдот. И там он снова встретится со своим вечным антиподом — гонимым художником. Но уже в карнавально преображенном, будущее и прошлое смешавшем, виде. Как, например, в очередном анекдоте, где вечный Пушкин

предстает уже не перед "матушкой-императрицей", а перед "отцом и учителем всех народов":

"Вызывает Сталин Пушкина, спрашивает, нет ли жалоб.

— Да вот, не печатают, — говорит Пушкин.

Сталин снимает трубку:

— Таварыщ Фадеев? Нэмедленно напечатайте избранные произведения таварыща Пушкина. Что еще?

— С жильем трудно.

Сталин снова снимает трубку:

— Таварыщ Хрущев? Нэмедленно дайте таварыщу Пушкину квартиру.

Пушкин благодарит и уходит. Сталин снимает трубку.

— Таварыщ Дантес? Таварыщ Пушкин уже вышел"³⁸.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. М. Долинский. «Материалы к биографической хронике». В книге: Михаил Зощенко. Уважаемые граждане (Москва: Книжная палата, 1991), стр. 65. (Далее: Долинский.)

2. Михаил Зощенко. Избранные произведения в двух томах (Ленинград: Художеств. литература, 1968), стр. 243–44. (Далее: Зощенко.)

3. Александр Жолковский. "Зеркало и зазеркалье: Лев Толстой и Михаил Зощенко". В книге: Блуждающие сны (Москва: Советский писатель, 1992), стр. 167.

4. Зощенко (ук. соч.), стр. 167.

5. Там же, стр. 171.

6. Юрий Щеглов. "Энциклопедия некультурности". В сборнике: Мир автора и структура текста (Тенафл N.J.: Hermitage, 1986), стр. 59.

7. Там же, стр. 81.

8. Зощенко (ук. соч.), стр. 346.

9. Там же, стр. 183.

10. Там же, стр. 189.

11. И. Л. Попов-Ленинский. Лилберн и левеллеры (Москва-Ленинград, 1928).

12. Зощенко (ук. соч.), стр. 190.

13. Там же, стр. 239.

14. Там же, стр. 177–78.

15. Там же, стр. 232.

16. Русский романс (Москва: Правда, 1987), стр. 345.
17. Д о л и н с к и й (ук. соч.), стр. 71.
18. Ж о л к о в с к и й (ук. соч.), стр. 167.
19. З о ш е н к о (ук. соч.), стр. 286-87.
20. Там же, стр. 258.
21. Там же, стр. 193.
22. Там же, стр. 287.
23. Там же, стр. 338.
24. Там же, стр. 365.
25. Д о л и н с к и й (ук. соч.), стр. 98.
26. Там же, стр. 651.
27. Там же, стр. 75.
28. Там же, стр. 349.
29. Там же, стр. 102.
30. Доклад т. Жданова о журналах "Звезда" и "Ленинград" (Royal Oak, MI: Strathcona Publ., 1978), стр. 12.
31. Д о л и н с к и й (ук. соч.), стр. 579.
32. L e v L o s e f f. On the Beneficence of Censorship (München: Verlag Otto Sagner, 1984), стр. 202-204.
33. З о ш е н к о (ук. соч.), стр. 326-28.
34. Д о л и н с к и й (ук. соч.), стр. 105.
35. Н а д е ж д а К р а м о в а. Пока нас помнят (Tenaflly, N.J.: Hermitage Publishers, 1989), стр. 77.
36. Н и к и т а Х р у ш е в. Воспоминания (Chalidze Publications, 1982).
Цитируется по книге: 1001 избранный советский политический анекдот (Tenaflly, N.J.: Hermitage Publishers, 1986), стр. 42.
37. З о ш е н к о (ук. соч.), стр. 377.
38. 1001 анекдот (ук. соч.), стр. 43.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

БИБЛИОТЕКА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ

И ты не забудешь на темной дороге,
Как русские сосны качают верхи,
Как русские мальчишки спорят о Боге,
Рисуют пейзажи, слагают стихи.

Иван Елагин

Три года назад московская интеллигенция торжественно открыла Дом Марины Цветаевой. Наперекор рассуждениям о бесполезности в наше нестабильное время каких-либо начинаний, под многочисленные крики о гибели культуры и всеобщем крахе этот сверкающий особняк в Борисоглебском стал не только новым культурным центром. Он явился своего рода символом возрождения настоящей культуры и поэзии.

Дом стал излюбленным местом для многих писателей, художников, любителей поэзии еще до своего открытия. Сейчас в нем проходят литературные вечера, концерты классической музыки, научные конференции. В Доме работает пользующийся большой популярностью книжный киоск, куда приходит "вся Москва".

И однако, не только все это определяет ауру Дома. Не все знают, что Дом Марины Цветаевой гостеприимно принял в двух больших светлых комнатах библиотеку Российского (бывшего Советского) фонда культуры, известного по имени председателя Фонда — Дмитрия Сергеевича Лихачева.

С первых дней создания Фонда многочисленные представители русского зарубежья, поверив, что с началом перестройки неисчерпаемое наследие эмиграции наконец-то будет востребовано Россией,

стали передавать в Фонд картины, скульптуры, драгоценности, семейные реликвии и, конечно, книги, фотографии, архивные документы. В Фонде создан отдел дарений, регистрировавший поток пожертвований. Часть дарителей четко обозначала свою волю: картину в Третьяковку или Русский музей, книги — в определенную библиотеку или школу. Все, наверное, помнят репортажи об открытиях выставок даров Фонда, о торжественной передаче уникальных архивных документов.

Например, по воле Натальи Львовны Барановой-Шестовой, дочери замечательного русского философа Льва Шестова, книги И. А. Бунина с автографами, подаренные им ее отцу, были переданы в музей И. А. Бунина в Ельце. Исследователь творчества Бунина Милица Грин через Фонд культуры передала реликвии, связанные с именем Ивана Алексеевича в Литературный музей Одессы.

Однако, многие представители русской эмиграции, зная порядки хранения в тогда еще советской системе Государственного архивного фонда и до сих пор еще не преодоленные традиции спецхрана, ставили неперенным условием передачи книг и документов хранение их в Фонде. И тогда при Советском фонде культуры был создан архив-библиотека. Сначала это собрание помещалось в маленькой комнате в самом здании Правления на Гоголевском бульваре, а незадолго до торжественного открытия Дома Цветаевой библиотека переехала в Борисоглебский.

Есть, наверное, что-то символическое, что в районе, воспетом Буниным и Зайцевым, Арбата, одного их культурных центров России, разместилось теперь собрание уникальных комплектов периодики, мемуаров, сборников стихов эмиграции.

В архиве-библиотеке более 20 тысяч единиц хранения. Здесь автографы Ходасевича, Бунина, Г.Иванова, Куприна, Тэффи. Здесь полные комплекты "Русских записок", "Современных записок", "Чисел", изданий евразийцев, альбомы фотографий, связанных с самыми разными сторонами жизни эмиграции, буклеты, афиши, брошюры русского Парижа. В архиве-библиотеке хранится литературный архив Бориса Савинкова, личные фонды эмигрантов, умерших в Чехословакии.

Узнав о существовании библиотеки, шлют книги из Америки и Германии. Приходят бандероли с изданиями русского зарубежья и письмами: "Слышали о Вашей библиотеке, были бы рады, если б Вы

приняли на хранение и наши книги". Наверное, такое признание архива-библиотеки Российского фонда культуры связано не только с тем, что есть место хранения эмигрантской литературы, но и с доступностью этого собрания для любого исследователя. К нам приходят студенты и историки, литературоведы и журналисты, материалы архива-библиотеки публиковались в различных изданиях, прежде всего в "Нашем наследии". Книги и документы экспонировались на выставках, показывались по телевидению, о библиотеке был сделан целый цикл радиопередач. Осенью 1992 г. в Доме Цветаевой была открыта выставка "Культура русского зарубежья" (из собрания Российского фонда культуры). Выставке было посвящено более 20 радиопередач и газетных публикаций, в том числе и в эмигрантской печати.

Дать какой-то общий обзор архиву-библиотеке довольно трудно, так как в основе его комплектования лежит коллекционный принцип. То есть, проще говоря: каждый даритель образует отдельный фонд. Кто-то подарил целые комплекты журналов, кто-то одну фотографию, кто-то несколько, а кто-то целую коллекцию книг. Уже вышел каталог "Русское зарубежье. 1917—1991 гг.", изданный Домом Марины Цветаевой в 1992 г., готовится к печати второй выпуск, посвященный новым поступлениям.

Теперь хотелось бы подробнее рассказать о составе архива-библиотеки и о тех, благодаря которым она была создана.

Прежде всего хочется выразить благодарность знаменитым "алмазным королям" Оппенгеймерам. Их благотворительный Фонд Оппенгеймеров и фирма "Де Бирс (Сентинери)" финансировала покупку во Франции ряда архивных материалов, реликвий русской культуры.

О размахе деятельности этих меценатов в рамках сотрудничества с Советским фондом культуры свидетельствует простой перечень возвращенного ими. Например, письмо А. С. Пушкина Александру Ваттемару, написанное в 1834 г. (сейчас оно передано в Пушкинский дом), автограф И. С. Тургенева, рисунок И. Е. Репина, на котором изображен Л. Н. Толстой с дочерью Александрой Львовной (рисунок теперь в музее Л. Н. Толстого в Москве), портрет княгини З. Н. Волконской кисти Д. де Ромилли (сейчас в музее А. С. Пушкина на Пречистенке). Как видим, Фонд Оппенгеймеров способствовал возвращению в музеи России уникальных материалов. Но

наибольшая часть нашего культурного и исторического достояния, возвращенная с помощью Фонда Оппенгеймеров, хранится в архиве-библиотеке Российского фонда культуры.

Маленький листок бумаги, короткая надпись: "Ты знаешь, чей крест". И подпись — "Н". Н — это Николай I, недавно вступивший на престол. Адресат — Алексей Федорович Орлов, только что получивший графский титул за участие в усмирении декабристского выступления. Алексею Орлову еще предстояло получение титула шефа жандармов и главного начальника III отделения. Орлов просит за брата, Михаила. Это письмо — одно из 11 единиц хранения переписки Николая I с графом Алексеем Орловым в 20-е — 30-е годы XIX века. В письмах отражены самые острые вопросы, волновавшие властителей России того времени — восстание декабристов, холерные бунты, военные поселения. И, конечно, Алексея Орлова больше всего беспокоила судьба брата, генерала-майора Михаила Федоровича Орлова, одного из организаторов декабристского восстания. "Я ограничусь, сир, предоставлением Вам сожалений и пожеланий моего несчастного брата. Если Ваше решение не оправдывает моего несчастного брата, оно даст, по крайней мере, какое-то утешение его надорванной болью душе", — так писал Алексей Орлов императору.

Другая уникальная коллекция писем в собрании Российского фонда культуры — переписка графа Павла Александровича Строганова и Николая Николаевича Новосильцева, "молодых друзей" Александра I, стоявших у истоков конституционного процесса в России.

А теперь — о коллекции автографов, связанных с первой русской эмиграцией.

Почти все они были выставлены на прошедших в Доме Марины Цветаевой двух выставках "Культура русского зарубежья". Посетители могли увидеть за толстым стеклом витрин удивительные автографы Ремизова, фотографии с подписями И. А. Бунина, афиши выступлений С. М. Лифаря и А. Н. Вертинского, буклеты, посвященные Анне Павловой, рукописи И. С. Шмелева. Внимание посетителей привлекла большая кожаная тетрадь, где на развернутых страницах, среди различных росписей, четким почерком написано: "Марина Цветаева. 30 июня 1936 г." Внизу, под несколькими другими подписями: "Г. Эфрон"

Да, великая русская поэтесса и ее сын Мур тоже расписались в

этой тетради, которая принадлежала известному библиофилу Александру Ксенофоновичу Семенченкову. В выходные дни познакомиться с библиотекой этого коллекционера приходил весь "русский Париж". И каждый оставлял автограф и отзыв в книге для гостей. Здесь и Бунин, и Керенский, и Милюков, и Лифарь, и Вышеславцев.

В архиве-библиотеке есть еще один автограф Марины Ивановны, причем, судя по всему, он также на листе из альбома А. К. Семенченкова. Это написанный от руки перевод из "Пира во время чумы" А. С. Пушкина на французский. Под переводом автограф — "Марина Цветаева, Париж, июнь 1936". А на оборотной стороне этого листа два автографа: "П. Милюков" и "А. Руманов". Они помечены 5 и 7 мая 1936 г. Далее они выражают благодарность неизвестному за проведенное у него время. Судя по всему, этот лист был вложен в альбом, скорее всего, другой, также принадлежавший А. К. Семенченкову.

Еще одна поистине "золотая тетрадь", приобретенная Российским фондом культуры при содействии Фонда Оппенгеймеров — записная книжка З. Н. Гиппиус за 1939 г. Уже в 60-е гг. эта маленькая книжечка в потертом кожаном переплете была переплетена ее парижскими хранителями в роскошный, очень красивый фугляр. В этой книге отражены все ужасы времени начала 2-ой мировой войны. "Варшава еще держится, а большевики ей в спину", — одна из записей.

Дневники З. Н. Гиппиус, опубликованные в начале перестройки, произвели огромное впечатление на читателей тогда еще существовавшего Советского Союза. Публикация дневника Зинаиды Николаевны за 1939 г. в "Нашем наследии" также стала значительным явлением в культурной жизни России.

Говоря о Зинаиде Гиппиус, нельзя не упомянуть о человеке, с которым она прожила 45 лет, ни разу не расставаясь ни на один день — замечательном писателе и философе Дмитрие Сергеевиче Мережковском. В архиве есть два наброска планов его книг "Данте" и "Наполеон", а также черновая заметка о его книге "Франциск Ассизский". Недавно на средства Фонда Оппенгеймеров для архива-библиотеки была приобретена коллекция буклетов и афиш, связанных с историей русского зарубежья. Среди них — буклет с прекрасным портретом Дмитрия Сергеевича неизвестного автора. Буклет был издан ко дню, когда был поставлен памятник Д. С. Мережковскому

на Сен-Женевьев-де-Буа. Автору этих строк довелось беседовать со священником, отпевавшим Мережковского и впоследствии освятившем этот памятник — протоиереем Борисом Старком, который сейчас живет в Ярославле.

Автографы другого писателя, воспевшего старую Москву, религиозную Россию — Ивана Сергеевича Шмелева, также не могут быть не перечисленными в нашем списке. Это наброски его будущих замечательных книг "Богомолье" и "Лето Господне". "Здесь как бы сведены в одно неразрывное целое две сущности русской души: *небесная* и *земная*; здесь быт русский, уклад жизни русской показаны в преломлении чрез религиозную жизнь. На фоне праздников церковных изображается жизнь, в многообразных проявлениях русской природы завершается сложная форма русской сущности, — таковы слова Шмелева. — Всевозрастная Русь дана в художественных образах, ищущая Божьей правды, совестливая, кающаяся, детски ликующая перед Святыней, радующаяся благочестию и красоте чистой, которую она чувствует в природе. Здесь дана картина живописного и ласкового до трогательности русского быта, чувствоваание народом Бога, душевное горение". Рукописи с этими словами Ивана Сергеевича хранятся в описываемом нами собрании.

В той же коллекции автографов, полученных с помощью Фонда Оппенгеймеров, находятся наброски Тэффи, письма А. И. Куприна К. А. Коровину, деловое письмо С. П. Дягилева. Есть и несколько пригласительных билетов на вечера Ходасевича, его переписка с Асей Ульпе, двоюродной сестрой Н. Н. Берберовой. Так, в письме к А. Ульпе В. Ф. Ходасевич сообщал о предстоящем вечере 15 февраля 1939 г., где он должен был читать переводы из еврейской поэзии. Высылая несколько билетов и прося помочь "организовать публику", поэт писал: "Говорите покупателю: Ах, как интересно, поэма Черняховского, "Свадьба Хельки". Еврейская свадьба — как на ладони!.. А как читает этот Ходасевич — заслушаешься! Да-да, это его перевод с древнееврейского". Это письмо приоткрывает новые грани жизни замечательного русского поэта.

В перечне источников, конечно, необходимо упомянуть письма Б. Д. Григорьева, Г. К. Лукомского, автографы А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, послания С. В. Рахманинова, фотографии с автографами Ф. И. Шаляпина, большую коллекцию удивительных рисунков и стилизованных под древнюю вязь писем А. М. Ремизова.

Одно из самых крупных приобретений архива-библиотеки Российского фонда культуры, полученных при содействии все тех же Оппенгеймеров, — архив замечательного писателя Алданова. "Желаю освобождения России. Человеку свойственно и естественно желать свободы — бытовой, политической, свободы от страха, свободы веры и мысли и уверенности в том, что его не могут в любой день ни за что, ни про что посадить в тюрьму или расстрелять. Желаю человеку человеческой жизни". Так говорил Марк Александрович Алданов накануне своего семидесятилетия и смерти в 1957 г.

Сейчас книги Алданова широко издаются. Он автор 16 романов, множества рассказов, очерков. В его архив входят многочисленные корректуры, правки, записные книжки, письма, черновики. Как известно, значительная часть его архива хранится в США, в Колумбийском университете. Другую часть вдова Алданова, по воле самого писателя, уничтожила, но 28 коробок, хранящихся сейчас в архиве-библиотеке, были переданы А. Полонскому, племяннику вдовы Марка Александровича, сыну известного библиофила, редактора журнала "Временник общества друзей русской книги" Якова Полонского.

Теперь мы можем исследовать переписку Алданова с многочисленными редакциями и издательствами русского зарубежья. В этом архиве имеются также автографы М. Осоргина, В. Набокова, А. Керенского, В. Н. Буниной.

В архиве-библиотеке имеются также небольшие собрания Павла Милюкова и Георгия Адамовича. Павел Николаевич Милюков — лидер конституционно-демократической партии, один из основоположников русского либерализма. В его собрании представлена переписка с Михаилом Осоргиным в дни фашистской оккупации Франции. Смертельно больной Осоргин находил в себе силы присылать Милюкову какие-то продукты. Переписка его с Милюковым частично была издана в "Новом Журнале", но часть писем еще ждет своего публикатора, как и дневники Павла Николаевича за 1918 г. В этом же архиве есть редкие фотографии Милюкова в последние годы жизни.

В собрании Г. В. Адамовича, патриарха русской эмигрантской литературной критики — правки статей о масонстве, о Пушкине, Солженицыне.

Таковы сокровища русской литературы, вернувшиеся в Россию

благодаря помощи Фонда Оппенгеймеров. Русские корни этих людей, их стремление помочь культуре России воплотились в коллекцию уникальных автографов, хранящихся ныне в архиве-библиотеке Российского фонда культуры.

Лидия Борисовна Варсано и ее сын Серж — также наши меценаты. Они помогли в приобретении комплектов ведущих литературных журналов русской эмиграции, коллекции поэтических изданий. "Мне доставило большую радость узнать, что книги и журналы, с такой тщательностью и любовью подобранные одним из крупных специалистов в Париже, будут доступны в Москве ученым, студентам, писателям, станут как бы мостиком, соединяющим два рукава одной реки русской культуры", — говорила Лидия Борисовна Варсано (урожденная Ногина), преподнося свой дар Фонду культуры.

Наверное, самое ценное, что было ею подарено архиву-библиотеке — это коллекция русской эмигрантской поэзии. В ней более 500 книг, причем не только изданий известных авторов — Северянина, Бальмонта, Гиппиус, Бунина, Дон-Аминадо (почти все с автографами). Поэтическая коллекция Варсано не имеет пока аналогов, поскольку большинство книг русского поэтического зарубежья представляет неизвестный нам пласт эмигрантской жизни. Многие из этих книг изданы тиражом сто-двести экземпляров. На последние, скудные сбережения люди издавали книги, пропадавшие, гибнувшие при переездах, эвакуациях, бомбежках. Многого лишилась русская культура, когда новые хозяева, въехав в бывшее жилище русского эмигранта, выкидывали ненужные рукописи и книги. Большая часть книг из этого поэтического собрания принадлежит перу неизвестных нам поэтов. В литературоведении бытовал такой термин — "тихий расстрел". Им обозначалось стремление составителей антологий поэзии русского зарубежья включать в издания только известных поэтов. Но уровень первоклассных, выдающихся авторов в поэзии "изгнанников поневоле" был очень высок.

Уникальность этого собрания и в том, что в нем есть сборники, написанные от руки или вышедшие тиражом 20 экземпляров.

Поэтические книги выходили в Париже и Торонто, Белграде и Софии, Калифорнии и Эстонии, выходили в самых различных издательствах, таких как "Петрополис" и "Рифма", "Русская книга" и "Нескучный сад", "Святая Русь" и "Родник"...

Недаром сквозь страхи земные,
В уже безысходной тоске,
Я сильную руку России
Держу в своей слабой руке.

Так писал Владимир Смоленский. Лучшие представители российского зарубежья верили, что испытания пройдут, Россия будет свободной. Этой вере нам у них порой стоит поучиться.

Среди самых значительных даров семьи Варсано — коллекция русских периодических изданий. Прежде всего — полный комплект "Современных записок", одного из лучших журналов эмиграции, да и всей зарубежной литературы XX века. Журнал выходил с 1920 по 1940 г. и прекратился в связи с фашистской оккупацией. Как писал В. Ходасевич о редакторах журнала: "...Не будучи ни художниками, ни специалистами-литературоведами, они в беллетристическом и поэтическом отделах журнала собрали все или почти все наиболее выдающееся, что было написано за эти годы за рубежом". Действительно, произведения Бунина, Набокова, Тэффи печатались в "Современных записках". Поэтическую рубрику журнала представляли Цветаева, Г. Иванов и многие другие.

Выходцы из России и на чужой земле старались объединиться, сохранить какие-то общие интересы. В результате возникли печатные органы не только литературных, но и военных, исторических, технических и других обществ — слишком велик и разнообразен был социальный состав людей, покинувших Россию.

В коллекции Варсано такие редкие издания, как "Вестник Союза русских дворян" или "Армия и флот. Вестник сухопутных, морских и воздушных сил". Есть редкие издания обществ взаимопомощи донских казаков во Франции: "Казачий литературно-общественный альманах" и "Казачий быт". Среди подаренного Л. Варсано мы видим сборники "Белого архива" — материалы по истории Белого движения, издававшиеся Я. Лисовым в Париже. В них воспоминания Врангеля, Деникина, документы Белого движения.

Для интересующихся военной историей наверняка окажутся ценными издания "Военной были" (орган Общекадетского объединения); издававшийся Обществом русской военной старины "Военно-исторический вестник", журналы, посвященные истории военного искусства, оружия, написанные превосходными знатоками своего дела.

Недавно в Фонд культуры с благодарностью прислали из Северной Осетии изданный факсимильно тиражом 5000 экз. уникальный бюллетень Комитета осетиноведения при европейском центре Музея акад. Н. К. Рериха. Оригиналы этого издания также предоставила библиотека Российского фонда культуры.

Давно сотрудничает с нашей библиотекой Валентина Алексеевна Синкевич, столь много сделавшая для пропаганды и издания русских поэтов в США. Она предоставила архиву-библиотеке полный комплект издаваемого ею альманаха "Встречи", недавно прислала замечательную антологию поэзии второй волны эмиграции — "Берега".

Более 300 книг, в основном изданных в России в конце XIX — начале XX века, подарил Фонду культуры Алексей Владимирович Муравьев-Апостол, потомок знаменитого декабристского рода. Среди них — прекрасно изданные альбомы, каталоги выставок, издания по русской истории. Коллекция Муравьева-Апостола как бы вводит читателей библиотеки в мир русского зарубежья, показывает основы, на которых произрастала культура эмиграции.

Значительное количество книг предоставило для библиотеки Российского фонда культуры известное издательство "Посев". В Доме Марины Цветаевой была проведена выставка этого издательства, прошли пресс-конференции таких известных ученых, как Роман Редлих и Борис Пушкирев.

Одним из главных дарителей последнего времени стал Александр Ельчанинов, внук одного из самых известных пастырей русской эмиграции, священника о. Александра Ельчанинова, скончавшегося во Франции в 1931 г. А наш меценат Александр Ельчанинов — сейчас один из руководителей Фонда помощи верующим в России (Париж). Во многих приходах Москвы и Петербурга хорошо знают этот Фонд, отправляющий в Россию грузовики с медикаментами, продуктами, теплой одеждой. Вместе с ними к нам в архив-библиотеку поступают и коробки с книгами. Уже получено более тысячи изданий.

Много книг поэтов "второй волны" поступает из США.

Есть что-то неслучайное в том, что сборники стихотворений поэтов первой волны эмиграции встретились на полках архива-библиотеки с изданиями наших современников, покинувших родину после второй мировой войны. Культура русского зарубежья, российской эмиграции — одна из основ русской культуры XX века. И очень

хорошо, что старая Собачья площадка стала местом хранения мыслей этих замечательных людей, веривших, что они вернуться. "Мы не в изгнании, мы в послании", — любила повторять Зинаида Гиппиус. Они были посланы, как считала она, чтобы сохранить культуру России и рассказать о ней миру. Что и пытается исполнять архив-библиотека Российского фонда культуры, что в Доме Марины Цветаевой в Борисоглебском... На Собачьей площадке.

Виктор Леонидов, Москва

ПРОЩАЯСЬ С ИГОРЕМ ЧИННОВЫМ

Игоря Чиннова я видела за две недели до смерти. Он уже редко вставал с постели — 86 лет* даже для Флориды, штата долгожителей, все-таки возраст. Да и обещанный врачами год жизни был на исходе — рак в последней стадии почти не напоминал о себе, но лекарства забирали слишком много сил. И еще — ожидание смерти. "Я последний, — сказал он вдруг. — Последний парижский поэт".

Как страшно быть последним в стае,
Прощальный отдавать салют...

— цитировал Чиннов строчки Екатерины Таубер, надиктовывая воспоминания о своих друзьях — сотрудниках парижского журнала "Числа", где лет шестьдесят назад печатался. А закончил он эти воспоминания тютчевским:

Игорь Владимирович Чиннов родился 25 сентября 1909 года в имении бабушки под Ригой в семье юриста. Окончил Рижский университет со степенью магистра юридических наук. В 1944 году был депортирован немцами в лагерь в Рейнской области. После окончания войны оказался в Париже, где жил до 1953 года. С 1953 по 1962 год работал в Мюнхене на радиостанции "Свобода". В 1962-ом переехал в США и был профессором русского языка и литературы в Канзасском, Питтсбургском и Вандербильтском университетах. После выхода на пенсию в 1976 году поселился в городе Дейтона Бич во Флориде.

Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

Почти по-прежнему он не упускал случая, чтобы пошутить, в том числе и над собой. Собирался закончить статью о Георгии Иванове, написать еще стихи.

Вы говорите, что пора кончать,
Но я не думаю, что надо.
Я собираюсь описать опять
Туманное молчанье сада.

Я думаю запечатлеть навек,
Как ветка яблони нагнулась,
Как листопад шуршал, как выпал первый снег,
Как вереница потянулась

На юг. Я расскажу, как черные кусты
Туманно побелели за ночь,
Как было в мире много немоты
И холода, и обнищанья.

И как зеленоватой желтизной
Край неба медленно покрылся.
И на прощанье радостью земной
Я, с кем не знаю, поделился.

И опять, в который раз, я поразились: Господи, какое жизнелюбие! Я не встречала никого, кто получал бы от жизни, даже в самых обыденных ее проявлениях, такое удовольствие. Цветущая яблоня, хрустящая, со снежком, квашеная капуста из деревянных кадок с рязанского дореволюционного рынка (воспоминание об этом кулинарном чуде в конце концов превратилось в мечту), безделушка, привезенная откуда-нибудь с Гаити и любимая не потому, что дорого заплачено, а потому, что понравилась. Чиннов был страстным путешественником и заполнил свою квартиру достопримечательностями со всех концов света.

Живу, изящными уютами
От ужасов отгородясь

(А время капает минутами
В кладбищенскую непролазь).

Живу, любуясь безделушками,
А вечность тянет, как магнит,
И пасторальными пастушками
(Как неожиданно!) — манит <...>

Он умудрялся видеть в жизни только хорошее, опуская все плохое и неинтересное или находя даже в этом, плохом, свою прелесть.

"Да, я считаю себя счастливым человеком. Ведь столько раз мог умереть. Например — в Ставрополе — от тифа, когда мы бежали с Белой Армией. И папа, и мама, и я — все заболели. Или в конце войны в Германии, когда русские бомбили. Я там был в лагере. Нас немцы вывезли из Риги на работы. Поле, никуда не спрячешься — ужас, что такое. Или в Париже, где я оказался после лагеря. У меня в комнате опрокинулась керосиновая лампа, начался пожар. Не хочу вспоминать. В общем, много было возможностей. А мог вообще в сталинские лагеря попасть. Мог стать плохим поэтом. И ничего этого со мной не случилось. А сколько я повидал! Почти весь мир. И какие у меня были друзья, каких людей я знал! Адамович, Вейдле, Георгий Иванов, Ремизов, Федор Степун, Анна Присманова... — Царство Небесное!"

А надо бы сказать спасибо:
За кринку молока парного,
За черную ковригу хлеба,
За небо с кромкою лиловой,

За двух небоязливых галок,
Собаку с мордой черно-сивой,
За то, что на порог упала
Для нас желтеющая слива,

За ветки в глиняном кувшине,
За ветер, веявший с востока,
За вкус черники темно-синей,
За связки чеснока и лука,

За дыню, зреющую у входа,
Свинью, запачкавшую рыло,
За то, что милая природа
К нам, видимо, благоволила,

За желтый мед (ты помнишь запах?),
Пахучий сыр и карк вороны
(И черный кот на белых лапках
Ходил кругом, хоть неученый),

За то, что лиловела кашка
И ежевика попевала,
За то, что добрая кукушка
Нам долгий век накуковала,

За стуки дятла-лесоруба —
Сказал ли я за все спасибо?

Это — одно из последних, написанных Игорем Чинновым стихотворений. За 60 лет поэтической жизни он выпустил восемь сборников стихов за рубежом и один, в 1994 году, в России*. Первый его сборник "Монолог", вышедший в 1950 году в парижском издательстве "Рифма", эмиграция встретила очень доброжелательно. По этому случаю Объединением русских поэтов и писателей в Пари - же был устроен творческий вечер, в печати появились хвалебные рецензии. Сергей Маковский приветствовал "рождение поэта". Георгий Иванов в письме от 22 октября 1950 писал: "Дорогой Игорь Владимирович, поздравляю Вас с очень большой удачей. Ваши стихи, собранные вместе, чрезвычайно выиграли. А Вы сами знаете, как это важно. Обычно получается наоборот ... Короче говоря, читая "Монолог", я убедился, что недостаточно ценил Вашу поэзию. Считаю, что

Книги Игоря Чиннова: "МОНОЛОГ", изд. "Рифма", Париж, 1950. "ЛИНИИ", там же, 1960. "МЕТАФОРЫ", изд. "Нового Журнала", Нью-Йорк, 1968. "ПАРТИТУРА", там же, 1970. "КОМПОЗИЦИЯ", изд. "Рифма", Париж, 1972. "ПАСТОРАЛИ", там же, 1976. "АНТИТЕЗА", изд. Birchbark Press, 1979. "АВТОГРАФ", изд. New England Publishing Co., 1984. "ЭМПИРЕИ", "Христианское издательство", Москва, 1994.

Ваш сборник дает Вам большие "права" — в частности, право на надменность по отношению к "суду глупцов" <...> Теперь Вы автор книги такого "класса", какие появляются — и не только в эмиграции — очень нечасто. И которой, одной, достаточно, чтобы Ваше имя "осталось". Поймите меня правильно. Мало ли что я хвалю по соображениям дружеским или житейским. Но то, что я пишу сейчас, я действительно думаю. При первой возможности постараюсь подтвердить в печати это мое мнение. Пока же всем и каждому буду говорить, что считаю Вашу книгу не только очаровательной, но и очень значительным явлением. Очень рад за Вас. И очень советую побольше писать — "по горячему следу" Вашей несомненной и большой удачи. Ваш всегда Георгий Иванов.

Я вполне согласна с мнением Г. В. Я до "Монолог" не знала Ваших стихов. Ирина Одоевцева".

Все появлявшиеся позже сборники Игоря Чиннова неизменно вызывали волну восторженных откликов. О поэте написано около ста статей и рецензий. Среди авторов — интеллектуальный цвет послевоенного русского Зарубежья: Владимир Вейдле, Юрий Терапиано, Александр Бахрах, Юрий Иваск, Роман Гуль, Борис Нарциссов, Марк Слоним. У Георгия Адамовича о Чиннове пять статей. Этот взыскательный критик высоко ценил поэзию Чиннова. В одном из писем их общему другу поэту Александру Гингеру Адамович говорит о том, что в русской поэзии "сейчас нет "мэтра", кроме Игрушки". Так Чиннова звали друзья. Потому, что производное от Игорь, но еще и потому, что счастливец, баловень судьбы, а еще — легко, играючи живущий.

И действительно — стихи писал легко, в удовольствие, никогда не превращая это занятие в работу. "Одна строчка приходит, потом — другая". И очень удивлялся, что Бахрах где-то написал, как с утра Чиннов садится за стол — писать стихи. "Ни разу в жизни я для этого не садился за стол". Как-то между прочим выучил четыре языка. В 53 года, "за литературные заслуги", получил место associate профессора в Америке, где и преподавал до пенсии русский язык и литературу в трех университетах. И тоже с удовольствием. Он говорил легко, гладко, без усталости, вообще — любил говорить, а на лекциях — разу-

меется, без всяких конспектов. И искренне недоумевал: "Да что же готовиться к лекции о Пушкине! Вы бы стали готовиться?" Прекрасная память плюс огромный интерес к жизни (а к литературе особенно) — вот и весь секрет успеха. Стихов Чиннов знал несметное количество — запоминались с первого прочтения. И вообще — он много знал. Например, западное искусство. А русскую литературу — конечно. Его публичные лекции еще в послевоенном Париже собирали немалую аудиторию — и публика там была весьма искушенная.

<...> Я жил в Париже целых восемь лет,
Уехал тридцать лет тому назад.
Там жили русские поэты. Больше нет
В живых почти ни одного. Конь Блед
Умчал их в тот, небесный вертоград?

В земле Франции они лежат,
Они писали русские стихи.
Они из-за кладбищенских оград
Кивают мне: Хотелось бы, собрат,
В Россию... А? Да где ж: дела — плохи.

В земле русской? У березок, в ряд?
Нет, вряд ли. И мечтать напрасный труд,
Что наши трупы въедут в Петроград
(Что бронзовые Музы осенят
Храм Эмигрантской Лирики?) Капут.
А вот стихи — дойдут. Стихи — дойдут.

И что же? Еще в начале восьмидесятых звучащее очень смело, это пророчество начинает сбываться. И поэзия, и проза эмигрантов издается в России. У Игоря Чиннова в России, кроме журнальных и газетных публикаций и появившейся в 94 году книги стихов, выходит еще одна — "Алхимия и ахинея" — сборник гротесков. Да и сам он, на девятом десятке лет, вместе с другими членами редколлегии "Нового Журнала" добрался-таки в Россию. И выступал со стихами в Центральном доме литераторов, в Доме журналистов, в Фонде культуры. Грустно, конечно, что Россия знакомится со своими писателями с опозданием на полвека, что до российского Дома литераторов Чиннов читал стихи и в Париже, на пяти своих творческих

вечерах, и на двадцати съездах славистов, и в сорока университетах США, что задолго до российских публикаций были переводы на английский, французский, немецкий. Но, как говорится, лучше поздно...

Да, мы эмигранты, "переселенцы",
"Отщепенцы"... Что ж, не грусти.
Из Флоренции, родной Фиоренцы*,
Флорентийцу Данте пришлось уйти.

Могила в Равенне. *Fiorenza mia...*
Но все флорентийцы знают о нем.
Приятный сюрприз будет, если Россия
Эмигрантских поэтов почтит... потом.

Свезуг, реабилитированных посмертно,
На Литературные Мостки,
И уже не будет, почти наверно,
Ни одиночества, ни тоски.

Вот как Чиннов рассказывает о себе читателям "Даугавы", где в 1989 году была напечатана его подборка "Мое писательство":

"Долго писал красиво-бледные стихи, очень отжатые и сжатые "о самом главном", лучшие слова в лучшем порядке, по завету Кольриджа. Никаких поэтизмов, ни одной инверсии родительного падежа (это и теперь так). Мелодичность при полной естественности. Затем изысканную бледность сменила многокрасочность, яркость, пышная образность, метафоры, орнаментальность, оркестровка, роскошества: цветы, сады, дворцы, увиденные в разных странах. Но красоты уравновешивал гротесками, "черным юмором". Эстетство, в котором, винюсь, бывало "не без иронии порой".

Темы? Банальнейшие: о прелести и краткости жизни".

О, душа, ты наполнишься осенним огнем,
Морем вечеряющим ты полна.
Души-то бессмертны, а мы умрем —
Ты бы пожалела слегка меня.

Во времена Данте Флоренция называлась не Firenze, как теперь, а Fiorenza. — И. Ч.

Смотришь, как качается след весла,
Как меняется нежно цвет воды.
Посмотри — ложится синяя мгла,
Посмотри, как тихо — и нет звезды.

Хоть бы рассказала ты мне, хоть раз,
Как сияет вечно музыка сфер,
Как переливаясь, огнем струясь,
Голубеют звуки ангельских лир.

Монологом приговоренного к смерти назвал Вейдле первую книгу Чиннова. Эта тема осталась главной для его поэзии на протяжении всей жизни, приобретая только все большую ироничность. Он как будто постоянно чувствовал за спиной дверь, открытую — куда? "Будем посмотреть", — сказал он незадолго до смерти. А очень задолго написал:

Плачешь, Психея-Аленушка?
Это еще не Харонушка,
Это не Стиксик, не Летушка,
Не Флегетончик, не Смертушка:
В лодке рыбачит на озере
Дачник, хоть время и позднее.

Позднее... Верно. Со временем...
Яблочко-времячко котится,
Котится, да не воротится —
Пели в России в гражданскую.
Вот потому я и пьянствую:
С нашим земным воплощением
Нам расставаться не хочется.

Смотрим, почти в восхищении,
Мы на туманы осенние,
Ветки корявые дерева,
Лошадь у низкого берега.
Здесь и природа, я чувствую,
Чем-то похожа на русскую.

Ждет нас, душонка-Аленушка,
Долгий беспамятный сонушко.

Лучше подольше попробуем
Здесь оставаться — подобием
Божиим, хоть приблизительным,
Прежде чем стать небожителем.

Когда в начале мая я уезжала из Дейтона Бич, тихого американского курортного городка на атлантическом побережье, где Чиннов жил последние двадцать лет, мы с ним простились "до встречи". Он неплохо себя чувствовал, и осенью мы собирались дальше работать с его архивом. А 21 мая он умер, за два дня до смерти попросив принести в больницу побольше книг.

И все не дает мне покоя одно совпадение. Обратный билет — Дейтона—Москва — у меня был с фиксированной датой, просто в авиакомпании поставили "какое-то" число. Уехать, по разным обстоятельствам, пришлось раньше. А недавно мне в руки попался этот обратный билет. Он был на 21 мая. Случайность... Но кто знает, где проходит граница между случайным и предопределенным?

В безвыходной тюрьме Необходимости,
В застенке беспросветной Неизбежности,
В остроге безнадежной Невозможности

Мне хочется Господней дивной милости,
Мне хочется блаженной Отчей жалости,
Мне этой безысходности не вынести!

Мне хочется прозрачности, сияния,
Прощения, любви, освобождения,
Свободы, благодати, удивления,
Твоих чудес. Чудес! Преображения!

Мне хочется — из мертвых воскресения!

Свой прах Игорь Чиннов завещал похоронить на Ваганьковском кладбище. Библиотеку и архив он завещал Институту мировой литературы в Москве, а все свое творчество — России.

Ольга Кузнецова, Москва

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

В. Ю. ЯНКОВСКАЯ

Почти незамеченной прошла смерть Виктории Янковской. А ведь 6 апреля, на Русской речке, в Калифорнии, скончалась поэтесса, чье творчество высоко ценил Константин Бальмонт и "китайский Бём" — Николай Петерс; чьи стихи были включены в классическую антологию зарубежной поэзии "Содружество" (Вашингтон, 1966), а в последние годы в антологии поэтов-дальневосточников — "Остров Лариссы" (США, 1988) и "Песни с Востока" (Австралия, 1989).

В своей коротенькой автобиографии в "Содружестве" Янковская писала: "Судьба забросила меня на десять лет в глухую маньчжурскую тайгу в совершенно первобытные условия жизни, а затем в Южную Америку на такой же срок. С тех пор пишу только для себя и если читаю стихи, то лишь "водопадам и облакам..." Однажды мне удалось прервать это писание в стол, и по моей просьбе поэтесса написала замечательный очерк — "Забытые жены", значительно расширивший наши знания о К. Бальмонте. Часто Виктория Янковская присылала мне свои новые стихи, которых у меня собралось более шестидесяти.

Употребление слова "смерть" рядом с именем Янковской и сегодня кажется мне какой-то абракадаброй — ведь охотница на тигров (а кто в русской поэзии может чем-то подобным гордиться?) должна была жить еще очень и очень долго, но... Писать мне о поэтессе некролог (неприятен мне этот жанр) трудно: не потому, что наши с ней отношения были зачастую сложными, а потому, что не верится, что ее уже нет, что больше не будет писем с Русской речки, не будет еще одного рассказа об исчезнувшей "галактике" — русском Китае. Если бы кто-то захотел издать все письма Янковской ко мне, то получилась бы книга воспоминаний намного интереснее субъективных мемуаров Валерия Перелешина. Кстати, именно Виктория Янковская "виновата" в этом псевдониме именитого поэта: она-то и "окрестила"

его лучшим, он же видоизменил свое прозвище на псевдоним — Перелешин.

Лучше всего о Янковской рассказывала сама Янковская, поэтому цитаты здесь — цитаты из ее писем... "Вы спрашиваете мои даты... О, я не Ларисса (Андерсен. — *Э. Ш.*) и их не скрываю: я родилась 18-го февраля 1909 года и мне уже исполнилось 82 года. Я очень серьезно болела два года тому назад болезнью, от которой не выживают. Меня называли: "таф Раппен" и "таф Янковски". А в остальном я сильна как бык: и за ручным плугом ходила, и в колхозе работала с китайцами и корейцами и сама в одиночку обрабатывала пашни. После ареста всех моих близких я осталась одна-одинешенька на Тигровом хуторе, близ Янпзы. Меня опечатывали, дом отобрали и водили в деревню на китайский суд-исповедь. Тогда же на моих глазах забивали докторов японской ориентации... Валентин Вальков первый привел к нам СМЕРШ, уж они и обчистили нас первые... Хочу сказать Вам откровенно: если бы мне предложили выбрать — Корея или Владивосток, я бы выбрала Корею. Владивосток — это родина моего тела, а Корея — родина моей души. Кроме Австралии я почти везде была. Погоняла меня жизнь" (4. 25. 91. Русская речка).

"Мне 86 лет исполнилось в феврале этого года. Я помышляла о самоубийстве, потому что очень тяжело жить не очень подвижной — ведь я была охотницей. Художник В. Новиков написал меня Дианой-охотницей. А чего стоила моя свора из тринадцати верных собак! ...Моя первая книга — "Это было в Корее", которую очень ценил "дедушка" Бальмонт, была частично автобиографична. Книга эта очень нравилась Борису Алексеевичу Суворину, с которым я часто встречалась в Шанхае. А Бальмонт назвал мою первую книгу "лучший Пришвин" — "у тебя все свое, а Пришвин часто сам не свой". У меня есть это письмо. Ведь первая жена Бальмонта была кузиной моей мамы. Спасибо Вам: Вы протиснули тот мой рассказ в "Новое Русское Слово", и я даже нашла неожиданно много родственников, о которых не знала... Да, знаете ли Вы, что настоящая фамилия Лариссы — Адерсен — без "н" в середине..." (25 августа 1995 г. Русская речка).

В 1991 году Янковская побывала во Владивостоке, присутствовала на торжественном открытии памятника ее деду-первопроходцу. Там-то родились проникновенные строки:

Спасибо Року, где-то есть ралетели,
Решившие ошибки исправлять,

Спасибо им, что я была свидетелем
И мне теперь спокойно умирать.

Через два года в том же Владивостоке вышла в свет книга избранной прозы и стихотворений В. Янковской — "По странам рассеяния". Книга была озаглавлена названием знаменитого стихотворения ее учителя — Алексея Ачаира. Инскрипт на этой замечательной книге мне очень дорог: "Дорогому Калите китайских поэтов. Автор — Виктория Янковская. 14. 6. 94. Русская речка. Калифорния".

Месяцев восемь тому назад я получил от Виктории Янковской ее новое стихотворение — "Летнее". Подозреваю, что оно последнее...

Удивительно жаркое лето.
Я могу от жары умереть.
И так низко летают "джеты" —
Точно в дом мой хотят залететь.
По ночам огоньки их мигают —
Вспоминаются мне светлячки...
Мысль моя на Восток улетает,
Где ведь юные годы текли.
Пусть прекрасна страна, где живу я —
Но родной я ее не зову...
Я по прежней России тоскую...
Цепь тоски никогда не порву.
Я полмира проехала с горя,
Чтобы близкое сердцу найти —
Мне название Реки дорогое —
От него никуда не уйти...
В всплеске волн слышу я те же звуки,
Волны эти кочуют везде,
И поют они нам о разлуке —
О покинутом нами гнезде!

*Эдуард Штейн,
Коннектикут*

БИБЛИОГРАФИЯ

Новое о Вячеславе Иванове

М. С. Альтман. Разговоры с Вячеславом Ивановым. Инапресс, С.-Петербург, 1995. Составление В. А. Дымшица и К. Ю. Лаппо-Данилевского. Комментарии К. Ю. Лаппо-Данилевского;

Вестник Удмуртского университета. Ижевск, Издательство Ижевского университета, 1995 — специальный выпуск, посвященный Елене Александровне Муллиор;

Raphaël Aubert et Urs Gfeller. D'Ivanov à Neuvecelle: Entretiens avec Jean Neuvecelle. Les éditions noir sur blanc, Montricher, Suisse, 1996;

Pamela Davidson. Viacheslav Ivanov: A Research Guide. G. K. Hall & Co., New York, 1996.

Публикация всех вышеуказанных трудов свидетельствует о растущем интересе к творчеству и личности Вячеслава Ивановича Иванова (1866 — 1949). Первые три книги вводят в научный оборот новые материалы (главным образом воспоминания), четвертый — подытоживает достижения "иванововедения" последних десятилетий.

Появление долгожданной книги известного советского литературоведа М. С. Альтмана (1896-1986) может только радовать. Еще в глухие годы застоя в ученых записках Тартуского университета увидела свет его публикация "Из бесед с поэтом В. И. Ивановым (Баку, 1921 г.)". В новой книге тартуские "беседы" (теперь они названы "разговорами") представлены в их полном объеме, раза в три

больше, чем в первой публикации. К ним добавлены крайне интересные материалы из архива Альтмана, в частности, стихи, отрывки из дневников и еще автобиографическая проза. Эти тексты в совокупности дают не только многосторонний портрет самого Альтмана, но также удивительно цельный образ его учителя, Вяч. Иванова.

Как замечает Альтман, жанр "разговоров с Вячеславом Ивановым" восходит к знаменитому образцу Иоганна Эккермана, который вел свои "Gespräche mit Goethe" столетием раньше. Как их немецкие предшественники, Иванов и Альтман в своих разговорах касаются самых разнообразных тем — личных, литературных, религиозных и политических. Для тех, кто хорошо знаком с творчеством Иванова, "разговоры" значительно расширяют представление о нем. Для тех, кто мало знаком с его взглядами, настоящая книга может быть не только увлекательным чтением, но и одновременно доступным введением в систему мышления этой центральной фигуры Серебряного века.

Как правило, Иванов в своих статьях очень мягко относится к своим "врагам", чаще всего он их не упоминает. А в "разговорах" он их беспощадно критикует, высказываясь без обиняков. В качестве примера можно привести отрывок об Игоре Северянине:

— Да в чем же порочность Северянина?

— А в том, что каждый поэт застает поэзию на определенной ступени развития и он или пытается двигать ее дальше, или, находя, что до него движение было неверно направленное, меняет направление этого движения. Таков истинный сын муз. Но вообразите блудного сына, который из поколения в поколение накопленные книги родительские начинает распродавать и покупает на них ликер, какое это произведет на Вас впечатление? Таков Игорь Северянин (с. 24 — 25).

В этих словах — помимо отрицательного отношения к И. Северянину (что не так уж удивительно, имея в виду литературные вкусы Иванова) — прекрасно сформулирована ивановская вера в традицию, на которой зиждятся не только его взгляды на искусство и культуру, но и его общественные взгляды. В другом разговоре можно найти в сущности то же убеждение, но теперь в применении к политике: "Революция есть великое зло... она — разрушение, а разрушение

всегда зло..." (с. 70). Примечательно, что Иванов и при усиливающемся тоталитарном режиме последовательно отстаивает религиозные и духовные ценности прошлого.

Возвращаясь к литературным суждениям, следует отметить, что в книге встречаются нередко резкие выпады против футуристов, за одним лишь исключением. Лицо неприкосновенное для Иванова — Велимир Хлебников. Как пишет Альтман:

Потом пришел Хлебников.

Хлебников, работающий последнее время над "историческими ритмами", то есть высчитывающий по известным формулам промежутки аналогичных событий (приблизительная формула: a^3 для "подъемных" событий и a^2 для "падающих"), рядом исторических примеров из разных областей иллюстрировал свои положения. Я слушал с нескрываемым пренебрежением, В. же слушал с вниманием явно сочувственным. Когда я выразил свое изумление по поводу того, что В. может серьезно относиться к таким антилогическим мечтаниям, В. мне возразил, что я не могу одолеть непривычности, но что в воззрениях Хлебникова об угадывании грядущих событий ничего невероятного нет.

— "И ангел вострубит, что времени больше не будет", — может, Вы, Велимир, этим ангелом и будете, — сказал он Хлебникову (с. 33).

В книге помещены обширные материалы о Хлебникове, который, между прочим, советовал Альтману вести не дневник, а "минутник".

При чтении этих дневников предстает совершенно другая сторона личности Альтмана и соответственно другой образ Иванова. Если в "разговорах" Альтман благоговействует перед своим учителем, то в дневниках он критикует его, порой на него даже нападает. Такие противоположные суждения объясняются тем, что "разговоры" были записаны в течение четырнадцати месяцев, а дневник велся гораздо дольше. В начале 1922 г., в то время когда Альтман записывает последние "разговоры", он в дневниках уже подвергает критике своего бывшего кумира. Со временем его критические замечания становятся более резкими, но, как отмечает комментатор, они разоблачают скорее всего не Иванова, а самого Альтмана, безусловно одаренного, но и легко уязвимого молодого человека. Тем не менее наблюдения Альтмана всегда любопытны. Иногда его негодование в

адрес учителя позволяет нам по-новому увидеть загадочную личность Иванова. Например, "дипломатичность", столь часто упоминаемая современниками, вряд ли описана кем-нибудь так же убедительно, как это сделано Альтманом:

Вячеслав "обрушился" на одну часто у него бывающую курсистку... за то, что она мало занимается. Когда она запротестовала энергично, он опомнился и, желая сгладить впечатление, стал говорить, что вот "и моя дочь в таком же, как Вы, отчаянном положении". "Отчаянном" — вот оно лицемерие. Я ему об этом сказал:

— У Вас, В. Ив., такой уж прием: чтобы оправдаться перед одним — предать другого.

— А разве худ прием? — спросил он меня.

Альтман явно считает такое поведение неприемлемым, а Иванову, хорошо знающему человеческий характер, удастся смягчить свое высказывание и таким образом избежать неловкого положения.

Раздел автобиографической прозы Альтмана, написанной на склоне лет и в более легком ключе, посвящен детству и юности. Альтман на этих страницах почти не упоминает Вяч. Иванова, предпочитая распространяться на побочные темы, иногда вовсе незначительные, что вызывает нескрываемое неудовольствие комментатора. Однако такие экскурсы придают книге ностальгическую тональность. Замечательно описание местечка Уллы, где Альтман родился и вырос. (Включено и забавное четверостишие на идиш, в котором юный Альтман пишет о своей любви к одной местной девушке.)

Еврейские темы появляются во всех разделах книги, как в "разговорах", где Иванов излагает свои философские взгляды, так и в "литературных фактах" биографии Альтмана. Одна из самых ярких личностей в книге — Меюхес, раввин, у которого Альтман (вечный дилетант!) начал в Баку заниматься Торой. Немногие посвященные ему строки написаны с большой теплотой. В дневнике от 3 сентября 1922 г. зафиксировано: "Сегодня за учением Меюхес мне сказал, что он забыл в прошлый раз перед началом "сообщить" общее предисловие ко всякому учению — это то, что Бог есть..." И дальше: "Между прочим, Меюхес рассказал агаду, как Моисей, взойдя на небо, увидел Бога сидящим и учащим Талмуд" (с. 260). (Интересно, была ли легенда о читающем Боге известна безбожному Маяковскому, который в раннем стихотворении "А все-таки" описывает

бога, читающего стихи молодого футуриста?) Годом позже Альтман упоминает в дневнике жуткую сцену бакинского суда, где он присутствовал, когда Меюхес был обвинен "в обучении детей религии" и осужден на восемь месяцев принудительных работ.

В книге представлен не только Иванов в свой бакинский период, но Иванов вообще — как поэт, мыслитель, человек. Заслуживает высокой оценки тщательная работа комментатора и составителей. Даже их выбор фотографий, из которых многие публикуются впервые, дает новую, важную информацию.

В том же году, когда появилась книга Альтмана, вышел журнал, посвященный его бакинской сокурснице, что оказалось совпадением и подарком "ивановедам". "Вестник Удмуртского университета" выходит с 1991 г. (тираж интересующего нас выпуска — 300 экземпляров) в городе Ижевске, куда в 1939 г. поехала работать по распределению Елена (Нелли) Александровна Миллиор, выпускница кафедры древней истории ЛГУ. В течение многих лет она заведовала кафедрой в Ижевском пединституте (теперь университете), преподавая античность. Настоящий сборник состоит главным образом из материалов, находящихся в ее личном архиве в Ижевске.

Следует, однако, отметить, что опубликованные материалы не равноценны. Крайне интересны воспоминания и отрывки из дневников Миллиор, посвященные Иванову (увы, всего 16 страниц!). Эти воспоминания написаны не столь блестяще, как более отшлифованные "Разговоры" Альтмана, но зато они гораздо непосредственнее. Иванов понимал, что с Альтманом он говорит для будущего; тон общения с Миллиор кажется более естественным. Политические взгляды, высказанные прямо и в "Разговорах", еще смелее выражены в записках Миллиор. 5-ого мая 1924 г. она пишет: "Вчерашний день весь прошел под знаком Вячеслава. Вот главные пункты... Большевизм. Темное богоборческое атлантическое. Их тонкий соблазн: человекобожество. Они истину не постигают, а "конструируют". Их ложь и дьяволизм. Принципиальное консервирование *im Kopp*: в сущности своей он не изменится; антибиологизм их. Извращение идеи соборности..." (с. 12). И чуть позже, в шутку и всерьез: "Революция — это когда отставшие зовут назад ушедших вперед" (с. 16).

Миллиор не избегает говорить об отрицательных качествах

своего учителя, упоминая, например, как он на занятиях "уничтожил" одного студента, который в результате бросил учиться. О трудностях первого года в Баку, которые в других источниках упоминаются в общих чертах, Миллиор пишет более детально: Иванов, как и остальные преподаватели университета, начал пить. Также описано, не с лучшей стороны, участие Иванова в ново-рожденном "Цехе поэтов" в Баку. Но в основном записи и другие материалы (письма, дарственные надписи и т. п.) свидетельствуют об Иванове как о человеке, который и в неблагоприятных обстоятельствах искренне заботился о молодом поколении и о сохранении культурных традиций.

После того, как Миллиор вышла на пенсию, она переехала в Ленинград. Там она часто виделась со старыми бакинскими друзьями и новыми знакомыми — молодыми учеными. Среди них был С. С. Аверинцев, который участвует в настоящем сборнике как комментатор и мемуарист. В кратком сообщении "Как мы поднимались на Башню Вяч. Иванова" он колоритно рисует портрет старой, но по духу еще молодой ("моложе нас всех") Миллиор и рассказывает, как по ее инициативе они решили войти в коммунальную квартиру, где некогда была знаменитая Башня Вяч. Иванова. "И вот мы уже поднимались — втроем (третьим был, помнится, молодой тогда Вахтель)". Как ни лестно быть упомянутым в такой ученой компании, пишущий эти строки должен констатировать, что третьим был молодой тогда В. Рудич, вскоре после этого уехавший навсегда из СССР. (Молодой Вахтель был тогда в средней школе и еще не успел выучить русский язык!) Ошибка, конечно, простительная, но и поучительная, ибо напоминает нам, как легко может изменить мемуаристу память.

Последняя часть сборника состоит из статей Миллиор о романе Булгакова "Мастер и Маргарита". Появление этого романа было настоящим событием для Миллиор. В последние годы своей жизни она долго изучала его и написала несколько исследований, которые и сегодня не утратили своей ценности. Эти поздние ее статьи тесно связаны с именем Вяч. Иванова. Влияние бывшего учителя сказывается не только в посвящении, но и в самом подходе, поскольку Миллиор рассматривает два основных пласта романа как "сатирическое действие" (город Москва) и "мистерия" (город Иерусалим).

Книга *D'Ivanov à Neuvecelle: Entretiens avec Jean Neuvecelle* представляет собой мемуары другого типа. Она состоит из ряда интервью Димитрия Вячеславовича Иванова, данного двум швейцарским журналистам. Димитрий Иванов известен славистам как один из редакторов собраний сочинений своего отца и автор многих статей о нем. В Европе его знают только под именем Jean Neuvecelle, как журналиста "France Soir" в Италии и корреспондента Radio Suisse Romande в Ватикане. В настоящей книге он рассказывает о себе, о своем отце и об их отношениях. Текст рассчитан на европейского читателя и поэтому включает много общих сведений о Вяч. Иванове. Это чувствуется прежде всего в главах о дореволюционной жизни Вяч. Иванова, которой его сын, родившийся в 1912 г., не мог быть очевидцем. Бакинские годы Димитрий Вячеславович уже помнит, но, разумеется, с точки зрения школьника.

Большой интерес для славистов представляют главы о периоде после "командировки" 1924 г., когда Иванов с сыном и дочерью навсегда уехал из СССР. Важной вехой духовной жизни Вяч. Иванова является 1926 г., когда он переходит в католичество. О значении этого шага написал сам Вяч. Иванов в своем письме "Lettre à Charles Du Bos", но его сын рассказывает об этом с несколько иной точки зрения, говоря о своем собственном переходе и описывая общую духовную атмосферу семьи и того времени. Семья уже в ту пору принуждена была разъехаться. Димитрий жил в горах, в Швейцарии, где долго лечился от туберкулеза, Вяч. преподавал в университете в Павии, а его дочь Лидия осталась в Риме, чтобы закончить свое образование и преподавать. Встречались они на каникулах и оставались духовно близки. В последние годы войны семья соединилась опять в Риме, куда Димитрию удалось переехать из Франции. После войны началась, почти случайно, его карьера журналиста.

Вторая часть книги посвящена уже не Вяч. Иванову, а самому Димитрию, ставшему одним из главных французских корреспондентов в Италии. Как "свой" человек в Ватикане (его книги переведены на многие европейские языки) Димитрий Иванов рассказывает о переменах в Ватикане в течение пяти последних десятилетий. Но писал он на самые разнообразные темы (и духовные, и светские), в связи с чем разъезжал по всему миру (Таити, Алжир, Кипр и др.). В книге он сообщает о забавных и серьезных эпизодах, о знаменитых людях, с которыми встречался. Для русского читателя

особенно интересна глава о девятимесячной командировке в СССР в 1955 г. "На меня смотрели, как на человека с луны", — вспоминает Димитрий Иванов. И ежедневный профессиональный опыт (любопытно, что только американские журналисты не знали русский язык!), и страноведческие наблюдения, и встречи с русскими (в том числе с Пастернаком) — все это очень живо передано.

Еще в 1935 г. Вяч. Иванов написал, что "русскому беженцу, действительно верному заветам русского духа и русского духовного дела, надлежит прежде всего вырваться из бытовой и психической замкнутости и затхлости местных русских "колоний" и жить общеземной жизнью с народами Запада". После чтения книги *D'Ivanov à Neuvecelle* ясно, до какой степени его сын Димитрий последовал этому совету. Перед нами биография двух настоящих европейцев.

Последняя рассматриваемая книга в настоящем обзоре (*Viacheslav Ivanov: A Research Guide*) является трудом чисто библиографическим, состоящим из списка основных работ Вяч. Иванова и подробнейшего хронологического перечня литературы о нем. Каждое из почти полутора тысяч наименований сопровождается солидной библиографической справкой, а также кратким изложением на английском языке главных затронутых в нем тем. Очень полезен обстоятельный предметный указатель, с помощью которого читатель может легко ориентироваться в поисках имен и даже конкретных понятий, его интересующих. В отличие от советских образцов составитель включает в библиографию не только русскую, но и зарубежную литературу. Среди трудов подобного рода эта книга является одной из лучших по широте охвата материала и достоверности информации и заслуживает того, чтобы стать "настойной" для каждого исследователя творчества Вяч. Иванова.

*М. Вахтель,
Принстонский университет*

ПОЭТ НА ЭТЮДАХ

Олег Ильинский. "Стихи". Филадельфия, Encounters, 1996.

Своей литературной судьбой Олег Ильинский связан со второй волной русской эмиграции, то есть с военным ее поколением, хотя сформировался он как поэт уже в "мирное" время периода "холодной войны". Довольно часто его стихи появляются в зарубежной периодике, но в метрополии он известен мало; солидной подборкой Ильинский представлен в итоговой и единственной антологии поэтов второй эмиграции "Берега", вышедшей в Филадельфии под редакцией Валентины Синкевич и Владимира Шаталова. Ильинский — автор пяти поэтических сборников, названных неизменно одинаково "Стихи" и изданных во Франкфурте, Мюнхене, Мадриде... Такое единообразие в названиях могло бы сбить с толку некоторых читателей, но Ильинский — поэт меняющийся, развивающий свои излюбленные темы (к примеру, война занимает все меньшее и меньшее место в его творчестве, что совершенно правомерно), поэтому каждая из его книг — это, действительно, новые стихи, и, как всякая новизна в искусстве, они сильны, ярки, свежи.

И вот передо мной последний, довольно солидный и увесистый томик стихов О. Ильинского, выпущенный на этот раз в Филадельфии и названный так же, как и все предыдущие — "Стихи", но с уточнением времени "1981—1996" и с дополнением "Из записок", которым обозначен заключительный раздел с прозой поэта.

Остальные разделы, собственно поэтические, частично озаглавлены ("Франция", "Испания"), частично нет. Но и неназванные, они могли бы обозначаться по странам, главным образом европейским, — местам путешествий автора: Германия, Италия, Швейцария... Пригородная и загородная Америка тоже вполне бы составила раздел в этой книге, как и отдельно отстоящий от всех других мест и даже им противостоящий Нью-Йорк. Такое построение книги не случайно. Дело в том, что большинство стихотворений являются пейзажными зарисовками, этюдами, отмечающими наиболее яркие жизненные и художественные впечатления от всего увиденного поэтом в пути. Но это ни в коем случае не туристские снимки на память, это именно этюды, в которых запечатляются не только красивые виды или памятники искусства, будь то Ульмский собор, портрет Мемлинга или севильские Львиные ворота, но и состояние души ав-

тора, осмысляющего эту красоту и делающего ее частью своего опыта и дальнейшей жизни.

В этом и состоит единство сборника: независимо от географических помет, большинство стихов имеют один эстетический принцип, ранее подмеченный в статье Валентины Синкевич: "Два мира гармонически сочетаются в поэзии: природа и одухотворенное мыслью, отмеченное Божьей искрой творчество человека" (*"Поэт Олег Ильинский" — "Русское Возрождение", 1990, № 50*). Заметим в уточнение этого, что здесь не только мир человека несет в себе творческое начало, но художником является и мир природы, в котором "листья... в полутени сквозят акварелью".

Там акварель пошевелится,
Там водопад заговорит.

Вода и в самом деле — излюбленная стихия Ильинского: текучая, она приобретает женственный облик ("И хорошела река, словно живые лица"), а успокоенная, она отражает голубизну и зелень, и сама становится акварелью... В игре со светом и воздухом влага превращается в еще одно искусство природы — радугу.

Едва отхлынул влажный гость,
И встал витраж над околотком.

Слово "витраж" повторяется в стихах Ильинского не реже, чем "акварель", и в этой настойчивости кроется философский намек, даже утверждение о постоянно происходящем сотрудничестве двух начал — природы и искусства, об их соавторстве вообще и в особенности в пределах стихотворения.

Во многих этюдах Ильинского человеческое начало представлено прежде всего архитектурными или живописными шедеврами прошлого, памятниками искусства, вжившимися в природу и непредставимыми без ее окружения. Витраж загорается красками и оживает от света, проникающего внутрь часовни, и наоборот, в отражениях оконных стекол живописуются фрагменты пейзажа. Голубь, гнездящийся в лепнине собора, живет и в архитектуре, и в природе, соединяет эти два начала. В этом он сродни поэту-художнику, который также живет в двух мирах, творя свою розово-золотую утопию их гармонического соединения.

Ильинский — скорее всего художник в прямом, ремесленном смысле этого слова (не важно, любитель или профессионал), но он также художник в способе своего эстетического мышления. Его образность визуальна, она оснащена средствами изобразительного искусства: гроза — "ядра скульптурного грома"; "скульптура мгновения"; небо — "высокий плафон"; звезды — "чертеж вселенной"; "Венеция — большая акварель"; светотени, холсты, палитры, мольберт, карандаши, фарфор, хрусталь и, наконец, ключевой образ книги — "летающая кисть импрессиониста".

В истории литературы мы знаем примеры поэтов-художников; в своем начале один из них "сразу смазал карту будней,/ плеснувши краску из стакана", но под конец хотел иного — "чтоб к штыку приравняли перо". Мне кажется, в этом отношении О. Ильинский — анти-Маяковский. Он приравнял свое перо не к штыку, а к нежному "колонку" акварельной кисточки.

Как художник, всматриваясь, отступает перед тем, как нанести мазок, так и он заставляет свое "я" отступить перед изображаемым. Его этюды по-дорожному компактны, в них сохранена свежесть первого восприятия, и в то же время к концовке его наблюдение становится обобщающей метафорой, мыслью, порой афоризмом. Свободное чередование строф придает стиху раскованность; у него нет строгой дисциплины в рифмах, и это тоже по большей части хорошо. Но иногда это — вольность, а иногда (как и неправильные ударения) — это излишняя вольность. Интересно используются цезуры, подчеркивая интонации и потесняя порой знаки препинания.

Правда, некоторые стихотворные плакаты и стилизации можно было бы оставить напечатанными в периодике и не переносить их в книгу. Она и так переполнена, тем более, что в нее вмещается еще и раздел прозы "Из записок", именуемый также "Ника". Это — лирическая проза, состоящая из довольно большого ряда миниатюр (всего их 27), объединенных женственным образом Ники, героини записок. Этот образ таинствен, потому что от заметки к заметке он меняет свою конкретность, напоминая то ли подругу или жену поэта, то ли идеал подруги, а может быть музу или даже авторскую совесть (что лишь — читательские догадки). Одну очевидно — она бесконечно дорога поэту, она связана с его самыми важными мыслями и переживаниями, она их наполняет собой, делается их содержанием, становится тем, чем была Лара для доктора Живаго. Сам прием включения лирической прозы в конце поэтической книги обратен

тому, который был использован Пастернаком в его романе. Но как Пастернак подготавливал появление стихов своего героя, так и Ильинский заставляет таинственный женственный образ проступать то там, то здесь в контексте стихов всей книги.

Лирическая проза — самый незащищенный жанр, она целиком зависит от читательского взгляда и настроения, от случайных предубеждений. Нет настроения — проза кажется сентиментальной или претенциозной; есть настроение — и она уже трогательна и глубока. Мне кажется, что О. Ильинский сделал все, чтобы такое настроение возникло у читателя, и прежде всего оно создается от предваряющей эту прозу большой книги свежих, умных и честных стихов.

*Дмитрий Бобышев,
авг. 1996, Шампэйн, Иллинойс*

"Вернуться в Россию — стихами... 200 поэтов эмиграции". Составитель, автор предисловия, комментариев и биографических сведений о поэтах Вадим Крейд. Изд. "Республика", Моск-ва, 1995. 688 стр.

Вадим Крейд был предназначен для такой антологии. Он — эмигрировавший русский лирик, поэт с высоким эстетическим, этическим и религиозным чувством поэзии, он же профессор русской литературы Университета Айовы и также опытный редактор и составитель книг русских эмигрантов (например, произведения Георгия Иванова, стихотворения Константина Бальмонта и сборник "Воспоминание о Серебряном веке").

Примерно три четверти из двухсот включенных в антологию поэтов первой и второй эмиграции не принадлежат к "канонизированным" именам и не представлены в моем "Лексиконе русской литературы 20 века". Сам Крейд пишет в предисловии о прекрасных стихотворениях "основательно забытых" поэтов. Поэты третьей волны, большей частью выехавшие на Запад в 70-е годы, не включены в антологию (они хорошо представлены в ежегодном альманахе Валентины Синкевич "Встречи").

"В своей этической правоте первая эмиграция никогда не сомневалась, — пишет В. Крейд в предисловии. — Она ясно и остро

знавала свое предназначение — сохранить русскую культуру в непрерывности ее традиций" (стр. 20). Писатели второй и третьей волны, выросшие под советским режимом, так думать не могли. При выборе стихотворений Крейд, в первую очередь, мог опираться на добрую дюжину прежних антологий и альманахов, которые с 1931 по 1966 год составлялись русскими писателями, такими как Георгий Адамович, Юрий Одарченко, Ирина Яссен, Юрий Иваск, Юрий Терапиано и Татьяна Фесенко.

В антологии Вадима Крейда широко представлены стихи поэтов, живших в русских зарубежных центрах: Берлине, Париже, Праге, Белграде, Мюнхене, а также включены Прибалтика, Финляндия, Дальний Восток и США. Стихи разных литературных группировок и направлений, но все они отражают самостоятельность творческой личности. Составитель обращает внимание на общность пережитого: "сопротивление, отступление, бегство, встреча с чужбиной, скитания, рассеяние, хождения по мукам, осмысление прошлого, ностальгия, осознание миссии: быть не в изгнании, а в послании" (стр. 5-6). Крейд выбрал стихотворения, в которых тяжкие переживания и боль утраты претворились в звуковое отображение жизненного опыта, став источником творческой энергии. Такие стихи могли быть о смерти, о любви, о восприятии земного и духовного бытия, в них отступает на второй план все то, что связано с данным моментом. Но стихи могли отражать и часто встречающееся у русских неприятие окружающего. А иногда это могли быть стихи, в которых автор размышляет о смысле творчества на чужбине: ведь настоящий читатель на родине оставался недостижимым. Название антологии — "Вернуться в Россию — стихами" взято из стихотворения, некогда выразившего надежду или предсказание Георгия Иванова, которого Всеволод Сечкарев в своей "Истории русской литературы" (Штуттгарт, 1962) назвал самым значительным поэтом эмиграции. При содействии Вадима Крейда возвращение свершилось в полном объеме в 1995 году: данный том антологии составлен в США, но напечатан в Москве, и, таким образом, 200 избранных русских поэтов вернулись в Россию.

В предисловии Вадим Крейд приводит главные темы эмигрантской поэзии всех волн и определяет место в истории тех, кто был вынужден жить и творить далеко от России. Перечень источников указывает на тщательную исследовательскую работу Крейд-

да и облегчает дальнейшие исследования в этой области. В конце антологии на 75 страницах дан биобиблиографический справочник. В судьбах поэтов есть много характерного, связанного с бегством и борьбой за жизнь за границей. Включены и некоторые события, имеющие определенно духовное значение. Например, эсэсовцы в Париже четыре раза приходили арестовывать Александра Гингера и все четыре раза его, ни о чем не подозревавшего, случайно не было дома. Или: советский офицер, которому Юрий Джанумов читал по памяти стихи эмигрантских поэтов, дал ему возможность бежать из тюрьмы НКВД в Чехословакии. И: в Париже в 1929 году друзья Владимира Диксона положили ему в гроб вместе с горстью русской земли — сохранившиеся у кого-то лепестки роз с надгробного венка Блоку. Правда, в библиографических данных иногда не хватает полноты справочного материала, особенно мало информации взято из новейших изданий. Однако то, что есть, дает более чем ценную основную информацию. В данное время В. Крейд расширяет эту часть антологии, превращая ее в самостоятельный справочник, в который войдут имена 385 поэтов трех эмиграций. Он пригласил В. Синкевич для работы над материалом о поэтах второй эмиграции и Д. Бобышева — для третьей эмиграции. Но даже сейчас эта часть антологии Крейда заслуживает отдельного изучения. А мы, немцы, можем обратить внимание на тот факт, что треть русских поэтов, включенных в антологию, жила какое-то время в Германии.

Судя по стихотворениям, отобранным Вадимом Крейдом, можно сделать вывод о его поэтической ориентации: главное место он отдает Георгию Иванову, представленному одиннадцатью стихотворениями, тогда как у большинства авторов взято от трех до шести стихотворений, а у некоторых только одно. Конечно, длина также определяла количество включенных стихотворений. Имена авторов идут в алфавитном порядке, иначе тематический принцип повлиял бы на размещение поэтических текстов. Вадим Крейд хотел, с одной стороны, представить хорошую поэзию, а с другой — вернуть в литературу забытых поэтов, либо тех, которые остались в тени знаменитых или ставших таковыми. Мы же должны быть благодарны составителю, веря в его правильный выбор.

Вольфганг Казак, Германия

В. В. Вейдле. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Составление и послесловие И. А. Доронченкова, комментарии И. А. Доронченкова и В. М. Лурье. Издательство "Аксиома", Санкт-Петербург, 1996.

Небольшая, с большим вкусом изданная книга в твердом черном переплете с простым, тисненого золота шрифтом внешним своим обликом чем-то напоминает Евангелие. Пусть не сочтут такое сравнение кощунственным. "Умирание искусства" Вейдле — книга, касающаяся не только кризиса современной литературы и искусства, но и всей нашей западной цивилизации, утерявшей религиозную основу, необходимую для существования культуры. В какой-то степени она — "Апокалипсис" современного творчества со страшными пророчествами, но и с надеждой на исцеление. Не берусь утверждать, но мне кажется, что художественный оформитель книги сознательно придал ей "евангельский облик". Более подходящее оформление трудно себе представить.

Книга состоит из двух частей. Первая из них — текст В. В. Вейдле, подразделенный на главы: "Над вымыслом слезами обольюсь", "Механический герой", "Чистая поэзия", "Умирание искусства" и "Возрождение чудесного". Заканчивается эта часть статьей "Крепальная мистерия и раннехристианское искусство". Вторая часть — это послесловие И. А. Доронченкова и комментарии, составленные им вместе с В. М. Лурье. Эта вторая часть занимает по меньшей мере треть всей книги и представляется мне очень значительной. Сознаюсь в одном: мое личное знакомство с И. А. Доронченковым и высокая оценка его как искусствоведа побудили меня прочесть послесловие сначала, а потом уже обратиться к тексту самого Вейдле. Я не пожалел, что так поступил. Послесловие дает прекрасную характеристику как самого Вейдле, этого "русского европейца", так и его времени в России и в Западной Европе. Мне кажется, что это послесловие могло бы быть скорее вступлением, помогающим человеку, мало знакомому с Вейдле, войти в его мир, понять его идеи и правильно ощутить пафос его повествования.

"У этой книги редкая для русских книг судьба, — пишет И. А. Доронченков. — Написанная по-русски, она в 1936 г. была опубликована во французском переводе под названием "Les abeilles d'Aristee" — "Пчелы Аристее"... В 1937 г. она вышла на родном языке и на-

зывалась теперь "Умирание искусства". Русское заглавие не зывало к филологической культуре читателя, но прямо говорило о смысле книги — о смертельной угрозе, нависшей над духовным миром современного человека. Его образность также отвечала национальной традиции, передавая тот накал, ту меру серьезности, которые присущи восприятию духовных проблем в России. В то же время своеобразный "эсхатологический" язык был свойствен русскому философствованию о современном искусстве. Николай Бердяев писал о "демонических гримасах скованных духов природы" в картинах Пикассо. Сергей Булгаков предпослал своей статье об этом художнике эпиграф из погребальных песнопений — "...Вижу в гробех лежащую по образу Божию созданную красоту безобразну, не имущую вида..." Даже Павел Муратов, причастный скорее эстетической традиции Уолтера Пейтера, чем православию, прибег к многозначительной цитате из Апокалипсиса. А Георгий Федотов прямо назвал свой очерк, появившийся практически одновременно с "Умиранием искусства" — "Четверодневный Лазарь". Книга Вейдле завершается словами: Страстная Суббота, Париж, 1935 г. Для православного человека они равносильны возгласу: "Чаю воскресения мертвых!"

Эта цитата из послесловия И. А. Доронченкова дает хорошее представление о тоне книги Вейдле. Собственно об искусстве в ней говорится лишь в четвертой главе "Умирание искусства". В других Вейдле анализирует состояние современной литературы, поэзии и западной культуры в целом. Однако во всех главах имеются ссылки на искусство. Известная категоричность высказываний Вейдле и их пророческий пафос может произвести на некоторых читателей странное, даже отталкивающее впечатление. Но, с другой стороны, они подчеркивают его страстную любовь к западно-европейской культуре и выражают его идеи с предельной ясностью образным, богатым языком без всякой интеллектуальной игры понятиями. Книга читается легко и с живым интересом, чего нельзя сказать о многих других искусствоведческих трудах. Надо еще раз подчеркнуть, что такой же ясностью обладают и комментарии И. А. Доронченкова.

Склонность В. В. Вейдле "вещать" имеет свою большую положительную сторону — одна фраза дает понятие о том, что он хочет сказать. Все остальное становится лишь подтверждением и ил-

люстрацией высказанной мысли. Позволю себе поэтому привести ряд цитат из различных глав книги. О состоянии современной культуры он пишет: "Разобщенность миров, противопоставленность творящего лица и безличной массы обнаружила не сразу свои плоды: речь идет о полуторавековом развитии, не вполне завершенном и в наше время". Мысль не нова. Позитивизм, материализм и атеизм давно уже определены как причины кризиса западно-европейской культуры и книг на эту тему написано множество. Но Вейдле не был бы Вейдле, если бы не вставил такую фразу: "...Жизнь на земле подобна путешествию в подземном поезде, где всем тесно и гадко, где все сближены злобой друг к другу и в полном равенстве вдыхают смрад, одинаковый для всех". Здесь "пророк" в Вейдле берет верх над искусствоведам. Сравнение современной жизни с метро вряд ли удачно. Несостоятельность современного искусства Вейдле определяет так: "Искусство не есть дело расчлененного знания, но целостного прозрения и неделимой веры". Их-то и нет в настоящее время у творческих людей. Действительно, наши знания, научный и технический прогресс эту целостность разрушают. Отсюда и "монстры" современного искусства. Так считает Вейдле и его единомышленники. В своем послесловии И. А. Доронченков приводит мнение Г. П. Федотова, что "Пикассо и Стравинский в духовном мире значат то же, что в социальном Ленин и Муссолини". Вторя им, Вейдле считает, что Пикассо "отменил" искусство. О художниках он пишет: "Одиночество загоняет художника в формалистическую игру". Но "художник не виноват, виновата эпоха". Мысль эта напоминает популярную ныне теорию о людях — как "жертвах общества". Наконец, следующее высказывание: "Глубочайшая истина религии и этики, заключающаяся в том, что лишь потеряв свою душу, можно спасти ее, есть необходимое условие всякого творчества и непререкаемый закон искусства".

Мне кажется, что Вейдле напрасно употребил тут слово "душа". Не душу а земную индивидуальность должен потерять человек, чтобы спасти душу свою. Но это, пожалуй, придирка — мысль его ясна. Иными словами, Вейдле призывает к новому крещению, к умерщвлению "ветхого Адама" современной культуры и возрождению искусства на духовных христианских началах. Мне вспомнились по этому поводу религиозные беседы в доме покойного о. Александра Шмемана в Нью-Йорке в начале 50-х годов, на которых я присут-

ствовал несколько раз. На одной из них поэт Ю. П. Иваск прочел лекцию о необходимости "оцерковления жизни" и возвращения в лоно Церкви "беспризорного добра". Как это практически сделать никто, конечно, сказать не мог. Но это уже другая тема. Следует, пожалуй, добавить, что духовный кризис современной культуры сопровождается и кризисом чисто физическим: наша планета под угрозой катастрофического перенаселения, загрязнения окружающей среды, глобального потепления и смертельной радиации. Как предотвратить этот физический кризис — задача не менее сложная, чем духовное возрождение человека. Нельзя же ведь "закрыть Америку и упразднить науки", как советовал городничий г. Глупова! Об этой общечеловеческой проблеме у Вейдле нет ни слова, хотя скончался он в 1979 г. и не мог не знать об этой опасности, конечно, тоже вписывающейся в общий духовный кризис человека.

Вернемся, однако, к проблемам искусства. Прав ли Вейдле в столь уничтожающей оценке современного творчества и возможно ли "воскрешение Лазаря"? Позволю себе упомянуть здесь два ходких словечка, появившихся в наше время: "трагический оптимист" и "удовлетворенный пессимист". Вейдле, несомненно, принадлежит к первой группе, в то время как автор этой рецензии причисляет себя ко второй. В чем же состоит удовлетворенность пессимиста? Грубо говоря, в том, что хотя все ужасно, есть все же моменты, которые дают человеку глубокое удовлетворение. Какие же именно? Для художника это сам физический контакт с материалом — с камнем, глиной, мрамором, с полотном и краской, бумагой и кистью. Понять это может только тот, кто сам к тому причастен. Неудивительно, что большинство художников скептически относится к критикам и аналитикам искусства, считая их людьми, которыми говорят о физической любви, сами ее никогда не испытав. Увлечение материалом, контактом с ним через физическое усилие (например американская action painting) не должно рассматриваться как лишенный духовности формализм. Скорее мы видим тут возвращение к истокам, к элементам искусства, к "матери сырой земле", к тому "праху", из которого Бог создал человека. Любовь к материалу и к возможностям, им представляемым, проходит через все современное искусство, главным образом абстрактное. "Правда материала" — так говорил о скульптуре Генри Мур. "Из формы рождается содержание" — вот одна из аксиом современного искусства. Об этом важном

аспекте творчества у Вейдле нет ни слова. "Кухня" искусства его не интересует, хотя без нее не было бы и самого искусства. Нет в книге Вейдле и упоминания о Василии Кандинском, родоначальнике беспредметной живописи. Нигде не говорится о его книге "О духовном в искусстве". А ведь именно абстракционисты утверждали духовность своего искусства в противоположность материалистической фигуративной живописи. Духовное возрождение искусства мыслилось как отрешение от всякого маломальски напоминающего реальность изображения. Вейдле не заметил (возможно сознательно) этого важнейшего направления современного искусства. Отмахивается он и от немецкого экспрессионизма 20-х годов, считая его импрессионизмом наизнанку и не признавая за ним каких-либо достоинств. А ведь именно немецкий экспрессионизм "эсхатологичен" во многих своих образах. Не найдешь у Вейдле Марселя Дюшана и дадаистов. А ведь именно они, а не Пикассо, могут считаться разрушителями того искусства, которое было дорого Вейдле. Пренебрежительно отзываясь он и о фотографии. Предвзятости у Вейдле, как у всякого страстного и увлекающегося человека, хватает с избытком. Не буду, однако, полемизировать с ним. Он был человеком громадной эрудиции, знаний, опыта и наблюдательности и, главное, был "горячим", а не теплым или холодным. В этом "евангельская" правота его искусствоведения. Большинство его суждений остры и метки. Он понимал очень, очень многое, в первую очередь старых мастеров, но и лучших представителей искусства 19-го века. Высоко ценил Делакруа и Сезанна, Руо, Чурлениса и Шагала, он оставался холоден к сюрреализму де Кирико, Макса Эрнста и Сальвадора Дали. Он понимал русскую икону и, в противоположность большинству отечественных искусствоведов, до сих пор находящихся в обиде на Запад за то, что русское реалистическое искусство им недооценено, ставил русский реализм ниже французского, как и реализм соответствующего периода в Германии, Италии и Испании. В главе "Возрождение чудесного", анализируя творчество Франца Кафки, Вейдле пишет о попытках "заменить художественное творчество магией, то есть совокупностью приемов, имеющих целью систематически воздействовать на бессознательное и в том или ином заранее известном направлении изменять душевную жизнь читателя, слушателя или зрителя". "Сторонники такой замены, — говорит Вейдле, — не всегда отдают себе отчет в том, что магия отличается от прикладной

науки только своими методами, но совпадает с ней в основном устремлении своем, в своей цели — тогда как У ИСКУССТВА ЦЕЛИ В ЭТОМ СМЫСЛЕ ВООБЩЕ НЕТ (подчеркнуто мною. — С. Г.) — в своем желании непосредственно влиять на природу и в данном случае на человека — дабы исцелить или погубить его". Эта глубоко правильная мысль совпадает с высказыванием немецкого скульптора Георга Кольбе, утверждавшего, что у искусства нет цели, а есть только путь. Пусть это будет предупреждением всем тем, кто хочет возродить духовность в искусстве "насильственным" образом. В одном месте Вейдле упоминает разницу между немецкими понятиями *Gehalt* и *Inhalt*. Первое означает содержание, второе можно перевести как содержимое. Как часто, пытаясь создать духовное содержание в своем произведении, художник наполняет его "содержимым"!

Вейдле, этот "трагический оптимист", все же верит в возрождение искусства. В главе "Возрождение чудесного" он пишет: "Самый прямой, да и единственный до конца верный путь возрождения чудесного, а значит, и возрождения искусства, лежит через воссоединение художественного творчества с христианским мифом и христианской церковью". Но он достаточно умен, чтобы не прибавить: "...но что на этом пути нет препятствий, этого, кроме благочестивых оптимистов, мало понимающих сложную жизнь и сложную судьбу искусства, никто не решится утверждать".

Если дать общую оценку книге В. Вейдле "Умирание искусства", то книга эта, конечно драгоценный подарок всем кому дороги судьбы искусства, кто любит думать, спорить, утверждать и отрицать. Для них Вейдле блестящий и волнующий собеседник. Чрезвычайно интересна и его биография, а также его литературные оценки. Безразличным эта книга никого не оставит. Помимо громадного фактического материала, в этом ее основная ценность.

Сергей Голлербах, Нью-Йорк

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВОВ

На путях изгнания. А. Н. Донсков вспоминает. Сост. А. А. Донсков (внук). Legas. Ottawa, 1992.

Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о русских людях. В Эстонии. По дороге оттуда. В Америке.* Н-Й, 1994.

Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о старом и новом мире.* Н-Й, 1995.

Снежин, Виталий. *Моя ненаглядная.* Проза. "Абрис". М., 1995.

Lemkhin, Michael. *Missing Frames.* Photographs. Intr. by Olga Andreyev-Carlisle. Hermitage Publishers. Tenaflly, NJ, 1995.

Socialist Realism without Shores. SAQ, Vol.94 (3). Spec. Iss. Eds.: T. Lahusen and E. Dobrenko. Duke Univ. Press. Durham, NC, 1995.

Кудлай, Алексей. Каталог иконописи. "Фонд". М., 1995.

Описание документов XIV-XVII вв. в копиях в книгах... (Каталог Российской Национальной Библиотеки). С-Пб., 1994.

Рукописные книги собрания придворной певческой капеллы. (Каталог Российской Национальной Библиотеки), С-Пб., 1994.

Горчаков, Генрих. *О Марине Цветаевой глазами современника.* Antiquary. Orange, CT, 1993.

Hilton, Alison. *Russian FolkArt.* Indiana Univ. Press. Bloomington & Indianapolis, 1995.

Ильинская, Анна. *Матушки земли русской.* Духовные очерки... ЛитУч. 4. М., 1994.

Терновский, Е. *Кудесник.* Роман. Klincksieck. Paris, 1996.

J. Thomas Shaw. *Collected Works, Vol. I. Pushkin. Poet and Man of Letters and His Prose.* Charles Schlacks, Jr., Publisher, 1995.

Е. Ternovsky. *Pouchkine et la tribu Gontcharoff.* Klincksieck. Paris. 1992.

Болдырев, Петр. *Уроки России. Дневник российского сепаратиста.* (Сб. статей). Hermitage Publishers.. Tenafly, NJ, 1993.

Агнивцев, Н. Я. *Стихотворения.* Сан-Франциско, 1980.

Р. Р. Чайковский, Е. Л. Лысенкова. *"Пантера" Р. М. Рильке в русских переводах.* Магадан, 1996.

Yale Richmond. *From Nyet to Da. Understanding the Russians.* Intercultural Press, Inc.Yarmouth, ME. 1996

The NEW REVIEW (NOVYI ZHURNAL) is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly in the free world. It requires the support of loyal friends:

Patron	— \$1,000
Benefactor	— \$ 500
Sponsor	— \$ 250
Fellow	— \$ 100
Friend	— \$ 50

The Internal Revenue Service has determined, in a letter of March 29, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a "public charity" pursuant to the provisions of the Internal Revenue code.

Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks may be made to The NEW REVIEW.

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 842
New York, NY 10012

РЕДАКЦИЯ
РАСПОЛАГАЕТ

номерами "Нового Журнала" прошлых лет издания.

Цена — от 15 до 10 долларов.

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА НА "НОВЫЙ ЖУРНАЛ"
— ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
И РОДСТВЕННИКОВ В С. Н. Г.

Стоимость подарочной подписки,
включая пересылку — \$ 40.00

НОВЫЙ Журнал THE NEW REVIEW

Условия подписки:

Подписная цена на 1996 год (за 4 книги) для университетов
и организаций — \$60.00 (пересылка в США — \$7.00, за границу —
\$14.00)

Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц — \$40.00
(пересылка в США — \$7.00, за границу — \$14.00)

Цена отдельного номера — \$12.50
(пересылка в США — \$1.70, за границу — \$3.00)

Плата от заграничных подписчиков принимается ТОЛЬКО
в международных чеках.

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 611 BROADWAY, #842
NEW YORK, N.Y. 10012**

Телефон и факс редакции (212) 353-1478

**Прием по делам редакции и конторы
— по понедельникам и средам**

от 10 до 12 час. дня.

Наш представитель в Москве:

Галина Ивановна Завидовская

Тел.: (095) 468-4457.
